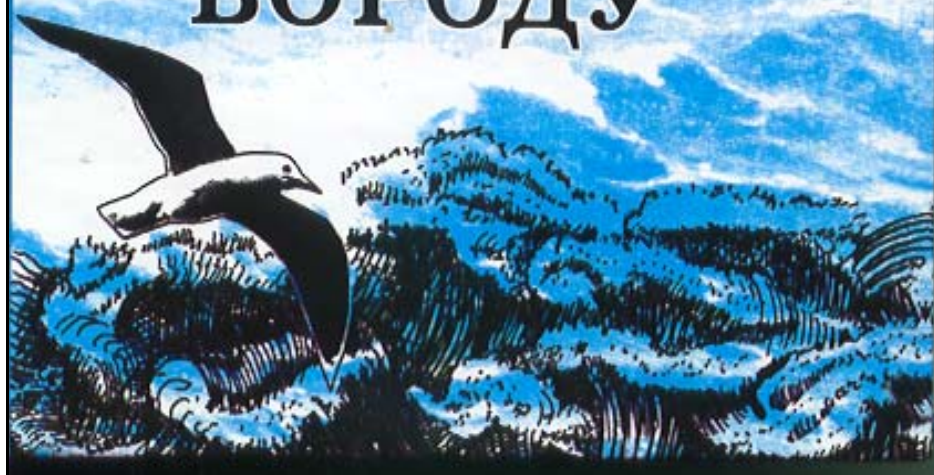


НИКОЛАЙ
ПЛЕВАКО

НОРД-ОСТ
ОПУСКАЕТ
БОРОДУ





УДК 82-311.6
ББК 84(2 Рос-Рус)6-44
П 38



В
Ос
Анатолия Иванова

Николай Плевако

Норд-ост опускает бороду

Том первый

Второе исправленное издание



. 2006-

"

"

-

Плевако Н. П.

П 38 НОРД-ОСТ ОПУСКАЕТ БОРОДУ. Роман. — М. ФЕНИКС ПЛЮС, 2006.
— 576 с.

ISBN 5-224-03392-6

УДК 82-311.6
ББК 84 (2 Рос-Рус)6-44

© Плевако Н.П., 2006

ISBN 5-224-03392-6

© Издательство ФЕНИКС ПЛЮС, 2006

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

1

— Ляма, выходи! Лимон! Лимончик! — настырно зовут мальчишки на улицу. Витя вот-вот сбросит с себя одеяло и кинется к окну, он уже весь подобрался, с губ готово сорваться: «Сейчас!», но боится, что мать из кухни прикрикнет: «Что это за мода? Глаза не продравши...» И Витя лежит, притихнув. Пробуждение радостное. Еще глаза закрыты, еще лень шевельнуться, но уже слышно: далеко-далеко, в конце улицы, протрубил рожок керосинщика и совсем близко, под самым потолком, зажужжала зеленая муха-громотуха, влетевшая в раскрытое настежь окно. Самое первое чувство после сна — это предвкушение удовольствий длинного, почти бесконечного дня. Чего только не увидишь, не услышишь за этот день! А если к тому же просыпаешься в праздничное утро, если к тому же нет за тобой грехов: стекол в окнах мячом не разбивал, без спросу на море не «пропадал»!

Рукой достать до нового с иголки костюма, с вечера повешенного матерью на спинку стула. От вымытых полов, кое-где с непросохшими потеками, веет свежестью. Кругом чисто, опрятно. Пахнет чабрецом и мятой (трава разбросана на подоконниках, натykана стебельками и пучочками во всякие подходящие расщелины и за стропила железной крыши на веранде, свисая фестонами). Из кухни просачиваются вкусные запахи печеной сдобы: пирогов с яблоками, отштампованного тонким стаканом печенья — разные там кружочки, месяцы и звездочки. А напротив Витиной кровати, за окном, уже настоящая чехарда: пищат скворцы, гул идет от пчелиных ульев в саду, и кот Васька, подстерегая на дереве воробьев, забылся, умиленно потирает морду о сук и пощипывает молодую листву. Земля, забор, деревья, кот Васька — всё забрызгано трепетными солнечными бликами. А с улицы призывно несется:

— Ляма, Ляма! Лимон!

У всех мальчишек есть прозвища. У Вити оно происходит от материнской фамилии «Лямина», и хотя он носит другую, отцовскую, на улице знают только Ляминых. Они тут живут испокон века, и что до того, что однажды ненадолго поселился в доме какой-то примак и оставил после себя сына? «Ляма, Лимон, Лимончик! — звали мальчишки Витю, смотря по настроению. Обычно мать, высунувшись в окно, грозила нудному зазывале надрать уши, но сегодня она снисходительна. Сегодня праздник — Первомай. Все «грехи», собиравшиеся «в кучу», до крайнего терпения бабушки, на которой лежала негласная ответственность за воспитание внука, сегодня простились, и от этого еще увлекательнее ожидался наступающий день.

Вот Витя уже перед зеркалом примеряет к левой стороне груди, к лацкану нового костюмчика, красную звезду, вырезанную из сукна. Примерил, посмотрел и отвел в сторону руку — как со звездой, как без звезды. Вот мать усадила завтракать. Для Вити не так вкусен праздничный завтрак, как после всех сытных блюд кусок пирога, с которым можно побежать на улицу. Но мать, отрезая теплый мягкий ломоть (пироги грудились на столе, прикрытые влажным от пара полотенцем), предупреждает: «Пока все не съешь, на улицу не выходи!»

Витя медленно, по крохам, щиплет пирог, вяло пережевывает.

— Ешь. Не ерзай на стуле! Ишь уши наострил. Услыхал своих дружков.

— Не хочу больше.

— Ешь за столом. С куском на улицу все равно не пушу.

Витя отламывает от пирога еще кроху, с неохотой, для вида, долго жует и ждет не дождется случая улизнуть. Но вот он уже кружит по двору, подфутболивает погнутую консервную банку, разбрызгивая из нее ржавую дождевую воду, как бы невзначай заворачивает к калитке, прошмыгивает незамеченным мимо окон и, наконец, выбегает на улицу с пирогом в руке.

— Кесик! Кесик! — несется со всех сторон.

— Чур, я первый! Я первый!

Мальчишки бросаются к Вите от скамейки у соседних ворот и от парадного большого особняка на противоположной стороне улицы — издавна облюбованных подростками мест, где они собираются ватагами. Поменьше — играли в классы, в «море волнуется», «Гуси, гуси, га, га, га», а сейчас — в лапту, под карамельки, в ловитки. Из окон на них кричат, чтобы убирались подальше, иной раз с угрозами выбегают на улицу, и тогда ватага — врассыпную, но пройдет день-два, и снова под окнами сборища.

— Кесик! Кесик!

Тому ломоть, другому ломоть, а себе лишь то, что успел запихать в рот. Пирог теперь намного слаще, чем за столом, да уже нет ни крохи. Витя не огорчен: всех оделил, не жадюга, как некоторые, и сам кидается с криком: «Кесик! Кесик! Чур, я первый!», когда выбежит из дому кто-нибудь с пирогом или просто горбушкой хлеба.

Но вот, кажется, все «кесики» поделены, и пошли тут приглядки, примерки — у кого какая обновка. Прежде чумазые, растрепанные, с оборванными карманами, в цыпках и ссадинах, сегодня сорванцы выглядят паниньками, боятся сесть на землю, боже упаси зацепиться за гвоздь.

Друзей у Вити много: Милика, Алека, Василага — греки, братья, один другого меньше и все драчуны. Они одеты в одинаковые простенькие серые костюмчики с выпущенными поверх белыми воротничками сорочек. Семья у греков большая — до десятка ртов, а работник один отец, угрюмоватый, с вмятиной на правой скуле (след пули или страшного удара), всегда небритый, в колючей, с проседью, щетине на щеках. Но в доме по-

рядок и чистота, которые блюла сухонькая проворная мать. В обед и ужин она высовывалась из окна второго этажа, звала на всю улицу: «Милика! Алека! Василага! Эла до! Эла до!» — что значило: домой! А когда нужно было побыстрей, ее голос переходил на писк: «Трексе соспите! Трексе соспите!» — что значило: бегом!

До чужих «кесиков» греки охочи, но сами скупы, редко выходили из дому с чем-нибудь съестным. Прежде чем отломить хлеба или пирога, говорили: «Подвигай ушами». У Вити это здорово получалось, он и не помнил, когда наловчился. Греки могли на голове перемещать кожу, а у Лешки рыжего на левой руке большой палец был раздвоен, как клешня у рака, и этой клешней он больно хватал. Ему больше всего доставалось «кесиков».

Чистильщики сапог, продавцы папирос на россыпь, холодной воды вразнос на базаре, греки уже с малолетства подрабатывали семье на хлеб. На перекрестках Серебряковской улицы, самой оживленной в городе, они толкались день-деньской. У чистильщика — деревянный ящик с наплечным ремнем, вмещавший до десятка щеток и банок с гуталином. Снаряжение легкое. Бросил за плечи и — наутек, если появится милиционер. Руки и нос у чистильщика в гуталине, на задку коротких, до колен, штанов — две большие заплаты, на ногах редко ботинки, часто босой. Коренастый, юркий, он звонко выкрикивает, постукивая щетками по ящику: «Чистим, блистим, сапоги почистим! Эй, товарищ, берем недорого, сделаем люкс! Будут не ботинки, а картинки!»

Кто-нибудь крикнет: «Легаый!», и вся ватага чистильщиков — врассыпную.

Греки-разносчики с пузатыми запотевшими чайниками бегают по базару, между столиков и возов, предлагая полную эмалированную кружку холодной, со льдом, воды за копейку. У кинотеатров и баров в вечерние часы торгуют греческими и турецкими сигаретами, контрабандным мелким товаром, доставляемым в порт иностранными моряками, и всегда с оглядкой: один продает, другой с отвисшей от коробок пазухой стоит «на васаре».

— Папиросы, трамвайные колеса, поезд стоит пять минут, пока карманы не оберут! — кричит грек, предлагая папиросы на россыпь. — Спешите! Спешите! Берите! Берите!

Когда поселились греки на Барклаевской улице, Витя не знал, может быть, бежали в Россию во время греко-турецкой войны. Вполне возможно. Они были иностранного подданства, часто вспоминали родину предков, и что им ни покажи, какую-нибудь игрушку или обновку, обязательно презрительно скажут: «Подумаешь. У нас в Греции лучше!», хотя ни один из них никогда не был в хваленой Греции, все родились в России.

В том же доме, где и греки, только ниже этажом, в полуподвале, жил перс Ахмет, худой, наголо стриженный, с продолговатой, как дыня, головой. Его отец тоже длинноголовый. Долихоцефалия — признак аристократического происхождения. Но отец Ахмета, кроме длинной головы,

ничего не имел, снимал сырую полутемную квартиру, вместе с русской женой плодил детей (их было уже четверо), варил мутную хмельную бузу из проса, торговал хурмой, апельсинами, айвой, тем и жил.

Ахмет — отчаянный в набегах на сады и привозы, которыми славился город. В субботу станичники приезжали на огромных возах с решетчатыми грядками, полными арбузов и дынь, переложенных соломой. На самом верху сидела «жинка», а «чоловик» торговал. Пудовые арбузы он оценивал не на вес, а на глаз, держа в одной руке нож. Обязательно надрезал. Сделает треугольник и вытащит напоказ кровавую мякоть: смотрите, пробуйте, люди добрые, сахаристее во всем базаре не найдете!

Жинка со своей верхотуры зорко следит за мальчишками, но Ахмет изловчится, юркнет под воз, разворошит солому, и покатаются белобокие арбузы и желтые дыни чередой, только успевай принимать. Поднимет жинка «хай», да поздно. Попробуй догони пострелов! Для Ахмета не так заманчив арбуз (на сладкое он не падок), как сам дерзкий поступок.

Ахмет азартен в игре. Кепка на нем — козырьком назад. Пиджак держится на одном плече и застегнут на одну пуговицу под мышкой. Пустой рукав с удлинившейся полою касается земли, зато правая рука свободна, ею Ахмет точно набрасывает тяжелый пятак из красной меди на пятак партнера. Набросить нужно так, чтобы расстояние между пятаками можно было перекрыть большим и средним пальцами. Перекрыл — выиграл обертку от конфеты — «карамельку». Иной раз приходится до боли раздирать кисть, оттягивать до хруста в суставах средний палец, еще, еще чуток, только бы ногтем коснуться пятака и отстоять карамельку.

Глаз у Ахмета острый, недаром из карманов торчат тугие пачки карамелей с яркими рисунками на плотной глянцевой и лощеной бумаге. Особенно ценятся на глянцевой. Ахмет увлечен игрой, не бежит за кесиком и один среди мальчишек небрежен к праздничным обновкам: плечо уже выпачкано в известке, где-то шмыгнул о стену, а новые брюки надорваны ниже левого кармана: зацепился за колючую проволоку, перелезая через забор в чужой сад.

Партнер у Ахмета — рыжий Лешка, взлохмаченный, с бегающими, всегда голодными глазами. Рука с раздвоенным большим пальцем в кармане: стесняется. Семья Лешкина не столько бедная, сколько какая-то безалаберная, неряшливая. «Один день живут густо, другой пусто», — говорят про нее соседи. Лешка чуть ли не из рук выхватывает кесик и в игре рассеян, обертки из-под конфет его мало интересуют, вот если бы сами конфеты. Одет он почище, поопрятнее обычного, но не в новое, стиранное, заштопанное, в пелесинах. Проглотив, не пережевывая, кесик, Лешка дернул Витю за рукав:

— Хочешь заберешь на самую верхушку акации? Вон на ту!

— Зачем?

— А ты мне вынесешь за это еще пирога.

Недавно бабушка рассказывала маме:

— Витя наш — душа нараспашку, никаких секретов, никакой затаинки: что в голове, то и на языке. А дружок его, соседский Лешка, совсем другого склада, с хитринкой. Еще лет пять ему было. Сидит на улице — пупок голый, ручки сложил на животе: «Софья Кузьминична...» Что-то попросил или спросил, я не разобрала. «Чего, говорю, тебе, малец?» — «Софья Кузьминична, абрикосами угостила бы». — «Сразил ты меня на обе лопатки! Как же, сейчас угощу!» Вот такой дружок у Вити. Наш как-то выносит ему две конфеты. «Чего это только две?» Витя бежит ко мне: «Ба, Лешка говорит: мало конфет». Я дала печенья. Витя выносит Лешке печенья. Тот берет: «Чего это только печенье. А больше ничего у вас нету?» Подрались. Наш безалаберно размахивает руками, а Лешка подгадал — в дыхало ему. Витя прибежал домой: «Ух, я ему надавал!»

Греки встретили Витю насмешливо, песенкой:

— Лимончики, стаканчики
Упали со стола,
Упали и разбились,
Разбилась жизнь моя!

Ахмет мимоходом, устремляясь за брошенным пятаком, глянул исподлобья:

— Сыграем?

Греки, перс Ахмет, рыжий Лешка считались на Барклаевской улице хулиганами, оторвиголова. Мать запрещала с ними водиться.

— Опять с Алекой курил? А ну дыхни!

Алека рано бросил учиться (три года просидел в одном классе), чистил ботинки, продавал сигареты, был туповат, порою не мог правильно сосчитать сдачу и долго думал, когда ему приходилось что-нибудь менять: как бы не дать маху? «Не вигадно!» — говорил он, отвергая мену, и на улице его так и прозвали «Вигада». Повзрослев, Алека пошел работать учеником сапожника на обувную фабрику, открытую рядом с базаром на месте дореволюционной ночлежки. После смены возвращался домой нарочно выпачканный сажей, не снимая кожаного фартука, чтобы все видели — работяга! Завел табакерку с махоркой и папиросной бумагой, курил открыто. Совсем стал самостоятельный. Раньше мальчишки дразнили его «Алека-калека», теперь же оставили. Гляди и перепадет «бычок» с настоящим табаком, не то что свернутые из сухих листьев сигарки.

«А ну дыхни! Дыхни! — подступала к Вите мать с угрозами. Или: Ты с кем сегодня бегал на базар? С Ахметом? С Лешкой-хулиганом? Ой, не миновать тебе тюрьмы. С кем поведешься, от того и наберешься. Нашел себе товарищей! Вон Котик, хороший мальчик. Почему тебе с ним не подружиться?»

Костя, Котик жил в том же «интернациональном» дворе. Отец его, бывший царский офицер, был разбит параличом, волочил ногу, но работал, кормил семью. За плечами у него болтался мешок: ходил по дворам, скупал старые вещи. В квартире из небольшой веранды-прихожей и до-

вольно просторной комнаты было прибрано, чисто, но все выглядело каким-то залежалым, словно из ломбарда. С большой фотографии над кроватью смотрел бравый, усатый штабс-капитан, нынешний старьевщик. Его жена — тихая, вежливая женщина — усаживала Витю за стол, когда он по настоянию матери приходил к Котику в гости, и подавала манную кашу. Вите каша не нравилась, от нее, как и от всей квартиры, пахло затхлым. Не нравилось и то, как Котик вылизывал свою тарелку — мыть не надо. Но, в общем, он был неплохой, скромный мальчик. Только дружить с ним было скучно: игрушки сложены в углу в таком порядке, что к ним боязно притронуться. Книжки хоть и старые, просмотренные пересмотренные, но обложки подклеены и подшиты. Видно, со дня рождения Котика не была поломана, не пропала ни одна игрушка. Мальчики тихо-мирно сидят в углу, полистают книжки, повертят юлу, пошепчутся, и Витя уйдет домой. Правда, кое в чем он завидовал Котику. У него самого игрушки и книжки быстро приходили в негодность, а очень хотелось вернуть утраченное богатство, что-то красочно-притягательное было во всех этих побрякушках, кубиках, кораблях, автомобилях, лягушках-попрыгушках, пестрой чередой прошедших через руки Вити.

У Котика он чувствовал себя скованно, боялся сделать лишнее движение, и во дворе глубоко облегченно вздохнул, вприпрыжку пустился к воротам на улицу. Нет, хоть греки, Ахмет и рыжий Лешка хулиганы, хоть Витя когда-нибудь из-за них и попадет в тюрьму, все-таки с ними интереснее...

* * *

С моря дует легкий весенний бриз. Яркое солнце. Город пестрый, веселый. Сейчас в нем какая-то необычная праздничная тишина. Заводы на той стороне залива не дымят, в каменоломнях не грохочут взрывы, не слышно паровозных гудков. Взрослые пока по домам дошивают, допекают, домывают, кто не успел, принаряжаются к демонстрации, и стайка барклаевских мальчишек первой встречает Первомайское утро.

— Витя! Витя! — слышится из калитки. Это показался дядя-студент в темно-синем костюме и ослепительно белой сорочке, щеголеватый и торжественный. Он только вчера приехал из Москвы. За ним выходит на улицу мать, помолодевшая и немного чужая. Подбежавшему Вите она одергивает пиджак, что-то стряхивает с плеча, поправляет звезду.

Витя подпрыгивает, заглядывает дяде в глаза.

— На демонстрацию?

— Угу.

— И я с вами?

— Зачем же с нами? У тебя своя колонна, у нас — своя.

— Хочу в вашу колонну.

— В другой раз, на Октябрьскую.

— Сейчас! Сейчас! — Витя топает ногами и дергает дядю за руку. — Обманщик! Обещал взять с собой.

— А как же школа? Кто там пойдет?

Витя хнычет, а дядя только посмеивается.

Из калитки выглядывает бабушка.

— Я его провожу до школы.

— Я сам! Я с ребятами! — кричит обиженно Витя.

Барклаевские мальчишки взяли за моду пристраиваться к какой-нибудь взрослой колонне, только не к школьной, чтобы подальше от глаз учителей, чтобы чувствовать себя вольнее. В людской сутолоке они как рыба в воде. А вокруг столько интересного! На каждом углу грузовики с откинутыми бортами. В ящиках — лимонад, печенье, конфеты, а весь асфальт в оберточной бумаге. Красочных конфетных оберток — карамелек, как называют их мальчишки, греби граблями! А ведь еще утром они были в цене и азартно разыгрывались. Теперь на них никто и не смотрит, разбогатели, каждый с деньгами: то ли из копилки, то ли от родителей на мороженое, и все поглядывают друг на друга, кто сделает почин.

— Кесики не в счет, — предлагает Витя. Мальчишки соглашаются, один Лешка не доволен, денег у него кот наплакал.

— Витя! Витя! Подожди.

Подходит большой улыбчивый человек. Вите и родные, и соседи на улице говорят, что он похож на него — «вылитый». Но сам Витя никак не может уловить сходство. Человек крупнолицый, лобастый, с широко расставленными серыми глазами-щелками, берет мальчика за руки, притягивает к себе. Вите неловко, смог бы — убежал. Вон и дружки его притихли, растерялись.

— Ты меня узнаешь?

Витя молчит.

— Я твой папа.

Витя готов провалиться сквозь землю.

— А это кто? Товарищи?

Витя кивает. Сдавленность, неловкость такие, что он не знает куда себя деть, отводит глаза в сторону, ерзает сандалией по асфальту, прячет руки за спину. Человек спрашивает про школу, про дом, и Витя отвечает односложно, как плохо выученный урок. В руках человека двадцать пять рублей — огромные деньги. Неужели это для Вити? Захватывает дух, сердце уходит в пятки. Витя искоса поглядывает на мальчишек, стоявших поодаль: вот, мол, какой у меня праздничный куш!

Брать деньги неудобно, а отец дает и не дает — Витя это видит по нерешительному движению руки.

— Эх, боюсь, растрянжиришь с дружками, не в дело они пойдут. — И прячет бумажку в карман.

Витя смущен, теперь уже до красноты стыдно перед мальчишками. Отец сует Вите горсть конфет, и он убегает с таким же облегчением, как, бывало, из учительской после мучительного выслушивания директорской нотации. Мальчишки обступают его недовольные. Рыжий Лешка с презрением:

— Жадюга!

И немного погода:

— Угости конфеткой.

На него шикают: сывка, обжора. Мальчишки сочувствуют сироте, считая постыдным делить скромный подарок, и Витя благодарен друзьям, и сам оделяет каждого конфетами. Сиротство не тяжело: у Вити мать, бабушка, дядя, много родни в окрестных кубанских станицах и хуторах. В доме не переводятся гости. Отца он, конечно, тоже не сбрасывает со счета, хотя часто слышит о нем нелестные отзывы, и с возрастом этот человек кажется загадочным, из другого непонятного мира.

2

Он не пришел, а вломился в дом, и сразу стало в комнатах тесно: набивал шишки на лбу о притолоки, сшибал на пол подставки с цветами, с этажерок безделушки, цеплялся карманами за дверные запоры. Был горяч, нетерпелив, груб: «А чего? Да я его!» Здоровье — на сто лет. Один валил, разделявал быка. В армии был интендантом, заготавливал для дивизии фураж, продукты. И в гражданке потянуло к коммерции. Уезжал в Сальские степи, скупал скот, грузил в товарняки, торговал мясом. Был прижимист. Домой приносил сбой, голяшки: не пропадать же добру? А из мешка вываливал кучу денег.

— Разбирай по миллионам! — кричал жене.

Теще:

— Считайте, мамаша!

Тестю:

— Помогайте, батя!

Никого не забывал, всем находил дело.

А семья была не бойкая. Тесть, правда, был крутоват, но зятю не перечил. Он день-деньской просиживал в деревянной будке на базаре, чинил часы. Вставит лупу в левый глаз и копается в винтиках, колечках, стрелках, а вечером идет в городской сад в старомодном костюме с жилетом и выпущенной наружу серебряной цепочкой от карманных часов. Слыл за ядлым шашистом и был чемпионом города.

Теща горбилась над швейной машинкой, перелицовывала скупленное на толкучке за бесценок барахло, красила, наглаживала, обновляла и несла на Хитрый рынок. Были сыты, одеты, обуты — чего еще надо? На судьбу не жаловались.

А зять ворвался в дом злой борою, разворошил, растормошил тихое гнездо, и все пошло через пень-колоду.

— Откуда этого антихриста принесло?

— Слава богу, без него дом и детей нажили, без него воспитали! Без него до старости доживем.

Из-за стола после ужина поднимался тяжело, угловато. Тень не вмещалась на стене, ползла по потолку.

— Батя! Мамаша! Не корите. Хочу жить, как люди. Хочу иметь свой дом.

— Мало тебе нашего?

— Собственный хочу. Чтоб никто не смел попрекнуть.

И снова — в Сальские степи, и снова — гурты скота. Приедет проклятый солнцем, просоленный потом и, не передохнув, в лавку за колоду, за топор. А жена молоденькая, еще нет семнадцати, «персик», как говорили соседи, вертится перед зеркалом.

— Куда собралась?

— В Народный дом.

— А деньги кто будет разбирать?

— Ну их к лешему! Сам разбирай. За этой скотиной, за этими миллионами света белого не увидишь. Подруги уже говорят: «Закиснешь ты с мясником».

— А я тебе приказываю: бросай пудреницы, бросай шляпки, берись за деньги, не выводи из терпения.

— Попробуй только тронь!

— А ты не ходи в Народный дом.

— Пойду!

— Разбирай деньги, говорю тебе в последний раз.

— Ни за что!

Оплеуха на весь дом. Крик. Визг. Теща в дверях — блее стены.

— Ида-ал! Кто тебе позволил руки на дите поднимать?

— Пусть не задается.

— Ида-ал! Я этого не потерплю. Вот тебе бог, а вот тебе порог!

— Выгоняете?

— Сами жили, сами...

— Грубиян! Грубиян! Не хочу я его видеть, мама!

К жене с налитыми кровью глазами:

— И ты гонишь?

— Не подходи ко мне!

— Ну как хотите.

Стреб в кучу деньги, запихал в мешок. Собрал нажитое, со зла одежной щетки не оставил. Ушел. И опять — Сальские степи, товарняки, ярмарки, гурты скота. Грязный, потный гонит по улицам города бычков на бойню, косится по сторонам. Разодетый народ спешит в сады, рестораны, бары, кино. А он глаз не поднимет от земли, стыдно замызганному. Видит: по тротуару под руку с франтом в котелке, крагах, при трости на английский манер, идет разряженная его бывшая супруга. И такая обида поднялась у Дмитрия Андреевича — зубами заскрежетал: «Ну, подожди же Елизавета Ивановна, будет и на моей улице праздник. Еще пожалеешь, пожалеешь...»

Был он бережлив, но не жаден, как наговаривали на него родители жены, мол, мяса доброго не принесет из лавки, все какие-то оборыши. Ведь

не хотели понять того, что не для себя одного старался, для семьи, для любимой юной женушки, для ожидаемого ребенка. Век вековать ему примаком в тестевом доме, что ли? Спешил нажить капитал и предугадывал большие возможности, каких по слепоте мещанской не видели старики и всячески срамили, поносили его перед дочерью. А она, девчонка, мало что смысла в жизни, верила на слово. Понятия в таком возрасте известные: благородство, красивые манеры, всякие возвышенные словечки кружат голову. Какой-нибудь франт без гроша в кармане, но умеющий пустить пыль в глаза, станет для нее богом и душеприказчиком. А чем он, грязный, обрызганный скотской кровью, всегда занятый, иной раз побриться некогда, мог увлечь шестнадцатилетнюю девчонку, да еще избалованную родителями, которые во всем ей потакали? И даже после ухода из дома тестя он не терял надежды на примирение с женой и часто думал, трясясь в товарняке на брошенном в углу сене рядом с бычками или овцами: «Не для себя одного. Для семьи, для ребеночка стараюсь!»

Но теперь обозлился, не мешкая послал сваху в недалний хутор, в котором бывал по торговым делам, и она приглядела невесту — милую, скромную, из хорошей казачьей семьи. Были смотрины, помолвка, все как полагается. Но тут случился скандал: невеста узнала, что Дмитрий ушел от жены, оставил после себя ребенка. Он сам хотел в этом признаться, да никак не мог выбрать момента. Такая пошла куролесица, хоть убирайся восвойси. Но понравилась невеста. Дмитрий ходил возле нее неделю, уговаривал, задабривал подарками, оставил на время лавку, отложил срочную поездку в степные Зимовники. Невеста заупрямилась и в конце концов пожелала встретиться с Елизаветой, а потом сказать свое последнее слово.

Дмитрий заложил таратайку, свез невесту в город, показал ей дом, а сам, томясь, остался поджидать невдалеке. Потом узнал, какой получился разговор.

«Может быть, вы будете возражать против моей свадьбы?» — попытала невеста.

«Мне то что!» — вспыхнула гордая красавица.

«Значит, вы даете свое согласие?» — переспросила казачка уже просто так, для очистки совести.

«Даю, даю!» — холодно бросила Елизавета и ушла в свою комнату, упала на кровать, ткнулась лицом в кружевные брачные подушки и горько разрыдалась.

На суде, во время развода, адвокат сказал такое, что Дмитрию запало в самое сердце:

— Попомните мои слова: мальчик вырастет коммунистом! Доживет до того времени, когда Россия будет без нэпманов и спекулянтов!

Дмитрий усмехнулся: странно было представить сына взрослым, да еще коммунистом.

Но нэпу, и верно, скоро пришел конец. Дмитрий бросил мясную лавку, два нажитых каменных дома, удрал от уплаты разорительного налога.

Где только не скитался, лет восемь колесил по Кавказу, по Украине, забирался в Среднюю Азию, в Сибирь, но все-таки приехал в черноморский городок. И не только для свидания с малолетним сыном: захотелось посмотреть на свое «недвижимое имущество». Один дом уже заселили коммунальные жильцы, в другом, самом большом и красивом, открыли детский сад. Купчие на владение собственностью Дмитрий Андреевич бережно хранил, но в судебную тяжбу с городскими властями вступить побоялся: как бы не накликать беды. «Вырастет сын, передам ему бумаги, пусть и отсуживает. Вон уже какой! Диковатый, не признает отца. Лямина настроили, известное дело, даже фамилию переменили Озерко на Озерова». Больно, обидно, да что поделаешь, горячиться особенно не приходится: своя семья, уже трое детей.

Прячет деньги, провожает первенца тоскующим взглядом: мальчик мелькнул золотой головой и пропал в толпе.

3

Отсюда, с площади, куда стекаются колонны демонстрантов, видны не в очень большом отдалении, через бухту, волнообразные лысые горы. Они напоминают облезшие верблюжьи горбы. К подножью гор лепятся серые заводские корпуса. Многочисленные окна их вечно покрыты цементной пылью, она толстым слоем лежит на карнизах, бахромой обвисает на паутине. Кирпичные, под облака, трубы день и ночь коптят небо. День и ночь в горах гремят глухие взрывы. Для мальчишек они уже обычны, как звонок на урок. Взрывают мергель — трескучий камень, который затем перемалывают в порошок и обжигают в огромных цилиндрических вращающихся печах. Насыпи заготовленного мергеля поднимаются террасами. Из карьеров над предохранительными стальными сетями беспрерывно скользят вагонетки.

После революции цементные заводы получили новые названия — «Октябрь», «Пролетарий». Они самые крупные в городе, к рабочим-цементникам относятся с уважением. Несколько мужчин с Барклаевской улицы возвращаются домой после смены в парусиновых спецовках, с припорошенными бровями и ресницами, как у мукомолов.

Рано утром на пристани Витя не раз видел, как рабочие грузились в пузатый, низко сидящий катер, чтобы переправиться на ту сторону бухты. На дно катера прыгали, точно в яму. Катер садился ниже и ниже, едва не черпая бортом воду. Матрос длинным шестом отталкивался от берега, заводил мотор, широкой дугой разворачивал свою посудину по курсу.

В ранний пасмурный час вода в заливе спокойная, гладкая, с синими разводами мазута. Сверху давят тяжелые влажные тучи и стоит такая тишина, что стук ботинок по деревянным сходням и бульканье вспененной воды между бортом катера и причалом, и чирканье спички, и хриплый кашель, и шелест отрываемых матросом билетов от бумажного рулона как бы вкрапливаются в тишину, висят, плавают в ней. Лица у рабочих серые,

парусиновые спецовки заскорузло шуршат, будто ломаются. Вечером, после смены, ботинки оставляют на сходнях пыльные следы, а если ладонью ударить по куртке, то взметнется серое облако и серой станет ладонь.

В городе жили люди разных профессий, начиная от чистильщиков сапог и кончая загорелыми разудалыми моряками, один щегольской вид которых вызывал у мальчишек зависть. Но почему-то настоящей рабочей профессией считалась только одна — цементника.

Бабушка рассказывала, как однажды «в старое время» с той стороны двинулись в город серые толпы людей с красными флагами, как на витрины магазинов, грохоча, опускались жалюзи и пустели улицы, как налетели верховые казаки и завязалась перестрелка. Больше бабушка ничего не знала, не могла объяснить причину такого «наваждения», но Витя, читая учебник по истории, встретил название родного города. В пятом году вместе с пролетариями всей России цементники подняли восстание против царя. В Гражданскую войну красно-зеленые отряды цементников, спустившись с гор, помогли Красной Армии сбросить в море белогвардейцев.

Купаясь в бухте, мальчишки доставали со дна ржавую ослизлую рваную броню, позеленевшие медные гильзы от снарядов. Они жгли не отсыревшие даже в воде гибкие палочки артиллерийского пороха, похожие на восковые свечи. Многое вещественно напоминало о тех пламенных годах, и, конечно же, первомайская демонстрация. Вон сколько шелковых бантов алеет на пиджаках взрослых, вон как сверкают на солнце ордена на яркой кумачовой подложке. Правда, орденов поменьше бантов, они как музейная редкость, и мальчишки смотрят на орденоснца с уважением и даже боязнью.

— Держи ровнее, ровнее! — подталкивает кто-то Витю. — На площадь выходим. К трибунам.

И Витя напряженно, зорко смотрит в ту сторону, куда ему показывают, и крепче сжимает древко транспаранта. Он напросился сам на эту нощу, боясь, как бы его не вывели из колонны взрослых на тротуар, к зрителям.

На трибуне говорит человек с грубоватым лицом рабочего и орденом на груди.

— Дядя Тима! Дядя Тима! — кричит Витя и бежит к трибуне, ломая строй.

Дядя Тима, старый цементник, в Гражданскую красно-зеленый, вот уже несколько лет, надорвавшись на заводе, не у дел, на пенсии, рыбачит, но все равно почетный человек в городе, без него не обходится ни одно торжество. Он замечает Витю, подмигивает и перегибается через перила.

— Давай руки!

Витя на трибуне. Он с удивлением видит, как запружены до отказа улицы, а из боковых переулков на главную магистраль вливаются все новые и новые колонны.

— Ляма! Лимончик!

Витя всматривается в просветы между плывущих мимо транспарантов, флагов, макетов. Там, в толпе, барклаевские мальчишки смеются и машут ему руками.

* * *

Обычно после демонстрации в доме собираются гости. Бабушка была хлебосольная, дед — строгий хозяин; он сам смастерил все эти этажерки, шкафы, табуретки, полочки, и дом походил на отполированный до блеска сундук, заполненный интересными вещами.

В зале накрывали составленные вместе два стола. Гости торжественно рассаживались, брались за рюмки, но не пили, ждали, когда дед скажет напутственное слово, которое он всегда заканчивал: «Дай бог не последнюю!» — и первый опрокидывал в рот рюмку, налитую склень. Он был «владимирский богомаз» из деревни Сметанкино, с норовом, любил щегольнуть, на обеих руках — перстни. При деньгах иной раз возвращался домой под хмельком на трех фэтонах: первый вез самого, спавшего под козырьком; второй шляпу; третий — трость. Характером был крут: бывало, если не в духе, встанет в разгар пиршества и поднимет руку:

— Ну, гости добрые, попили, поели, хватит! Надо и честь знать. Время не раннее... — И, не глядя в глаза бабушке, которая пыталась его урезонить: — Лучше нас найдете, нас забудете, хуже найдете, нас вспомняете!

Гости много пили и ели, вспоминали, как жили «в старое время», как молодые уважали старших — не то что теперешние дети. Распустились, родных не слушают. Это, конечно, камешки в Витин огород. Его тоже усаживали за стол, наливали красного чуток, на доньшко. Для Вити было большим счастьем сидеть среди взрослых, посасывать, чтобы подольше растянуть удовольствие, кисловатое вино, сжимая стакан обеими руками, и брать все, что захочется, не боясь запретного окрика: пирожное, конфеты, орехи, варенье. Мать сейчас не обращала на него внимания, занятая гостями. Ровесница Нина, дальняя родственница, жившая двумя кварталами ниже, подталкивала Витю локтем, заигрывала, но он лишь хмурился и подальше отодвигался. После двух-трех рюмок бабушка обычно говорила, утирая рот носовым платком:

— Люблю старинные песни. Тима, а, Тима, заводи «В глубокой теснине Дарьяла».

И дядя Тима, младший брат бабушки по мачехе, вытирал полотенцем масляные губы, глубоко вздыхал, как бы готовясь к важному делу. Глаза его делались серьезными. Затягивал песню сильным грудным голосом, тужился, напрягался точно от тяжелого груза, красный, со вздутыми на шее венами. Кадык у него ходил вверх-вниз, и казалось, натянутая до предела кожа не выдержит, вот-вот лопнет, но все заканчивалось благополучно. Гости подхватывали песню, дядя Тима сбавлял голос, кровь отливала от лица и шеи, только что выпученные и сердитые глаза делались добрыми, чуть грустными.

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...

Песня эта, хотя и была далекой от образа жизни певших ее людей, не казалась чужой. Близлежащие горы когда-то заселяли черкесы. Они ушли с побережья в глубь Кавказского хребта, оставив кое-где сохранившиеся погребения — овалы каменные плиты с непонятными арабскими надписями. И песня про царицу Тамару как бы перекликалась с этим прошлым, далеким и загадочным.

А гости без передыха уже затягивали другую песню:

По Дону гуляет, по Дону гуляет,
По Дону гуляет казак молодой.
В саду дева плачет, в саду дева плачет,
В саду дева плачет над быстрой рекой.
Ее утешает, ее утешает,
Ее утешает казак молодой:
«О чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь,
О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?»

И Дон был не за горами, не за долами, казачьи песни распевались как свои, родные. Но одна, тоже всеми любимая песня, больше всего волновала дядю Тиму, да и Вите была понятна и в чем-то близка. Начиная ее, дядя Тима закрывал глаза, как бы припоминая давнее, пережитое:

Там, вдали за рекой, зажигались огни,
В небе ясном заря догорала,
Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала.
И отряд боевой наскочил на врага,
Завязалась жестокая битва,
И боец молодой вдруг поник головой —
Комсомольское сердце разбито...
Он упал возле ног молодого коня
И закрыл свои карие очи:
«Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих».

Под конец песни дядя Тима, видимо что-то припоминая из пережитого, смотрел затуманенными глазами, не вытирал слез, которые катились по щекам, брал рюмку и говорил притихшим гостям:

— Давайте за тех, кто честно погиб за рабочих!

Удивительно, как много песен знали старшие: и про ямщика, замерзающего в степи, и про каторжанина, бредущего глухой, неведомой тропой, и про священный Байкал, омулевую бочку, и про чайку, убитую охотником. А украинских песен и не перечесать. Больше всех их любила бабушка. Родилась она в Курской губернии, где русские и украинцы жили попеременно; сама «суржанка», она была равнодушна к мелодичным «малороссийским» песням.

Посадив внука к себе на колени, бабушка пускалась в воспоминания:

— На Кубани наша родня поселилась в станицах Крымской и Славянской. Шили сапоги, клали печи, считались иногородними. На землю не имели права. Казаки нас чуждались, презирали и притесняли. Среди нашей родни были «смутьяны». Мою золовку крымские казаки при допросе насмерть заповорожили шомполами. Мужа ее тоже чуть не схватили, но он бежал в город, я его долго укрывала в подполье. Так и прижился в Новороссийске.

— Кто же он? — спрашивал Витя в недоумении, слышавший про такое в первый раз.

— А дядя Тима!

Это было неожиданное волнующее открытие. А бабушка продолжала:

— Кто-то пронюхал про дядю Тиму и донес в жандармерию. Что тут делать? Дружила я в то время с Марусей, мамой Котика. Она взяла Тиму к себе, но снова кто-то донес, пришлось Тиме бежать в горы. А нас затаскали на допросы, больше всех досталось отцу Котика, офицеру. Беднягу скрутило, разогнуться так и не смог.

Дядя Тима, внимательно слушавший бабушку, заметил:

— Наступило такое время, что жить по-старому уже было невозможно. Кто это понял, а кто нет.

— Некоторые до сих пор не поняли! — подхватил дядя Алексей, студент, считавшийся самым образованным в семье. Мальчишкой он был отдан в ученики сапожнику, но на этом не остановился, поступил в школу, потом в институт. — Вон твой отец, Витя, пришел с войны молодой, здоровый. Ему бы на рабфак, в институт, а он кинулся богатство наживать, думал, что все пойдет по-старому. И оказался человек за бортом!

— Правда, дядя Тима?

Не очень веря студенту (все-таки хотелось видеть отца другим), Витя с надеждой поворачивался к красному партизану. Дядя Тима лишь посмеивался, а бабушка ссаживала Витю с колен:

— Пойди погуляй с Ниной.

— Не буду я с ней гулять!

Нина сидела напротив, опустив голову, невеселая.

— Поссорились! — догадалась бабушка и ухмыльнулась. — Гости дорогие, помогите помирить жениха и невесту!

Витя и Нина вдруг оказались в центре внимания. Бабушка легонько, но настойчиво подталкивала внука к девочке, а кто-то из гостей Нину к Вите. Но оба были уже не того возраста, когда их воля всецело подчинялась воле взрослых. Нина, по-прежнему с опущенной головой, встала из-за стола и сделала вперед несколько робких шагов. Гости дружно ее подбадривали. Но Витя вывернулся из бабушкиных рук, крикнул: «Не буду я с ней мириться, не буду!» — и выбежал из комнаты.

Нина была веснушчатая, белоголовая, голубоглазая. Первый раз мальчик и девочка встретились в гостях, совсем маленькие, было им года по четыре. Взрослые выхвалялись друг перед другом:

— Вот вам жених и невеста из сдобного теста!

— Наш орел!

— А наша — красавица! Глаза — озера, волосы — шелк.

Дети жались к материнским подолом, потупив глаза. А когда их подталкивали друг к другу, отчаянно упирались. Но недолго. Вскоре бегали по комнате наперегонки, визжа и смеясь. Потом забрались под стол и долго там шушукались, угощались орехами и конфетами. Девочка очень привязалась к Вите, всегда охотно играла с ним, всегда старалась задобрить чем-нибудь, услужить. Повзрослев, она одна, без родителей, приходила на Барклаевскую улицу и смотрела на родственника преданными глазами. Не так давно они поцеловались у соседки Аллы Чепурченко на именинах, вертя на полу бутылку. С первого же раза горлышко показало на Нину. Поцеловались вскользь, холодными губами, но этот поцелуй для обоих много значил. И вот произошло то, чего не хотел Витя, что случилось не по его воле.

4

Как только потеплело, земля взялась паром, запахло прошлогодним листом и ладаном, который курился в церкви, — наступило Вербное воскресенье. До глубокой ночи проходило богослужение, и в сумерках народу набиралось столько, что двери распахивались настежь, толпа стояла на паперти и заполняла двор, а из глубины, с хоров, неслись «небесные» голоса певчих и при свете восковых свечей блестели скорбные лица верующих. В глубине церкви, в дымке курящегося ладана видны обнаженные головы, напоминая вспотевшие арбузы поутру на бахче. Поблескивает золотой и серебряной вязью риза бородатого батюшки на амвоне. У каждого верующего в руке две-три вербочки с пушисто-нежными сережками, окрапленные святой водой. Вокруг на земле и на обитых, с проросшей травой, ступенях паперти оброненные хворостинки. Они пучками торчат из ведер, кувшинов, леек, принесенные к церковной ограде из дальних плавней.

Смеркается. Барклаевцы свет не зажигают, сумерничают, сидят после плотного ужина на веранде, лузгают каленые подсолнечные семечки, ведут неторопливую беседу, словно сучат нити на веретене. В потемках белыми пятнами выделяются лица, на них печать благодушия, отдохновения после суетного дня. Вите нравятся эти вечерние тихие часы, сверчковая, навевающая сон однотонность голосов и даже то, как у бабушки от лузги растет и растет на подбородке серая борода. Лузгою покрыт подол, усеян пол...

Витя выходит на улицу, желанную в любое время суток. И чем строже на нее родительский запрет, тем сильнее она влечет к себе. Тишина. Шарканье ног старушек, бредущих на богомолье, да усталое цоканье копыт ломовой лошади, тащившей в гору пустую повозку с подвыпившим возницей. Пусто. Все дружки, наверное, уже в постели. А как хочется еще пошалить, продлить день! Но кто там маячит на углу? Мальчишки посвистывают в воздухе хворостинками: у кого гибче, длинней? Ага, схватил! А вот тебе еще! Вербохлест, бей до слез!

Глубокая тайна — вековая преемственность детских игр. Ведь никто не учит подростков правилам игры в городки, лапту, жмурки, они передаются из поколения в поколение неведомыми путями, как и сегодняшний вербохлест.

Нина смеется, увертывается от ударов, но сама нет-нет и стеганет Витю. Он злится, никак не может отплатить.

— Ага, схватил! Ага, схватил! Вербохлест, бей до слез!

Нина стегает слегка, шутя. Она увлекается игрой и не замечает, что уже приперта к стене дома. Свистит лоза, хлещет по голым икрам и рукам, оставляя полосы-ожоги. Витя бьет с размаху, сгоряча, и Нина сразу сникает, опускает руки, безутешно хнычет. Вите жалко подружку, но мальчишеская задиристость не позволяет извиниться. Он грубо говорит:

— Так тебе и надо, сама кричала: «Вербохлест, бей до слез!»

Уже давно Витя сторонился Нины, и как девочка ни старалась сблизиться — заговаривала, увязывалась с ним на плавни собирать колокольчики, — это ей не удавалось. Бывало, придет в дом, а Витя грубо: «Ну чего ты пришла? Чего пришла?.. Альбо! Альбо!» Это уже через забор, к соседям-чехам, вызывая свою сверстницу Альбину.

Нина потупится, покраснеет, готова сквозь землю провалиться, но не уходит.

А в жару, обливая друг друга водой на улице, во время беготни, суеты, криков, Витя изловчился и опрокинул на девочку полный таз. Нина ахнула, беспомощно опустила руки; волосы свисли мокрыми прядями, платье, как пережеванное, сморщилось и прилипло к телу.

«Мокрая курица! Мокрая курица!» — закричали греки, и с тех пор к Нине навсегда пристало это прозвище.

Витя и не замечал свою подружку детства, и обижал, но она продолжала бегать за ним, как собачка.

...Из-за праздничного стола Нина вышла вслед за Витей, а он уже забрался на шелковицу во дворе, перевисавшую ветками на улицу, и сидел там, притаясь. Девчонки на лавочке под забором судачили, собирали колокольчики в букеты, и Нина присоединилась к ним.

Девчонки, конечно, все были скромницы. Через забор — дом Чмелинских. Хозяин работал на ВРЗ — вагоноремонтном заводе. Его единственная дочь Альбина была с разными глазами, зеленым и голубым. Больше ничего про нее не скажешь, разве еще то, что когда-то в раннем детстве, Витя и не помнил когда, Альбина смазала ему голышом по лбу, и памятью остался шрам над бровью. Через дорогу жила Алла Чепурченко. К тринадцати годам у нее прорезался красивый голос, и теперь в открытое окно на улицу лились бархатные рулады.

От отца-украинцы Алла унаследовала высокий рост и веснушки, от матери-гречанки — большие черные глаза. Старший брат ее, диковатый одиночка, влюбился в заезжую столичную актрису, исстрадался понапрасну и... застрелился. Это было большое горе в семье, мать до сих пор ходила с припухшими, заплаканными глазами. Такими они остались у нее на всю жизнь.

Чепурченко занимали большую, богато обставленную квартиру и, наверное, на всей улице у них одних было пианино. В прошлый новогодний праздник Алла впервые пригласила к себе домой сверстников, Витя и Нина тоже были приглашены, вошли в квартиру робко, боясь что-нибудь сбить на пол, не так сесть, не то сказать. Но постепенно освоились, мать была рада гостям, рада приобщить дочь к детворе, боясь повторения того же, что было с замкнутым сыном.

Весь вечер бренчали на пианино, крутили пластинки на патефоне, учились фокстроту и вальсу, играли в прятки, вертели на полу пустую бутылку. На кого укажет горлышко, того и поцеловать. Витя до сих пор помнил тот первый поцелуй вскользь, вызвавший такой трепет в груди, такое волнение...

— Белые цветы — разлука, — посетовала Нина с грустью, разбирая в подоле букет.

— А красные — любовь! — авторитетно заметила Альбина, озорно стрельнув разноцветными глазами.

— А желтые? Что означают желтые? — спросила горделивая Алла. Она еще маленькой была недотрога, а теперь к ней вовсе не подступись. Букет колокольчиков она собирала с таким видом, словно выполняла какой-то священный ритуал и, досадно смотреть (Витя испытывал это чувство и сейчас, сидя на дереве), никому не удавалось сбить с нее спесь, любого, пытавшегося это сделать, Алла уничтожала разительным взглядом.

— Желтые? — переспросила Нина задумчиво. — Желтые — измена. Желтый цвет — это твой цвет, Алла!

— Почему мой?

— Ты такая надменная, такая недоступная, как принцесса.

— Зато тебе больше подходит красный! — Алла зарделась и расхохоталась, то ли скрывая стыдливость, то ли радуясь смущению Нины. — Я знаю, в кого ты влюблена!

— Ничего ты не знаешь!

— Нет знаю! Хочешь скажу?

— Ну и говори, выдумщица!

Витя на дереве весь сжался, ожидая услышать свое имя. Но, может быть, у него есть соперник?

— Ах, ты еще строишь из себя недотрогу. Тогда... тогда...

Грек Алека, разбираемый любопытством, просунул голову между девочек, но они сразу умолкли.

— Скажи мне одному, — попросил он Аллу на ухо по-гречески.

Алла брезгливо отстранилась и ответила по-русски:

— Любопытство не порок, но большое свинство!

Ябедничать было ниже ее достоинства, тем более со столь ничтожным существом, как Алека.

— Мировой получился букет, правда? — повернулась она к Нине, оправляя цветы с разных сторон.

Белые и желтые колокольчики, болотные цветы, младшие братья тюльпанов и лилий, уже наводнили город. Они росли во множестве в плавнях и появлялись чуть ли не с подснежниками. За колокольчиками отправлялись дети и взрослые, приносили в ведрах, корзинах, охапками, туго перетянутыми травяными жгутами, как снопы хлеба. Белые и желтые колокольчики не пахли, но приятно было зарыться лицом в раннюю весеннюю зелень, почувствовать на щеках мраморный холодок, прислушаться: а может, на самом деле звенят?.. Колокольчики в домах повсюду — на столах и подоконниках, в вазах и стеклянных литровых банках.

Оставив цветы, девочки принялись за праздничный обед во дворе Альбины под старым абрикосом, где был расшатанный, выброшенный из комнаты стол. Обед собирался с миру по нитке, кто что приносил из дому, и все делалось в подражание взрослым. На тарелку «гостю» попадал ломтик пирога, конфета, долька апельсина, кусочек сыра или колбасы, щепотка зелени и вместо вина рюмка лимонада.

Накрывая стол, девчонки о чем-то шептались, похихикивали, и Алека поглядывал в их сторону, сгорая от любопытства.

— Как пишутся, с мягким или без мягкого знака, «уж», «замуж», «невертерпеж»? — донеслось со двора, и Алека тотчас передразнил, оповещая всю улицу: — Ах, ах, Альбине уж замуж невертерпеж!

Остальные мальчишки считали унижением для себя подслушивать девичьи разговоры и занимались «мужскими» делами.

На Барклаевской улице было два Кости: маленький, скромник и тихоня, и большой, пижон-парикмахер, грек русского подданства. «Аристократ с Нахаловки», — подтрунивали над ним барклаевцы, что Косте, впрочем, нравилось. Был он щеголь, любил пустить пыль в глаза и самостоятельно строил килевую лодку (в пику рыбацким плоскодонкам). Во дворе

на стапелях красовался изогнутый каркас, напоминающий лиру. Костя намеревался покорить нахаловских и приезжих девчат, фланируя под парусом вдоль пляжа и красуясь за рулем в узких плавках. В этом он не отставал от кавказцев, как и многие его соплеменники.

Мальчишки потолклись у каркаса, обсуждая достоинства и недостатки «посудины», уподобляясь черноморским рыбакам, потом принялись за игру, требовавшую зоркого глаза, ловкости, большой силы удара — в чурку.

Вообще Барклаевская улица славилась играми и притягивала к себе детвору со всей округи: то ли здесь были лучше заводицы, то ли детворы больше, то ли сама широкая, немощеная улица благоприятствовала этому. Улицу не мостили потому, что земля была каменистая: гравий, глинозем. Дождь прошел — сухо. Сточная вода сбегала по канаве поперечной улицы, что спускалась к базару, к центру города. Та, поперечная улица, была вымощена цементными квадратными плитами, но тротуар часто разрушался. Летом над городом проносились обильные ливни, бурные мутные потоки с гор устремлялись к морю, и вода в бухте тогда делалась желтой, город терял краски, словно линял.

Канавы, гористый скос посреди улицы, полузаброшенное кладбище, мраморные надгробья и памятники, украшенные белыми ангелами с лавровыми венками в руках, замшелые темные склепы, уже разоренные, полузаваленные, витые железные ограды, сквозь которые ломились кусты жасмина и белой сирени, — таинственный и заманчивый мир.

Все лето взгорок пестрел цветами одуванчиков, ромашек, лютиков, детвора лакодилась пресными «калачиками» — крохотными светло-зелеными ягодами просвирника. Хорошо поваляться в траве или скатиться колесом под уклон! Зимой этот бугор с притягательно-крутым спуском обкатывался санями, фанерками — не устоять на ногах!

И глубокая канава в подкопах (из нее брали хозяйки глину), прохладные укрытия с глянцевыми стенами в следах лопат и ножей, куда можно было забраться в жару, и кладбище, непролазные заросли кизила и терна, пугающие и влекущие к себе захоронения, овальные эмалевые портреты людей, которых трудно было представить неживыми (казалось, они по ночам поднимались из могил и гуляли по заросшим дорожкам в старомодных костюмах, кое-кто даже утверждал, что видел «своими глазами» в лунную ночь фосфорисцирующие туманные столбы над могилами, в которых ясно обрисовывались человеческие фигуры), — вот что и создавало таинственность и прелесть этого мира. В нем каруселью вертелись мальчишеские интересы, он доставлял и радости, и огорчения, был недоступен для понимания взрослых, растерявших детские впечатления в житейских заботах, как для детворы был недоступен и непонятен мир взрослых, потрясаемый войнами, революциями, голодовками, политической борьбой и борьбой за насущный кусок хлеба. Детское неведение! Милое, доброе время.

Посреди «города», отмеченного мелом квадрата, на кону, лежит заостренная с обоих концов чурка. Витя примеряется ребром лопаты и легонько, чтобы не промазать, бьет по концу чурки. Чурка, кувыряясь, подлетает на метр от земли, и тут Витя лупит по ней уже со всей силой. Чурка высоко взмывает вверх, и «гоняемый» Алека напрасно старается поймать ее при падении: «крученная» чурка может отсушить ладони. Она всякий раз улетает далеко от «города», и Алеке никак не удастся с большого расстояния попасть в меловой квадрат, хотя он и делает по правилу три шага вперед от места падения чурки к кону, хотя Витя лаптой и показывает, куда она должна лечь.

Мальчишки с интересом следят за поединком, выражая свое отношение к играющим то радостными восклицаниями, то насмешками. Любопытных собралось порядочно, и в воздухе давно мелькает кем-то подбрасываемый тугой черной резиновый мячик.

— Хватит в чурку. Давайте «в ручку бить и бежать»!

— Алека хочет отыграться.

— Куда ему!

— В лапту! В лапту давайте!

Взмыленный, мешковатый Алека не прочь переменить игру, загоняя его Витя, и остановился в нерешительности с чуркой в руке: бросать или не бросать? В спор ввязались девчонки, подняли визг, крик и, конечно, взяли верх. Детвора разделилась на две группы. Витя и Ахмет стали кояться на палке: чей кулак захватит конец, кому владеть мячом, кому бежать. Кулак Ахмета оказался сверху под радостные возгласы одной стороны и огорчительные другой. Началась самая захватывающая, самая многолюдная и шумная игра — «в ручку бить и бежать».

Ахмет завладел лаптой. За «водырем» выстроилась очередь. Вот Нина, единственная из противной стороны в чужом стане, подбросила мяч в воздух. Ахмет круглой длинной палкой (в ней сила удара во много раз больше, чем в дощатой струганой лапте) делает «свечу». Мячик высоко уходит в небо, превращается в точку, и Ахмет не бежит, а спокойно, вразвалку, посмеиваясь, идет в «поле», к намеченному дереву, «засеке», дотрагивается до него и возвращается в «город». Однако на полдороге ему приходится поторопиться. Витя хоть и выпустил пойманный крученный мяч, отсушив руки, тут же поймал его и целится в Ахмета, сейчас зачкает. Ахмет остановился как бы в растерянности, куда бежать — в «город» или в поле, делает ложный рывок в поле и тут же во всю прыть летит на кон. Мячик проносится мимо, гулко ударяется в забор. Витя его снова подхватывает, но уже поздно. Ахмет на кону.

Алека раздумывает, что брать — лапту или увесистую палку.

— Промажешь! Бери лапту, — советует Ахмет, но Алека уже изготовился для удара палкой и кивает головой Нине: давай!

Нина подбрасывает мячик. Алека неудовлетворенно стучает концом палки о землю: плохо гилишь, бросай повыше. Нина бросает выше, палка

свистит мимо. Нина подхватывает мячик и неловко, по-девичьи, отводя руку не в сторону, наотлет, а вверх, за голову, бросает вслед убегающему мазиле. Мяч пятнает Алеке спину.

Гоняемые визжат и подпрыгивают от такой удачи. Команды меняются местами. Но ненадолго. Город продает разноглазая Альбина: ее слабый мяч без труда ловит Ахмет.

Витя вспотел, по телу из-под мышек катится и щекочет пот, солоноватые капли заливают глаза, попадают с кончика носа в рот, лицо пышет жаром. Улучив минуту, он бежит в дом и видит в приоткрытую дверь за столом гостей. В уши ударяет хмельная разноголосица. Веранда заставлена пустыми бутылками, а одна на подоконнике — темно-зеленая, тяжелая — наполовину с вином. Приятно хлебнуть глоток-другой кисловатого рислинга: сразу утоляет жажду.

Витя третий или четвертый раз, вбежав на веранду, прикладывается к бутылке и тут же назад, к лапте.

— Ты чего заладил в дом? — допытывается Нина.

— А так... Жарко.

— Ой, и мне жарко!

— Пойдем напою.

На веранде Витя хватает темно-зеленую бутылку, почему-то полегчавшую, словно еще охотник до вина прикладывался.

— Будешь?

— Что это?

— Рислинг.

Нина колеблется.

— Ну чего ты гадаешь?

— Опьянею.

— А мне ничего. Вон уже сколько выпил!

Витя храбро запрокидывает бутылку, но на этот раз в рот льется что-то терпкое, стягивающее желудок до судорог. Витя задышется, икает, из бутылки на пол проливается бордовая жидкость, вовсе не рислинг.

— Да это... это марганцовка! — вскрикивает Нина и, перепуганная, бежит к гостям.

— Отравился! Витя отравился!

Растерянная, бледная мать отчаянно всплескивает руками, видя икающего, залитого марганцовкой сына.

— Надо дать ему чего-нибудь рвотное.

— Молока!

— Лучше всего кислого! — наперебой советуют гости.

Молоко насильно вливают пострадавшему в рот, суют за язык два пальца. После неприятной процедуры Витю обмывают, переодевают. Он стоит бледный, безвольный, плохо соображая, что с ним случилось.

— Обязательно напроказничает. Никак не может без шкоды! — сокрушается бабушка, уже успокоенная: все обошлось благополучно. Она так и этак вертит залитую марганцовкой рубашку, качает головой: — Что за

мальчишка! Другие дети, как дети, вон Котик, всегда чистый, аккуратный. А на нашего одежды и обуви не наставишься. Все на нем горит!

И Витя, скучная, уже ждет длинной нотации, в которой повтором обязательно будут звучать слова: «Соберу все до кучи, да возьму бельевую веревку, ты у меня дождешься». Почему-то во время стирки или приборки в доме бабушка была особенно зла, «бурчала» часами и даже на улицу доносился ее ворчливый голос. Витя с трепетом пытался по тону угадать, когда бабушка перейдет к делу, то есть снимет с гвоздя на веранде веревку. Налетала она неожиданно, Витя почти всегда опаздывал юркнуть под кровать или прошмыгнуть во двор. Бывало, бабушка перехватывала его в дверях, веревка больно хлестала по спине, по ногам. «Кровопийца! Мать загонишь в могилу!» — приговаривала бабушка, не жалея веревки. Веревкой от нее доставалась и деду, хотя тот и был старше лет на десять.

Но сегодня — праздник, да и мать так напугалась, так рада видеть живого и невредимого сына, что укоризненно поглядела на бабушку.

— Оставьте его в покое, мама... Ну как, сынок, полегчало? — озабоченно спрашивала она, усаживая Витю на кушетку.

— Все уже прошло.

— Отдохни немного.

— Не хочу. Пойду на улицу.

— Какая улица!

Сейчас, в разгар игры, оставить «водырю» команду все равно, что полководцу войско на поле боя. Витя лежит на кушетке, ждет, когда мать уйдет к гостям, и, только за нею захлопывается дверь, вскакивает и бегом на улицу.

— Ну что, ожил? Не больно? — допытывается Нина, участливо заглядывая Вите в глаза, даже погладила по голове. Но Вите стыдно за то, что произошло, грубо отбрасывает Нинину руку:

— Совсем не больно. Пустяк!

Ничего так не воспитывало мальчишескую волю, ловкость, мужество, как это соперничество. Кто знает, может быть, именно детские уличные игры рождали стойких воинов, смелых полководцев, дерзких разведчиков. Воображая себя героями, ребята не подозревали, что они не так уж далеки от настоящей войны, что она вот-вот всей тяжестью свалится на плечи их поколения.

5

А солнце уже припекало, и пропала охота гоняться за мячом. Мальчишки оставили игру и кинулись к лавочке в тени под забором чешского дома. Лавочки всем не хватило, тогда «обделенные» дружно надели на крайних. Выжатые из середины, в свою очередь, не теряясь, надали плечами и боками на занимавших места, и все гамузом свалились на землю, барахтались, визжали, нижние хватали верхних за ноги и руки, стаскивали с себя, каждый старался побыстрее выбраться из кучи и захватить ла-

вочку. Кое-кто, озорничая, с криками: «Мала-куча!» — прыгал верхом на спины и снова валил на землю выползающих на карачках сыёсподу.

Под тяжестью тел на самом низу Витя не мог двинуть ни ногой, ни рукой. От скованности, невозможности что-либо предпринять страх удваивался. Вот сейчас, сейчас он задохнется. Такое с ним случалось во сне: мохнатое, бесформенное наваливалось, душило, и он в ужасе, обливаясь холодным потом, просыпался.

Витя визжал, кричал благим матом, но взбудораженную детвору ничем нельзя было пронять. Испугавшись за жизнь своего соседа, Альбина сбегала домой за водой, взобралась на скамейку и опрокинула ведро на верхнего, хохотавшего в кураже Алеку. Охи и ахи. Мала-куча рассыпалась. Алека кинулся домой за кувшином, но его встретили уже новым ведром. Пошла в ход посуда, какая попалась под руки. В осаде оказались водопроводные колонки.

Не беда, если на праздничную рубашку попали брызги, пусть даже вся грудь залита водой: жаркое солнце высушит! Но сумей увернуться, перехитрить нападающего, подкрасться к нему сзади, подбить снизу кружку рукой, и воду, предназначенную для тебя, выплеснуть на противника, не дать ему опомниться, обратить в бегство.

От водяных брызг, просвеченных солнцем, вспыхивают маленькие радуги. Возбужденные, хохочущие лица, мокрые, растрепанные волосы, прилипшая к телу одежда, закатанные до колен штаны, заляпанные грязью босые ноги, дождевой запах прибитой пыли, скатавшейся в горошины, стук и скрип калиток, грохот оброненного ведра, шлепанье о землю «промазанной» воды, — суматоха по всей улице.

Нина в отместку за «мокрую курицу» обдала Витю из таза — сухого места не осталось, и словно ничего особенного не случилось: во взгляде девочки столько веселья, столько желания поиграть, подурачиться, наконец, помириться: «Не сердись, Витя, это ведь шутка!»

Витя шуток не понимает, во что бы то ни стало он должен отплатить тем же, да только не везет. Длинноногая, быстрая Нина увертывается, дразнит, подзадоривает. А Витя горячится и делает промах за промахом. Все-таки не уйдешь, Нина, будешь в Витиных руках! На лету схвачена коса, Нина запрокидывает голову, замирает, и уже приперта к дереву, обкручена крест-накрест веревкой-скакалкой. Витя мчитя с ведром к колонке, но кто-то из мальчишек вовремя освобождает пленницу. Вода шлепается в ствол дерева.

Напрасно старались кумовья да сваты, никогда не примирятся Витя и Нина, не будут они женихом и невестой!

А беготня поутихла, и обессиленный Алека первый выкрикнул:

— Чур, меня не обливать!

— Чур, и меня! Чур, и меня! — раздались отовсюду голоса, а рыжий Лешка заговорил недавно принятым барклаевцами закадированным языком:

— Лямдыры, победыры купадыры на модыры?

— А какадыры водыры? Тыдыры прободыры?
— Водыры во! На вседыры стодыры! Мальдыры уже купадыры.
— А ктодыры пойдыры?
— Да вседыры.
В переводе это означало:
— Ляма, побежали купаться на море?
— А какая вода? Ты пробовал?
— Вода во! На все сто! Мальчишки уже купаются.
— А кто пойдет?
— Да все.

На Барклаевской поветрие: детвора заражена коверканьем слов. Постороннему трудно разобрать, о чем тараторят, но посвященные прекрасно друг друга понимают. Мальчишки хотят походить на иностранцев. Заморская одежда, иноязычные моряков вызывают любопытство и подражание. А негры и арабы собирают толпы зевак, точно тигры или слоны в зверинце.

Поветрие захватывает полгорода, мальчишки тараторят на улице, на базаре, в кино, за обеденным столом, приводя в негодование взрослых, но поделаться ничего нельзя. Коверканье языка — это и своеобразное сохранение тайны, на каждой улице придумывают свои приставки и окончания, иной раз не просто разобратся в хитроумных речениях самим «иностранцам».

— На модыры! Но модыры! — понеслось по улице.

Первого мая скрытно от родителей мальчишки открывали купальный сезон. Вода в море еще холодная, а в прошлом году в середине апреля лежал снег. Но нынешний Первомай выдался на редкость жаркий, и барклаевцы, заметно поредев (многие спасовали), ватагой покатались к морю.

Бухта делит город надвое. На той стороне — лысые мергелевые горы, пыльные цементные заводы, на этой — «чистая половина»: главная улица Серебряковская с магазинами, кинотеатрами, кафе и ресторанами, городской сад, в нем танцплощадка и красивый деревянный летний театр, построенный по преданию губернатором к посещению Новороссийска императрицей. Сразу же за садом — дом самого губернатора с орлом на фронте. Его так и называют: «Дом с орлом». Фронтон здания держат бородатые атланты на могучих плечах, а венчает его бронзовый, широко распростерший крылья орел. Вообще на чистой стороне города много прекрасных зданий, и среди них особенно выделяется облицованный глазурным зеленым и белым кирпичом, с башенками, разноцветными витражами трехэтажный купеческий особняк. Теперь в нем городские учреждения, как и в доме с орлом.

Бухта тоже неотъемлемая и оживленная часть города. По воде снуют пассажирские катера и тудяги-буксиры, которые подчаливают к пристани или выводят из бухты в открытое море неповоротливые океанские корабли. В ожидании разгрузки или погрузки они стоят на якорях и в заливе, и за его чертой, в прибрежных водах — красно-черные, с белыми ба-

шенками капитанских мостиков и полосатыми запрокинутыми трубами, попыхивая дымом.

У причалов и в доках скрипят лебедки, рокочут моторы грузовых тележек, слышится «Майна! Вира!», грохот листового железа, перестук молотков, а на мостках, спущенных с борта корабля, висят маляры. Кистями на длинных палках они подкрашивают обшивку, обновляют надписи.

На пристанях осмоленные бочки, огромные, перетянутые веревками тюки, ящики с нерусскими трафаретными буквами возвышаются горами. К пристани подают товарные вагоны. Целый состав помещается на крыше элеватора, самого крупного на черноморском побережье и, говорят, в Европе. В городе также построена первая в Европе промышленная электростанция, обслуживавшая порт и цементные заводы. Все это Витя уже знал. Пароходные гудки перекликаются с паровозными. Элеватор принимает и отгружает кубанскую пшеницу, прославленную на весь мир. Рядом лесной склад, пропахший смолистой карельской сосной, сплавляемой вниз по Волге до Царицына, потом доставляемый по железной дороге к морю. Штабеля бревен, реек и досок — двадцаток, тридцаток, сороковок — напоминают деревянный город. Лесом загружают трюм и палубу корабля так, что не видно капитанского мостика, из-за досок выглядывает одна труба. Слова «экспорт» и «импорт» в обиходе горожан, как «хлеб» и «соль».

Бухта — это пестрый, шумный, притягательный мир. Мальчишки летом пропадают здесь с утра до вечера, глазеют на корабли и иностранных моряков, купаются, загорают, ловят бычков. Витя забывал о доме и обеде, бродя по пристани, толкаясь среди грузчиков, прогоняемый охранниками, находя нетронутые тоны под самым причалом, извлекая из воды сразу на целый кулан то рыжих в крапинах то черных как уголь, бычков, а то головастых, в шипах и колючках, ершей,хватишь неосторожно — уколёт болеее шприца. Попадались ерши старые, обросшие ракушками, точно лешие. С таким помучаешься, прежде чем выдерешь крючок из пасти, куда вмещается чуть ли не весь кулак. От укулов только одно спасение, простое рыбацкое средство — моча.

Был такой случай, когда за целый день проглотив лишь чаю с хлебом в завтрак, Витя к вечеру, увлеченный рыбной ловлей, так проголодался, что, проходя мимо бетонной площадки в белесинах соли, на которой рыбаки солили хамсу, но давно ее убрали, и найдя тощую заржавевшую рыбешку, съел ее с необычным аппетитом: казалось, прежде ничего вкуснее не ел. Бывало, греки сходят домой, пообедают, вернутся переодетые в чистое, как порядочные люди, а Витя все у моря, в одних линялых трусах, босой, обгоревший, голодный. «А тебя бабушка искала и на кладбище ходила», — сообщат ему, как приговор, и Витя тогда чувствует себя пропавшим каторжанином. Почему-то чередой тянулись за ним грехи, всегда перед глазами маячила неубывающая «куча» проказ. Редко спасал его от наказания длинный до земли, сложенный вдвое кулан бычков, ершей, бара-

бульки, ставриды и окуней, наловленных с мола, самого уловистого места. Там всегда виднелись темные фигурки заядлых рыбаков, свесивших ноги с «бетончиков».

Бухта отгорожена от открытого моря молами, которые вытянулись навстречу друг другу с противоположных берегов, как руки для пожатия. Но в пожатии они никогда не сплетутся. Между молами — проход для кораблей, а в одной «руке», как факел, сторожевой маяк. Ночью он прерывисто мигает, посылает в открытое море световые сигналы. Бухта бодрствует и ночью, когда город уже спит, вся в огнях, как в праздничной иллюминации, и на спокойной воде, колыхаемой лишь волнами от катеров и буксиров, переливаются длинные световые дорожки.

Два излюбленных места в бухте у мальчишек — «бетончики» и «склизкие». «Бетончиками» обрывалась пассажирская пристань, далее, до самого холодильника, громоздкого серого здания, половина которого стояла в воде на сваях, шел отлогий берег. Он был заставлен лодками, баркасами, шхунами — настоящее корабельное царство. Одни в латках белых струганных досок на черной просмоленной обшивке, другие уже законопаченные, свежесмоленные, третьи только что вытащенные из моря, обросшие ракушками и травой, с торчащим ржавым гребным винтом, а то и совсем брошенные, с провалами в боках, загаженные, с бьющим в нос запахом застоявшейся воды в трюмах. Галька здесь вся в стружках, пакле и смоле. Смола налипает на голые ступни — не отодрать, не отмыть. До самой речушки, вытекающей из плавней, тянется этот лагунный берег. Дно морское после пяти-семи метров гальки переходит в песок. На глубине водится тупоносая, красно-белая барабулька, очень вкусная рыбешка.

В сторону пассажирской пристани «бетончики» сменяются «склизкими», покато уходящими в воду и заросшими зеленой пузырчатой травой, которая на границе с сушей как бы подернута скользкой, словно мыльная пена, ржавчиной. Только цепляясь за выбоины в бетоне, можно благополучно спуститься к воде, а не то поскользнешься, полетишь «со всех четырех» и понесешься, как с ледяной горки, хорошо если не расцарапаешь локти и колена о ракушки. За молом — городские пляжи, купальни, водолечебница, вода прозрачная, дно видно на большую глубину, там уже начинается открытое море, но идти туда далеко, и обычно мальчишки в жаркую летнюю пору предпочитали «бетончики» и «склизкие». Сюда они пришли и теперь.

Гречанка Алла сняла туфли, окунула ногу до щиколотки и тут же выдернула из воды, ахнув.

— Холодная! Купаться еще рано. Я не буду.

— Боишься, голос сядет? — подначила Нина. Она тоже окунула руку, растопырила пальцы, поводила взад-вперед, бурля воду, и поежилась: — Вправду холодная!

Но это лишь прибавило Вите смелости, захотелось блеснуть храбростью. Он решительно сбросил с себя одежду и в синих трусах пошел по бетонным плитам к воде.

— Не смей! Заболеешь! — покровительственно прикрикнула соседка Альбина, считая себя вправе покомандовать; не с тех ли самых пор, как влепила Вите в лоб голыш? Разноцветные глаза смотрят сердито и выжидательно. Тут же пригрозила: — Только прыгни, все расскажу бабушке!

Витя замер. Пятки на теплом бетоне, а пальцы подогнуты, как птичьи когти, и касаются холодной морской травы. Небольшой прибой то обнажает, то заливаает ее, и трава густой зеленой бахромой колыхается, как под ветром.

— Ага, слабо! Слабо! — дразнит Алека, сидя на куче кремней, но сам не раздевается, постукивает дружка о дружку двумя гладкими голышами, потом бросает один за другим в воду рядом с Витей так, чтобы обдать его брызгами. Греки хоть и слывут хулиганами, но не очень прытки на всякие почины, пуще огня боятся отца, от одного его окрика вздрагивают и бледнеют.

— Слабо! Сдрейфил! Ни в жисть не прыгнет. Могу побожиться! — обращается Алека уже к ребятам, но побожиться не успевает.

Витя уже в море, окунулся точно в кипятки — так обожгла вода. Грудь стянуло — ни вдохнуть, ни охнуть, а мошонка, казалось, обледенела. Завертелся, зашлепал по воде руками и ногами, согреваясь. Нырнул, открыл глаза. В ушах звон, перестук серебряных молоточков: то ли волны, набегая, волочат по дну гальку, то ли где-то далеко водолазы чинят корабль. Зелено, мутновато, видно всего на метр-два, дальше пугающая темнота, будто заглянул в пропасть.

— Ну как? — кричит с берега Алека, когда Витя вынырнул и жадно глотнул воздуха.

— Мирowo! Прыгай! — А сам спешит к берегу, и зуб на зуб не попадает, и кожа, как только вылез из воды (к нему потянулись помочь сразу несколько рук), делается гусяной. Он бежит за баркас, согнувшись вопросительным знаком. Трусы прилипли к телу, с них по ногам ручьями сбегает вода. Витя прыгает на одной ноге, наклонив голову и сверля мизинцем в закупоренном ухе, посиневший, с каплями воды и слюны на подбородке. Осторожно снимает трусы, боясь оставить на них налипший на ступни песок, и выжимает так, чтобы обмыть ноги. Отжатыми трусами вытирает лицо, тело, еще раз скручивает жгутом, стряхивает, натягивает на себя, и возвращается к ребятам довольный. Он первый открыл купальный сезон, больше смельчаков не нашлось, и Витя теперь герой дня.

Нина насухо обтерла его лицо духовитым батистовым платочком, Альбина обещала молчать и угостила конфетой, а надменная Алла взглянула так, словно открыла для себя что-то достойное внимания.

С некоторых пор Витя стал замечать на себе пристальные взгляды соседки Альбины: скосит свои разномастные глаза так, будто смотрит не на Витю, а куда-то в сторону, но он чувствует: Альбину в нем что-то заинте-

ресовало. Вот и теперь нет-нет и стрельнет в него глазами, то голубым, то зеленым. Потом ни с того ни с сего засмеется:

— Какой ты забавный!

Нина ревнует Альбину, но молчит. А вечером, о чем Витя узнал много времени спустя, между девочками произошла ссора. Началась она с того, что Альбина попросила Нину подать ей поувесистей голыш. Она сидела под забором на лавке и колола грецкие орехи.

— Что я тебе, прислуга? — фыркнула Нина. — Бери сама!

— А тебе тяжело, да?

— Кому другому подала бы, а тебе не хочу.

— Почему?

— Потому что оканчивается на «у»! Задавака ты большая! — Нина высунула язык, дразня. — Задавака! Задавака!

— Я задавака? Ты сама задавака! И незачем тебе ходить на нашу улицу!

— Я не к тебе хожу!

— К Вите, да? Так он на тебя смотреть не хочет!

— Это на тебя он не хочет смотреть, хоть ты к нему и липнешь как банный лист. Кому ты нужна разноглазая!

— Вот я тебе сейчас как дам голышом, так совсем будешь без глаз!

— Попробуй! Я тебе скорее дам!

Разгневанная Альбина и впрямь замахнулась голышом, но Нина схватила ее за руку, и голыш упал на землю, ушиб ногу. Треснула оплеуха. Наверняка началась бы потасовка, если бы на улицу не выглянула Альбина мама.

— Как вам не стыдно! Такие уже большие, а деретесь! Альбина, а ну марш домой! Ты, Нина, тоже хороша! Вот посмотришь — пожалуюсь твоим родителям!

— Пусть больше не ходит на нашу улицу, — пронюнила Альбина сквозь слезы

— Буду я у тебя спрашивать. Ходила и буду ходить! — Нина ушла с гордо поднятой головой.

...На Серебряковской, возвращаясь с моря, Витя лицом к лицу столкнулся с красивой черноглазой тетей, сестрой отца. Он и прежде с ней встречался, всегда провожаемый пристальным взглядом, но не здоровался, почему-то стеснялся, старался поскорее убраться с глаз долой. Тетя не навязывалась в родственники, видя такое к себе отношение, но сегодня взяла Витю за руку, поздоровалась первая:

— Пойдем, пойдем к нам! Как же так! Праздник. Твой отец у нас, будет рад сыну.

Витя не успел воспротивиться, как очутился в чужом доме.

За столом гостей немного, все свои, не то, что у Ляминых — места свободного нет. Отец сердитый, шумно разделявает на тарелке отбивную, держа вилку в кулаке торчмя.

— Ходил, смотрел свой дом. Детские ясли в нем устроили, а у меня купчая. Судиться буду. Вот наследник, — он кивает на Витю. — Ему отсужу!

Но Вите дом не нужен, пусть там останутся детские ясли. Ему неловко за столом, боится опрокинуть чашку с чаем, накапать варенье на скатерть, неловко и от того, что он в центре внимания. Вроде свой и не свой, вроде это отец и не отец, тетя и не тетя, пожалуй, больше чужие, чем родные.

На улице он облегченно вздыхает, словно, наконец, освободился от неприятной обязанности, и, прижимая к груди обеими руками щедрые подарки, спешит домой.

6

— Ляма! Ляма!

— Ну чего?

— К вам родственник приехал.

Рыжий Лешка на шелковице раскачивает ветки и перевисается на них во двор Ляминых.

— Иди, иди. Верно говорю! Только кесик за это, лады?

Что-то волнует и тревожит перед встречей с родственником, особенно одногодком.

В полумраке веранды на кушетке не то мальчик, не то девочка — сразу не разберешь. Витя немного разочарован: наверное, девочка.

— Познакомься, Женя, — сказала бабушка.

«Так и есть девочка», — совсем разочаровался Витя и нехотя протянул руку. Навстречу поднялся все-таки мальчик, худощавый, смуглый, в длинной коричневой косоворотке навывпуск, которую можно было принять и за платье.

«Чудной», — подумал Витя, пожимая руку, которую мальчик подал вяло, повернувшись как-то боком: смущался. По одежде, по разговору — не здешний, не черноморский, говорил «зараз», а не «сейчас», «табе», а не «тебе», носовой платок называл «утиркой», а палку «костылем».

— А это как у вас называется? — спросил Витя во дворе, показывая на мелкоплодовый абрикос в цвету, лакомый для пчел, которые роились вокруг.

— Жердёла.

— А у нас жерделя!

Вначале они испытывали обоюдную неловкость, паиньками присматриваясь и принюхиваясь друг к другу, но Витя постепенно разошелся: не терпелось похвастаться перед станичным мальчиком, показать свои обширные владения, все, на что он был горазд.

— Хочешь, залезем на крышу? — предложил Витя.

— Зачем?

— Так. Море посмотрим. Оттуда видно Кабардинку.

— Что за Кабардинка?

— Аул в ущелье. Раньше там черкесы, кабардинцы жили. Слыхал про них песню? Нет? Послушай:

Несмотря на рваные ботинки,
Мы станцуем танец кабардинки!
Несмотря на рваные галоши,
Мы станцуем танец вам хороший!

Витя встал на подогнутые носки, левую руку выбросил наотлет, а правую приложил к плечу и просеменил в одну сторону, потом в другую, меняя положение рук и резко поворачивая головой.

— Так это лезгинка, — возразил Женья.

— Лезгинка, кабардинка, все одно. Ну, так что — лезем на крышу?

Он принес из сарая лестницу, приставил к карнизу. Они взобрались наверх, ступая не по железным листам, а по ребрам, чтобы крыша не грохотала, но бабушка все равно услышала, выбежала из дому в негодовании.

— Это еще что за мода? Недавно покрасили, краска как следует не обсохла. Слезьте сейчас же!

Делать нечего — балансируя, напоминая канатоходцев, вернулись по железным ребрам к лестнице.

— Ничего, — сказал Витя, спускаясь на землю. — Взберемся на шелковицу. Оттуда тоже видно.

— И не подумай! — пригрозила бабушка — Мало того, что марганцовкой залил рубашку, хоть выбрасывай, хочешь еще об ветки изорвать! Это что за наказание! Ничего на паршивца не настачишься!

Бабушка часто ругала Витю, как цыган высеченного без вины цыганенка. «За что, тато?» — спросил цыганенок. «Чтоб не ездил верхом на жеребенке». — «Так его же еще нет». — «Когда будет!»

Бабушка, как считал Витя, сдерживала его благородные порывы, ограничивала свободу действий, да еще жаловалась соседям и знакомым, что внук «связывает ее по рукам и ногам» и — что больше всего было обидно — не понимала, что, ругая, унижает перед ребятами.

— Пойдем на улицу! — потянул Витя нового друга, видя, что во дворе от бабушкиных глаз не укрыться, опять в который раз услышишь: «Шагу не сделает, чтобы не напроказничать!»

На улице «мелюзга» играла в классы и «Гуси, гуси, га, га, га», но вскоре появились мальчишки постарше, косились на новичка, расспрашивали, кто и откуда, отходили внешне удовлетворенные, но Витя знал: драка неизбежна, как крещение моряками юнги на экваторе.

— А что ты умеешь? — пытали Женью, и больше всех старался Лешка рыжий. — Выпьешь одним духом пять стаканов воды?

— Не знаю. Не пробовал.

Витя однажды попробовал, следуя примеру Лешки. Сразу же взял озноб, а вечером, на заходе солнца, уже била лихорадка.

— Сам пей! — вмешался он, озлясь.

— А на руках можешь ходить? — приступил к допросу уже Ахмет.

— Могу.

— Покажи!

Женя легко сделал стойку и, несмотря на то что длинная рубашка спала на плечи и закрыла голову, путалась между рук, он прошел от акации до акации метров пять.

— А в лапту играешь?

— Играю.

— На, ударь!

Женя и тут отличился. Он так высоко зашвырнул резиновый мячик, такую поставил «свечу», что у грека Алеки, задравшего голову, свалилась кепка. Он посопел, посопел и презрительно фыркнул:

— Подумаешь, задавака!

— Кишка у тебя тонка, Алека-калека, так ударить.

— Подумаешь! Вот я ему дам по соплям, чтоб не задавался.

Братья-греки были драчливы, нужно кого-нибудь проучить — натравляли Алеку. Один паренек из Станички увлекся барклаевской девушкой и проводил с танцев домой. Паренька на улице не тронули, но на танцплощадке подослали к нему Алеку. Нудно, въедливо приставал он к пареньку, пока не получил затрещину. Тогда вмешались барклаевские кавалеры, обступили паренька с обиженными лицами.

— Ты чиво трогает маленького? Нет, ты скажи, чиво трогает маленького?

О девушке даже не заикнулись, но дали понять станичному пареньку, что дорога на Барклаевскую улицу ему заказана.

Мальчишеские споры рассуживал дядя Костя, всегда причесанный, прилизанный, надушенный, очень вежливый и во всем любивший порядок. Братья-греки кинулись было на Женю с кулаками, но дядя Костя тут же вмешался, схватил на лету занесенный кулак.

— Куда претесь? Ну куда претесь? Ух, греки-банабаки, трапезундские собаки! Рази можно драться на улице? — И повернулся к Жене: — Извините, пожалуйста. Что с них возьмешь, бескультурный народ! Вы, вы и вы, — он показал пальцем на Алеку, Василаду и Женю, — пойдемте со мной!

Они пролезли в дыру деревянной кладбищенской ограды, пошли между заброшенных, с провалами, могил, покосившихся орнаментированных каменных крестов, ангелов с отбитыми руками и грязными затеками в складках одежды, продирались сквозь заросли шиповника, сирени и жасмина. Только в одном месте могила была не тронута — новый склеп с железными решетчатыми дверями. Посреди него на невысоком постаменте тускло серебрился цинковый гроб на изогнутых коротких ножках, украшенный витками по граням. На крышке лежал медный венок и букет алых тюльпанов. Всегда тут были живые цветы, а в полуовальной нише блестела звезда. Днем, в хорошую погоду, у входа в склеп на скамеечке

сидела женщина с книгой в руке, покрытая черной кружевной шалью. Она часами читала, опустив глаза, с густой синевой во впалинах, не обращая внимания на прохожих, и была как бы безмолвным хранителем этого строгого и холодного склепа.

Дядя Костя и мальчишки проследовали мимо на цыпочках, с любопытством, страхом и уважением поглядывая на женщину в черном. Кто она, никто толком не знал, но вроде бы жена погибшего в Гражданскую войну революционера.

На кладбище шумела дубрава с солнечными полянами, усеянными прошлогодними желудями, будто отстрелянными гильзами. Пахло чабрецом и мятой. Из-под ног выстреливали кузнечики, жужжали шмели, звенели цикады и где-то неподалеку гадала с перерывами кукушки.

Алека поймал севшую ему на плечо саранчу, вставил ей в хвост соломинку и выпустил. Саранча низко полетела между кустов под тяжестью длинной, обвисающей соломинки. Тут же Алека что-то прихлопнул кепкой, просунул ладонь, пошарил в траве и вытащил кузнечика с растопыренными сизыми крылышками. Кузнечик порывался вырваться из рук, отталкивался длинными задними лапками и выпустил из челюстей, похожих на рыцарское забрало, темно-зеленую жидкость. Алека, смеясь, оторвал кузнечнику сизые крылья и посадил на ладонь. Кузнечик медленно пополз по ладони, напоминая общипанного цыпленка.

— Живодер ты, Алека! — Дядя Костя осуждающе покачал головой. — Нет никакого уважения перед прахом революционера!

Они остановились на поляне, метрах в пятидесяти от склепа. Дядя Костя подтолкнул Алеку и Женю друг к другу, как петухов, а сам отошел в сторону.

— Давайте!

Женя был на голову выше грека, держался спокойно, с достоинством, только побледнел. Самоуверенный, нахальный Алека занес кулак, целясь в лицо, но не бил, примерялся, то отступал, то подступал. Дядя Костя сразу смекнул, что один на один ему не устоять.

— Извините, пожалуйста, — обратился он к Жене. — А если двое против одного? Не возражаете?

Женя лишь скосил глаз на второго противника, опасаясь подвоха — нападения сзади или подножки, на что греки были горазды.

Дядя Костя подмигнул Васиlake, самому младшему из братьев, маленькому и юркому:

— Налетай!

В воздухе замелькали кулаки, Алека засопел, Васиlake побрякивал. Оба пытались достать до лица Жени, но удары сыпались в грудь, в бок, в спину. Женя едва увертывался, растерянный, недоумевающий, наконец, изловчился и смазал Алеке по затылку. Алека ткнулся носом в траву. Полежал, приподнялся на локтях, пощупал, потер нос и вдруг сзади прыгнул на Женю, обхватил за шею и повис. Женя зашатался и упал.

— Стоп! Лежачего не бить! — по-судейски строго приказал дядя Костя и от удовольствия провел ладонью по прическе, чуть касаясь набриолиненных, уложенных волнами каштановых волос. Греки отступили, но едва Женя поднялся с земли, как снова бросились на него с воинственными криками. Перевес еще не определился, Женя держался стойко, и дядя Костя вертелся вокруг бойцов, подбадривая то одну, то другую сторону, приседал, чтобы лучше разглядеть драку и не допустить нарушения правил: удара в живот или пах, восхищенно прищелкивал языком и неожиданно остолбенел. На поляну, словно привидение, вышла женщина в черном и скорбно смотрела на драчунов большими темными глазами с глубокой синевой во впадинах.

— Как вам не стыдно! — Она осуждающе смотрела на Костю. — Натравливаете детей вы, взрослый человек. В ваши годы мои сверстники отдавали жизнь за революцию. А вы?.. нашли себе занятие! Чему вы детей учите?

Прибежал Ахмет. Еще издали закричал:

— Вы кого бьете? Племянника дяди Тимы? Партизана?

С угрозой подступил к Алеке:

— Я тому голову сверну, кто хоть пальцем тронет Женю!

* * *

— Нету у меня больше сил с ним совладать. Ты хоть проучи, может, тебя послушает, — жаловалась бабушка дяде Тиме, безвольно опуская руки и страдальчески морщась. Действительно, за день куча проказ выросла с гору — выпил марганцовки, искупался в море, лазил на крышу, водился с хулиганами-греками. Никакие смягчающие обстоятельства, даже праздник, не могли оправдать Витю. Заодно наказывался и Женя, хотя ему без того досталось на кладбище. Оба с повинными головами стояли перед дядей Тимой, который ходил по комнате, размахивал ремнем и пространно рассуждал о долге и порядочности, увы, часто забываемых некоторыми молодыми людьми.

— Подходи ты первый! — Дядя Тима сложил ремень вдвое и махнул им в сторону Жени. Тот покорно расстегнул штаны, опустил до колен и сунул голову между ног своего дяди. Засвистел ремень, полосуюя ягодицы, но Женя не проронил ни звука.

Витя ожидал своей очереди ни жив ни мертв. Вот дядя Тима отпустил племянника, и тот, отойдя, угрюмо застегивал пуговицы на штанах. Заплетающимися шагами Витя сделал шаг вперед, не сводя с ремня глаз, остановился, захныкал и взмолился:

— Дядечка Тима, я больше не буду! Дядечка Тима, я больше не буду! Греки первые напали...

И дядя Тима лишь для порядка полосанул раз, другой по белому Витиному заду, приговаривая:

— Сколько раз тебя предупреждать: «Не водись с хулиганами! Не водись! Не водись!»

Витю наказывал он редко, да и то не строго. На ходу подтягивая штаны, сгорая от стыда, мальчик убежал в кладовую, узкую комнатуху с одним окном, уже давно разделявшую с ним горькие минуты жизни, и сидел там скучный, одинокий.

А угасающее солнце рисовало на бугристой стене кладовой косые оконные переплеты. Жужжала муха, билась о стекло, но Витя не мог ей помочь: окно было без форточки и вставлено наглухо. Он тоже чувствовал себя пленником, жужжание мухи нагоняло тоску, в нем слышалось что-то бесконечно унылое, как осеннее завывание ветра, когда знаешь, что все самое светлое уже позади, а впереди только дождь, слякоть, грусть. Витя легко предавался унынию, но переживал, мучился словно кто-то другой, похожий на него, а Витя как бы наблюдал за ним со стороны и рассуждал:

«Ничего, Витя, потерпи. Когда ты станешь большой и известный всему миру путешественник или ученый, твои обидчики о многом пожалеют, раскаяться и будут молить крестом богом: „Прости нас, не заставляй терзаться, не спать ночей! Прости!“ И ты тогда великодушно простишь. Или нет. Молча отвернешься и уйдешь. Пусть казнятся и не спят по ночам!»

Витя изловил муху, но не убил, а слушал ее жужжание в кулаке, как морскую раковину, и думал про Женю:

«Не огорчайся, друг, что так неловко получилось. Подожди немного, я покажу тебе такие места, что просто ахнешь: мыс Хако, Абрау-Дюрсо, Широую балку, рощу грецкого ореха, виноградники, открытое море, научу нырять до самого дна, плавать „кролем“ и „брассом“. А игрушки бери, какие хочешь, мне ничего для тебя не жалко. А еще, Женя, знаешь...»

— Ничего ты не знаешь! Женя лучше всех мальчишек на улице. Да!

Удивленный Витя подошел к окну и взглянул сверху вниз, прижимаясь носом к стеклу. На завалинке сидели Нина и Алла. Знали бы они, как близко от них Витя и как страдает!

— Отчего ты такая влюбчивая, Нина? — Алла насмешливо поглядела на подругу. — Словом не перемолвились и видела всего-то раз... Смешно. Любовь с первого взгляда, да?

— Глупости! Просто хороший мальчик, мне нравится.

— А как же Витя?

— При чем здесь Витя?

— Нет, посмотрите на нее, какая наивность! Ой! Ой!

— Что такое?

— Натерла новыми туфлями пятку. Пойду переобуюсь. До вечера!

Витю кольнуло острое, до сих пор незнакомое чувство. Что-то похожее было в малолетстве, когда однажды в наказание за проступок его не взяли в кино, оставили дома одного. От горькой обиды он проревел весь вечер. И теперь словно бы поступили с ним несправедливо, непорядочно, и этим оскорбили до глубины души. Оскорбила Нина. Она сидела под окном, смотрела вслед подруге, подперев ладонью щеку. Светло-русые косы

падали ей на плечи. Витя только сейчас заметил, какие они красивые, какие длинные ресницы выглядывали из-под лба, какие тонкие длинные пальцы на руках, но от этого открытия стало еще тяжелее, хотелось плакать. На Женю он не обиделся, обидно было за Нину, которая так легко изменила старой дружбе. Она, конечно, совсем от Вити не отрекалась, но все равно сразу стала чужая. Ну и пусть! Витя и это стерпит. Так же, как остальные его обидчики, Нина когда-нибудь пожалеет о своих легкомысленных словах!

7

Стемнело. На небе высыпали низкие крупные звезды. Хозяева проводили гостей, по обыкновению одарив каждого чем-нибудь вкусным, большей частью пирогами, убралась и улеглась. Стихло. Лишь изредка лениво взбредет собака или прокудахнет чем-то встревоженная курица на насесте.

На затененной стороне Аллиного дома мальчишки и девчонки облюбовали парадное с наглухо закрытыми дверями (вход в дом был со двора) и сбились в тесный кружок. Вполголоса, с оглядкой на кладбище, передаются страшные истории про домовых, леших, покойников, и все теснее, теснее кружок, все чаще от страха перехватывает дыхание, боязно обернуться, будто за спиной кто-то стоит и вот-вот схватит мохнатыми руками.

— А кто смелый нарвать букет жасмина на кладбище? — спрашивает Алла, жутковато посмеиваясь, прямо-таки колдунья: волосы распущены до плеч, глаза огромные, посверкивают в темноте притушенными зловещими огнями.

Наступает гробовая тишина. Все оборачиваются к кладбищу, там, среди кустов, высвеченных лунным светом, белеет не то памятник, не то привидение. По спинам ребят пробегают мурашки, кто-то выбивает короткую дробь зубами.

— А ты сама пойдешь, не побоишься? — спрашивает Нина, храбрясь.

— Пойду.

— Не обманывай!

— Я пойду! — неожиданно смело заявляет Ахмет. — Только что мне за это будет?

— Поцелуй!

Алла хохочет, будто ведьма на шабаше. Смелость Ахмета кажется невероятной, словно у него тоже нечисто на душе.

— Ой, что там такое! — вскрикивает, бледнея, Альбина.

Все оглядываются. По краю кладбища, точно в воздухе, плывет белая длинная фигура со свечой.

Детвора, толкаясь, налетая друг на друга, не помня себя от страха, разбегается кто куда. Только отчаянный Ахмет остается на месте, верит и не верит привидению. Потом нерешительно встает, делает шаг навстречу.

— Гы! Гы! — подбадривает он себя. Хочется, очень хочется удостовериться, привидение это или просто кто-то дурачится. Сделает шаг-два, гогтнет и остановится, выжидая, и сердце в пятки уходит.

А того, кто со свечой и в длинной ночной рубашке, разбирает смех, но не может сдержаться при виде растерянного, подавленного, но толкаемого вперед любопытством Ахмета, и громко прыскает.

— Алешка-рыжий? Ты? Ну, подожди же, чумазый, получишь за такие штучки!

Но Алешка, дунув на свечу и подобрав выше колен ночную сестрину рубашку, улепetyивает, только пятки сверкают. Ближе, ближе крики преследующих ребят, да он юрк в первую попавшуюся калитку. Ватага пронесится мимо.

Алешка давится от смеха, наблюдая этот переполох. Он мастер «отчубучить» что-нибудь, заставить всю улицу заговорить о себе, и всегда напроказничает тайком, без посвященных: был скрытен в своих намерениях, как полководец.

Поздно. Улица пустеет. Из небарклаевцев осталась одна Нина. Все живут рядом, а ей идти целый квартал мимо кладбища. Она весь вечер жалась к Вите, но он отодвигался, сторонился. Нина не понимала: вроде помирились, отчего же снова дуется Витя?

— Знали бы, как страшно идти домой. Кто проводит? — Нина обращается ко всем мальчишкам, но смотрит на одного Витю и, боясь, что вызовется кто-нибудь другой, берет его за руку: — Проводи, а?

По улице бродила
Большая крокодила,
Она, она зеленая была!

Это развязно, корча рожи, пропели греки и направились к своим воротам. От шатровой акации, под которой уединились Ахмет и Алла, доносились шепот и похихикивание. Альбина и Женя, по молчаливому обоюдному согласию, побрели на противоположную сторону улицы, к своим домам.

— Ну, пошли, только побыстрей! — говорит Витя, и Нина едва успевает за ним. Они идут мимо кладбища, поглядывая на него со страхом, и Витя невольно думает о том, как один будет возвращаться домой, и в голову лезет разная чертовщина. Прошлой зимой в пустом доме (родные ушли в гости) он читал книгу про Вия и не мог пошевелиться, оглянуться, посмотреть в окно, сидел на кухне, как припаянный к табуретке, и ждал, ждал, что вот сейчас кикиморы, лешие, ведьмы зашевелиятся на рисунках, повскакивают со страниц и устроят в комнате шабаш. То ли близость старого кладбища, о котором ходили страшные легенды, то ли книга, подобная «Вию», то ли просто детская впечатлительность доводили Витю до такого состояния, что он не мог ночью один оставаться дома, пугался темноты двора, за чем-либо посылаемый в сарай, спал до сих пор вместе с ба-

бушкой, да и днем в каком-нибудь глухом месте чудились за спиной черти-соглядатаи.

Нинин дом окнами смотрел на улицу. Все они поблескивали темными стеклами, только в глубине двора, во флигеле светился огонь, хозяйка мыла посуду. Девочка остановилась у калитки, взялась за щеколду, собираясь прощаться, и у Вити снова шевельнулась ревность: видно, Нине он уже не интересен, проводил домой, и ладно.

— Ну, прощай, — говорит Витя скучно.

— Ты на меня больше не сердись?

Нина задерживает руку на щеколде, медлит.

— Теперь все равно.

— Почему же?

— А, не хочу говорить.

— Почему же? Почему же? Скажи. А то я всю ночь не буду спать, думать.

— Тебе нравится Женя. Пожалуйста, дружи с ним.

— Ой, что ты выдумал, глупый. Это Алла наябедничала? Ну подожди же, принцесса! Я про нее такое расскажу, что стыдно будет на улицу показаться... Витя, не смотри волком. Хочешь... хочешь, я тебя поцелую?

Нина быстро наклоняется к Вите (он и отстраниться не успевает), целует и, не оглядываясь, убегает за калитку. Леших, ведьм, кикимор словно ветром выдуло из головы. Витя возвращается домой бодрый, повеселевший («Ну и чудак, приревновал к Жене, а он ушел домой с Альбиной»). Чем ближе кладбище, тем меньше храбрости, шаг замедляется, сердце замирает. Витя старается не смотреть в ту сторону, но не выдерживает, скашивает глаз. За оградой в кустах, чудится, кто-то крадется, трещат ветки, и вдруг ночную тишину пререзывает крик. Витя срывается со всех ног и бежит без оглядки, вот-вот сердце выскочит из груди. Возле ворот он налетает на Женю и отскакивает, как ужаленный.

— Кто за тобой гнался? — недоумевает Женя.

Витя облегченно вздыхает. Фу, немного отлегло...

— А мы с Альбиной шли за вами до самого угла, потом видим, вы разговариваете у калитки, и вернулись назад.

— Ты ничего не слышал?

— Где?

— А там, на кладбище.

— Слышал, филин кричал... Пойдем спать, нам вместе постелили на веранде.

Лунная стынь на мраморе могил, на кустах жасмина и сирени, на цинковых крышах домов. От моря тянет прохладой. Ковш Медведицы опрокидывается к горизонту. Вспыхивает и бесследно тает голубой след метеорита. Так и день для Витиной бабушки, отходившей ко сну со вздохом: «Ох, ох, день да ночь — сутки прочь, а к смерти ближе...» Но мальчику он кажется такой пестрый, такой длинный, будто целая жизнь.

От новых знакомств и впечатлений, игр, драк, беготни, праздничного стола глаза слипаются, ноги гудят и тело словно обрякло. Витя не помнит, как добрался до кушетки, как улегся. Сквозь дрему слышит голоса родных, чувствует проворные материнские руки. Они расстегивают, снимают костюм, сбрасывают на пол сандалии, опускают ноги в таз с теплой водой, мылят, трут мочалкой между пальцев и пятки. Щекотно. От мыла саднят порезы и ссадины. Витя не может усидеть на кушетке, что-то бормочет, валится то на один, то на другой бок. Но вот ловкие руки окутывают ноги полотенцем, насухо вытирают и укладывают Витю в постель. Голова проваливается в пуховую подушку, и сон сразу же уносит мальчика в неведомое, в котором его тайные помыслы чудно переплетаются с пережитым за день.

Иногда одни и те же сны, как длинный приключенческий роман, растягиваются на неделю и две, только герои каждую ночь являются в новой обстановке. Перепоасанные пулеметными лентами, с гранатами на поясах, Витя и Ахмет, красно-зеленые, в бараньих папах, перехваченных наискось красными лентами, отбиваются от беляков. Беляки сотнями падают замертво, но насаждают и насаждают несметной силой. Витя нажимает на гашетки «максима» — выстрелов нет, лента пуста. Шарит по поясу — гранаты давно израсходованы, и ужас холодной рукой подбирается к сердцу. Ахмет рядом уткнулся головой в землю с простреленной грудью.

— А с этим я рассчитаюсь сам! — слышит Витя чей-то знакомый голос. — Взять живым и чтоб ни одного волоска с головы... В подвал его!

Витю хватают под мышки и куда-то уволакивают, но он успевает заметить самодовольного Алеку в казачьей белой папаше, в башлыке и бурке, с газырями. Злорадствуя, Алека машет нагайкой:

— Я с ним рассчитаюсь сам!

В сыром подвале, не то кладбищенском склепе, неярко горит керосиновая лампа. Посредине на длинной лавке лицом вниз лежит привязанная веревками Нина. Платье разодрано, спина в полосатых кровоподтеках. Два угрюмых верзилы-казака напеременки взмахивают шомполами. Нина стонет, поднимает на Витю заплаканные глаза:

— Не хочешь мириться... не надо. Я умру так.

Юлою вертится возле лавки рыжий Лешка:

— Дашь кесик, отвяжу!

— Нету у меня кесика, — стонет Нина, и дюжие казаки сильнее прежнего лупят шомполами.

— Хочешь Нину спасти, дай кусок пирога! — подскакивает Лешка к Вите. А Нина слабым голосом просит:

— Не давай ему ничего, Витя. Все равно казаки меня засекут. Я так умру.

— Вот видишь, к чему приводит красный цвет!

Это надменная Алла. Она перебирает в руках букет и примеряет к груди то красную розу, то белую лилию, то желтый колокольчик: что лучше подойдет?

— Не надо было влюбляться такой молоденькой. А я себе возьму желтый цвет. Измену.

Алла прикалывает к груди колокольчик и хохочет.

В белом длинном одеянии, как привидение, Альбина поднимает к небу руки:

— Отрекись, отрекись от красного цвета!

— Дай кусок пирога! Дай кусок пирога! — клянчит Лешка, приставая к Вите.

— Сердце красавицы склонно к измене, склонно к измене и перемене, как-ак ветер мая! — поет и хохочет Алла.

Витя бросается к верзилам-казакам, расталкивает их, обнимает Нину, но в его плечи впиваются железные руки.

— Живьем его! Живьем!

Алека размахивает витой нагайкой, велит раздеть Витю догола и положить рядом с Ниной.

— Начинайте! Да покрепче, как у нас в Греции!

Витя замечает в толпе бледного Ахмета. Он как будто умер и вновь воскрес. За поясом обнаженная сабля. Взгляд мрачный. Но вот он посмотрел на Витю, подмигнул, и Витя сразу понял, что спасен. Ахмет взмахивает саблей, и подвал пустеет. Еще раз взмахивает, и с Нины спадают веревки. Нина встает, берет Витю за руку, и они выбегают по ступенькам из подвала на свет, к солнцу.

Плещет синее море, кричат чайки.

— Давай мириться?

— Давай!

— Витя, Витя, что с тобой?

Мальчик приоткрывает глаза, над ним склонилась встревоженная мать, мягкой ладонью дотрагивается до лба — нет ли жара, гладит по волосам.

— Во сне стонешь, будто тебя кто-то душит.

— Это сердце зашлось, — слышит Витя голос бабушки. — Переверни его на правый бок.

Витю переворачивают, и он тотчас засыпает, видит яркое голубое небо, толпы народа, красные флаги...

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

1

Сколько помнил Витя, мама в семье жила наездами, а то все где-то по станицам с отчимом, который начал свою торговую карьеру в приморском городе, в киоске газированных вод, а потом перешел в систему «Центроспирта», как он сам говорил.

Одно лето Витя провел в большой станице Ленинградской, бывшей Уманской, в доме с линолеумовыми полами, лепными потолками и просторной застекленной верандой во двор. По протянутой в траве от ворот до собачьей конуры проволоке бегал на цепи огромный черный пес Полкан. Сарай и подвал под всем домом были забиты ящиками с водкой, настойками и ликерами в керамических графинчиках: шато-и-кем, шоколадный, клубничный, апельсиновый — каких только названий не было! Ящики грудились и во дворе. При доме был магазин с вывеской «Центроспирт». Торговля шла бойко, мало дня, и ночью стучали в дверь:

— Пал Иваныч, выручи!

На этот случай у двери с врезанным окошечком вечером ставился ящик водки и к утру обычно опорочивался.

Магазин «Центроспирта» снабжал товаром глубинки, во двор часто заезжали подводы, и в доме ночевали чужие люди.

Отец отчима был из зажиточных казаков донской станицы Мечетинской, владел вальцовою мельницей. Раскулачивания он не перенес, слег в тяжелом недуге и вскоре умер. Все пятеро осиротевших сыновей подались на Кубань, почему-то тщательно скрывая свое казачье происхождение и работая неприметными счетоводами и продавцами. Лишь один из них, самый старший, служил на высокой командной должности в Красной Армии, в Гражданскую войну участвовал в знаменитом рейде конармии Буденного на Варшаву, воевал с басмачами в Средней Азии и до сих пор оставался там. Младшие братья о нем вспоминали редко, да и сам старший не поддерживал с ними связь. В чем тут было дело, Витя плохо понимал. Отчима он никак не решался назвать «папой», называл «дядя Паша», против чего тот не возражал, вообще был покладистый человек, всецело занятый торговлей и мало обращавший внимания на пасынка.

Один учебный год Витя целиком провел в станице и впервые приобщился здесь к крестьянскому труду — ездил с классом убирать колхозную кукурузу, молотил на школьном дворе фасоль, из которой ученикам варили бесплатный суп. Снежная зима, катание на коньках по реке с распахнутыми полами пальто, надуваемыми ветром, как паруса, знакомства со станичными дружелюбными ребятами, сразу признавшими его верховодство, — все было ново, вызывало радостные чувства. Витя даже напи-

сал стихи в подражание пушкинским «Мороз и солнце, день чудесный...». Они были помещены в школьной стенгазете.

Мама и отчим, хотя и скучали по городу и мечтали о многолюдных, в электрических огнях, улицах, о театре, асфальте, оставались в Ленинградской месить грязь. Видимо, дело было заработное, жили в достатке. «Зубы положить на полку всегда успеем», — говорил отчим, сельский житель, в противоположность маме не спешивший покидать пригретое место: только что Кубань потряс страшный 33-й год.

Витя хорошо помнил время, породившее столько беспризорников. На исходе зимы уже ощущалась нехватка продуктов, наверное, из-за наплыва в приморский город голодающих. Газеты писали о саботаже кубанских казаков, якобы гноивших хлеб в ямах, чтобы не сдавать его государству, и продналоговцы, как видно, перестарались, подчистую выбрали зерно из станиц и хуторов.

С Кубанью Витю связывали многие родственные нити. Бабушка часто ездила, беря с собой внука, к родной тетке, одного с нею возраста, бывшей замужем за казаком станицы Баканской. Метра два ростом, крепкий, как дуб, с виду зверь зверем, а в душе ребенок, он «носил на руках» любимую жену, как говорила бабушка. Семья слыла доброй, гостеприимной.

У тетки болела нога, покрытая незаживающими ранами вдоль берцовой кости, всегда обложенная листьями подорожника и забинтованная. Доставляя в повозке больную жену на лечение в городскую больницу, казак останавливался у бабушки и приносил в дом корзину сельских продуктов, из которых Вите особенно запомнились пирожки — каждый в две ладони — из пресного теста с творогом и сливами без сахара, спеченные на капустных листьях в русской печи.

Так и не залечив раны лекарствами, врачи отрезали больную ногу. Тетка на подъем стала тяжела, далеко за двор не отлучалась, и бабушка чаще ездила в Баканскую. Вите нравился приземистый дом под вишневыми деревьями с широкими завалинками и навесом на столбах вдоль стен, убитые глиной полы и запах ситного хлеба в чистых, с домоткаными половиками, комнатах.

Тетка, бывало, усадит Витю за стол так, что подбородок приходился с ним вровень, поставит чашку свежих сливок или сметаны, положит пирожок размером в сковороду, погладит по голове:

— Ешь, расти большой...

Витя сопит, кряхтит, но осилить пирожок никак не может, вылезет из-за стола перепачканный сметаной, с приторной отрыжкой.

После очередной поездки к родственникам, по прибытии в город, на вокзале бабушка оставила Витю возле корзин, а сама отлучилась нанимать извозчика. Одну корзину Витя зажал между ног, а другую поставил перед собой, не спуская с нее глаз, как наказывала бабушка, замечтался, слышит, кто-то шурудит в корзине между ног. Спохватился, да уже поздно: длинноногий оборвыш без оглядки уносил пирожок, уплетая его на ходу.

Витя так был ошарашен бесцеремонностью вора, что лишь растерянно смотрел ему вслед забыв позвать бабушку.

С этого случая, в представлении Вити, началась голодовка и наводнение города разным бродячим людом.

Домашний стол скудел, хотя, по правде сказать, мальчик не очень это замечал, спеша побыстрее выбраться из-за стола к друзьям на улицу, на море. Появилась жареная кровь, незнакомое до сих пор блюдо, между прочим, приправленное чесноком, очень вкусное, от которого Витя не отказался бы и в сытный год. Кровь бабушка брала у отца Нины Лукьяненьковой, работавшего на бойне. Появились в супе морские ракушки, мидии, вместо мяса, а взамен пшеничного — кукурузный хлеб из Грузии, чуть зачерствеет, крошится, как трухлявое дерево. Потом и этот хлеб исчез. Пекли лепешки из картошки, отрубей и жмыха, грязно-синие и тяжелые, как свинец. Горожан спасала хамса, уловистая в ту зиму, а также дельфинье сало и колбаса, сильно отдававшие рыбой, но и дары моря не всем были доступны. Дельфинье сало и мясо продавались на рынке по баснословным ценам или в обмен на сахар, крупы, хлеб, уже выдававшиеся в магазинах по карточкам.

Вторую половину дома бабушка сдала квартирантам, своим знакомым, бездетным старичкам, бежавшим от голода из какой-то кубанской станицы. Дед был портной, тихий, совестливый человек. Вите он запомнился с сантиметром, повешенным на шею, с длинными ножницами или чугунным утюгом в руке, который он продувал, выйдя во двор. Его жена Семеновна — маленькая, сухонькая, с крючковатым носом, похожая на Бабу Ягу, только добрая, разговорчивая, веселая, — поощряла Витю в шалостях, в беготне по комнатам, какие он устраивал зимними вечерами, и сама принимала участие в играх. Расшалившись, Витя, бывало, доводил старушку-хохотушку до колик в животе.

Трудно пришлось старичкам в голодный год, у портного заказов не стало, заработка никакого, и часто он прибегал, озябший, греться на хозяйскую половину, поеживался, потирал руки над раскаленными конфорками и потихоньку таскал из духовки желуди, которые бабушка примешивала в какое-то кушанье, то ли готовила из них кофе. Витя отводил глаза в сторону, смущаясь и жалея старика. Он так истощал, что весною, проходя по двору, закачался, зашарил в воздухе руками, ухватился за жерделу и сполз на землю. Витя испугался, что умер, подсел к нему, затормошил, но старичок, охая, поднялся, держась за дерево, посмотрел на мальчика мутными глазами:

— Круги зеленые... ничего не вижу.

Витя сбегал в дом, порывлся в пустом кухонном столе, нашел сморщенную вареную картофелину. Старичок все держался за дерево, слабый, беспомощный.

— Покушайте, легче будет.

— Спасибо, сынок...

Он зажал в кулак картофелину, но не ел, закрыл глаза и повернул лицо к солнцу, словно задремал стоя. Витя позвал Семеновну, и вдвоем они отвели старичка в дом, уложили в постель. Дня через два он умер. Семеновна оказалась выносливее мужа, протянула до лучших дней и вернулась в станицу.

В доме еще жила дебелая девица, дочь баканских родственников, угрюмая, говорившая сама с собой и хихикавшая в одиночестве. Первое время, прислушиваясь к ее голосу, Витя немел от страха, но бабушка его успокаивала, вертя указательный палец у виска:

— Не все дома. Но она тихая, не бойся.

Девица поступила на элеватор грузчицей, и это ее спасло от голода, собственно, спасли грубые рабочие ботинки. Приходя домой, она разувалась и высыпала из каждого, наверное, по фунту зерна.

Возле набитого хлебом, самого крупного в Европе элеватора, откуда кубанская пшеница водопадом сыпалась в трюмы океанских иностранных кораблей, люди пухли и умирали от голода.

Барклаевские мальчишки, а с ними и Витя однажды забрались на товарную железнодорожную станцию, открыли вагон и унесли по плитке подсолнечного жмыха, который употребляли вместо хлеба. Ели и льняной, и соевый, и даже хлопковый — желтый, как акрихин.

Мальчишек с запозданием обнаружил охранник, выстрелил в воздух, но преследовать не стал.

Голод усилился к весне. Проходя ранним утром мимо церкви, Витя зажал нос от нестерпимой вони. За оградой лежали обглоданные собаками человеческие останки с торчащими кровавыми ребрами.

Пухлые люди валялись на базаре под лавками, на улицах, и прохожие мало обращали на них внимания, подать было нечего, каждого ждала такая же участь. Витин дедушка собрался плыть на пароходе в Грузию за кукурузой, где, по слухам, было вольготнее с продуктами. Он взял с собой, какие были, денежные сбережения, уехал и как в воду канул: ни письма, ни какой-либо весточки. Судьба его осталась неизвестной...

Заедали вши, неперенные спутники голодовки. В доме появился частый широкий гребень, и бабушка, распустив свои длинные, с проседью волосы, чесалась над белой наволочкой, разостланной на коленях. Она искала и в Витиной голове, ловко перебирая волосы гребнем.

Откуда брались паразиты, было непонятно: в семье купались, стирали так же регулярно, как и до голодовки, если не чаще.

Лазая на пристани по старым баркасам, в которых ночевали бездомные люди, Витя наткнулся на брошенную одежку, кишашую вшами. Она вся побелела от них... Витя выбрался из баркаса, зажимая ладонью рот, икая от душившей рвоты.

Город словно вымер, не залает собака, не прошмыгнет кошка, улицы, базары, пристани опустели, редко увидишь бредущего человека. Запасные станционные пути поржавели, заросли бурьяном. И корабли в последнее время, наверное, стороной обходили порт. в море до горизонта не

на чем задержаться взгляду — сверкающая гладь. А высоко в небе — палящее солнце, редкие белые облака. Безмолвие.

Конец голодовки запомнился отменой хлебных карточек и умильным голосом девицы, возвратившейся с работы на элеваторе:

«В магазине глазам своим не верю: полки от хлеба ломаются, бери, сколько пожелаешь, — говорила она бабушке, разуваясь, но уже не высыпая зерна из ботинок. — Купила буханку серого и по дороге домой щипала по кусочку. Такой пропеченный да мягкий... Всю буханку и съела, пока дошла...»

Если в городе от голодовки уже не осталось никаких следов, то в кубанских станицах она напоминала о себе пустыми, заросшими лебедой усадьбами, брошенными загаженными хатами без дверей и окон. Прежних хозяев сменили переселенцы из северных областей, в большинстве своем почему-то солдатские семьи, и, когда Витя приехал в Ленинградскую, жизнь в ней уже наладилась.

Витю вызвала мама к себе, чтобы он находился под присмотром родительского глаза и готовил геометрию к осенней переэкзаменовке, чтобы не остаться в пятом классе на второй год. Этого страшно боялся и Витя, только подумает, как придется сидеть за одной партой с каким-нибудь клопом, которого он на голову выше, так и жить не хотелось. С учебником геометрии Витя не расставался ни на минуту, даже когда обедал, бросал на стул и садился на него.

Он назначил себе задание — каждый день проходить по четыре параграфа, что позволяло за месяц до начала учебного года быть готовым к переэкзаменовке. Но шли дни за днями, а Витя топтался на месте, застряв на восьмом параграфе.

«Ничего, — успокаивал он себя, — буду учить не по четыре параграфа в день, а по восемь и быстро наверстаю упущенное, не на месяц, а даже на полтора раньше закончу!.. Если же проходить по десять параграфов в день?.. Тогда... тогда за две недели можно осилить всю геометрию! Если же по пятнадцать... Вот если бы по пятнадцать, то можно было бы покончить с занудным предметом в два счета и остальное время гулять, как захочется. Ах, хорошо бы по пятнадцать!»

После таких головокружительных взлетов фантазии Витя тяжело вздыхал, раскрывал учебник на восьмом параграфе, ставшем для него камнем преткновения, и пытался сосредоточиться на трапециях и параллелепипедах. Но никак не мог понять, почему две параллельные прямые, как бы долго их не продолжать, не пересекутся. «А если далеко, далеко, — размышлял Витя, — то хорошо видно, как они сливаются вместе. Я это очень ясно представляю... И почему единицу можно делить до бесконечности? Конец есть всему. Взять стол, вот один его конец, вот другой. Взять дом, взять улицу, взять на географической карте Африку, поделить ее пополам, еще пополам, еще, и, в конце концов, от Африки ничего не останется. Странно, почему единица делится до бесконечно малого числа?»

Витя зевал, откладывал учебник в сторону, говорил себе с иронией: «Пифагоровы штаны на все стороны равны... Пифагоровы штаны... А как же восемь параграфов в день? Нет, надо заниматься!» Он тянулся рукой к геометрии, но тут его внимание привлекала яркой окраски неизвестная птица, севшая на дерево против окна, или рокот самолета в небе. Витя выбегал во двор, на улицу, как из темницы после многолетнего заточения навстречу солнечному свету, радостно ощущал вокруг себя полнокровное биение жизни.

— Витя, Витя, что же ты не занимаешься? — окликала его мама.

— Я уже прошел параграф!

— Берись за другой. Целый день носишься по улице как угорелый. Когда ты успеаешь выучить урок?

— Сейчас... Не даст погулять, — с неудовольствием бормотал Витя, у которого при одном упоминании о геометрии душа ныла, точно он задолжал много денег, а расплачиваться нечем.

Напротив «Центроспирта» был книжный магазин в полуторазтажном кирпичном здании. Витя однажды поднялся сюда по лестнице и остался чуть ли не на весь день. Он брал с полки то один, то другой том, читал заголовки, перелистывал страницы, разглядывал иллюстрации, пораженный и зачарованный. Он и не знал, что на свете уже написано столько романов. Каждый он раскрывал с душевным трепетом, хотелось поскорее узнать, про что это. Если бы можно было, Витя, наверное, унес бы к себе домой весь магазин. До сих пор он прочитал немного книг: «Барона Мюнхгаузена», подаренного мамой ко дню рождению, после него какой-то приключенческий роман без начала и конца, неизвестное время пролежавший в темном чулане среди серых пыльных конторских книг прежнего хозяина-купца. Витя прочитал его залпом, едва ли не в один день, увлеченный судьбой заблудившейся в африканских джунглях научной экспедиции, которую преследовали то звери, то дикари-людоеды. Витя и не подозревал о существовании такой красочной, такой захватывающей жизни. Вот где по-настоящему можно было страдать, смеяться, огорчаться, любить и ненавидеть. До чего же обыденно, серо, скучно после этого показалось все в доме. А на геометрию и смотреть не хотелось.

Витя отобрал четыре тома Жюль Верна, два тома Майна Рида, большой однотомник Пушкина, несколько книг Максима Горького и одну в мягком переплете под названием, таившем что-то загадочное «Джек Восьмеркин — американец».

Продавец насчитал крупную для Вити сумму, двадцать рублей, которых налицо не оказалось. Правда, на конец резинки в трусах (ходил Витя в одних трусах, без майки, босой) был привязан свернутый трубкой трояк. А нужно было вон сколько, раз в семь больше, и Витя побежал домой, пообещав продавцу скоро вернуться и забрать книги.

— Сколько тебе нужно? — спросила мама, выслушав торопливую, сбивчивую речь Вити. Всегда он спешил, комкал слова, когда хотел побы-

стрее решить для себя дело, которое ему казалось понятным и без лишних объяснений.

— Двадцать рублей! — выпалил Витя. «Для мамы это ничего не стоит, а для меня такое счастье приобрести книги, — думал он. — Неужели откажет?»

— Ты с ума сошел! Столько денег на книги? Да это ползарплаты. Ты нас разоришь.

— Ну семнадцать.

— Что?

— Три рубля у меня есть. Не хватает семнадцать.

Кое-как удалось выманить пятерку. Но Витя схитрил. Из кухни, где мама готовила обед, он отправился напрямиком в магазин к отчиму, доброму человеку. Тот без разговоров выдвинул из кассы ящик и достал три синих пятерки, так что Витя смог расплатиться с продавцом и к уже отобранным книгам добавить еще одну под географическим названием «Кара-Бугаз». Он надеялся найти в ней что-нибудь необычное, а это оказался всего-навсего очерк о поездке в пустынный залив Каспийского моря. Такие книги Витю не интересовали. Он мог читать только про красивых, благородных героев, которые рисковали жизнью, преодолевали невероятные трудности, добиваясь любви своей девушки, ну и, конечно, о таинственных островах, приключениях в африканских джунглях или американских прериях и не терпел описательных страниц. Он без сожаления пропускал их от диалога к диалогу и таким способом прочитал все девять томов «Жан Кристофа» Ромена Роллана за какую-нибудь неделю. Он так пристрастился к чтению, что мама и отчим стали поглядывать на него с беспокойством: как бы не зачитался! Витя даже в обед успевал пробежать несколько страниц между первым и вторым блюдами. Вначале мама относилась к этому терпимо (пусть лучше читает, чем проказничает), но вскоре стала ворчать и за столом отбирать книгу.

Это были ни на что прежнее не похожие дни. Пробуждался Витя с радостным чувством и с ним же отходил ко сну. Он торопился закончить туалет и завтрак в предвкушении встречи с книгой. Ничто не могло этому помешать — ни новые друзья, станичные ребята, звавшие на речку, с которыми он недавно подружился, ни разные хозяйственные поручения матери. Витя забирался в такое место (чаще всего на чердак), где его не могли найти, и проглатывал страницу за страницей.

Книги как бы вырвали его из круга ограниченных станичных интересов, открыли дальние страны — дух захватывало! Наслаждение было уже в том, чтобы, поудобнее устроившись, заломить похрустывающую, с приятным запахом свежей бумаги и свежих красок обложку, отвернуть, пригладить ладонью титульный лист. Первая глава. Первая фраза. И вот он уже среди чужестранцев с незнакомыми нравами и обычаями, в их хижинах и городах, а то и вовсе в рискованном путешествии на парусном фрегате вокруг света.

А вечером ложился спать опять же с радостным волнением, потому что ему предстояла другая, еще более захватывающая жизнь перед сном, где главным героем был уже он сам.

«Пожалуй, сегодня я обойдусь без Альбины, она строптива, капризна и не годится для экспедиции в Центральную Африку, — рассуждал Витя, поджимая ноги под одеялом и принимая свою излюбленную позу „калачиком“. — Сегодня я, наверное, отправлюсь... с кем же? С Ниной? Нет. Лучше выдумаю девушку, какую захочу сам — гордую, недоступную ни для кого, блондинку, добрую и нежную лишь со мной одним...»

У всех книжных героев были возлюбленные, а у Вити не было, и вот приходилось придумывать. Наделенная самыми гуманными чертами, она была его спутницей и неделю и две, приключения с нею продолжались иной раз до глубокой ночи, когда в доме все уже спали, слышались бормотанья, стенания, выкрики отчима, терзаемого во сне ревизорами, раздавался храп, сопровождаемый настоящей артиллерийской канонадой приехавшего из глубинки тучного завмага, страдающего от несварения желудка. Но Витя отвлекался на секунду-две и тотчас возвращался к продолжению им самим нафантазированной истории. Ах, какие это были упоительные ночи!

Геометрию Витя по-прежнему носил с собою, только теперь вовсе ее не раскрывал, а подкладывал под роман, который читал. Если подходили в это время мама или отчим, Витя перекладывал учебник наверх и делал вид, что усердно занимается.

Купленные книги были прочитаны, а в магазин все прибывали новые, казалось, одна занимательнее другой, но просить денег на их покупку было уже совестно. На учебники, на Тургенева, Некрасова, входивших в школьную программу, Вите, конечно, не отказали бы, только все эти писатели у него уже были, хотелось других, о которых он слыхом не слышал, интриговавших названиями книг в пестрых обложках.

Обычно в полдень, когда торговля затихала, отчим звал за прилавком Витю, рассказывал, что и по сколько продавать, а сам куда-нибудь отлучался, чаще всего поспать. Спать он мог в любое время и в любом положении, в том числе на ходу, а уж за обедом, пока мама сменяла на столе блюда, частенько с храпцом. Бывало, Витя часа три простаивал за прилавком, через его руки проходили сотни рублей, касса была забита бумажками разного достоинства — невозможно было вообразить, сколько там было денег! Наверное, одной дневной выручки хватило бы на закупку целиком книжного магазина. Взять из этой кучи трояк или пятерку все равно что зерно из хлебного бурта. Раз Витя так и сделал, привязав свернутую трубкой сиреневую бумажку к резинке на трусах. Только он успел это сделать в страшном волнении, как вошел отчим, позевывая и потягиваясь. Поинтересовался, как идет торговля, и принялся стирать пыль с прилавка. Почему-то таким, с тряпкой в руках, перетирающим бутылки, смахивающим и сдувающим пыль с полок, аккуратно расстановливающим на при-

лавке счета, конторскую книгу, чернильницу, пресс-папье, он всегда помнил Вите.

Мальчик покрутился для отвода глаз немного возле матери на кухне, на дворе и — в книжный магазин. Вся пятерка была растрочена. Книга спрятана за сундуком в полутемной проходной комнате без окон, и до самого позднего вечера, пока не был снят остаток с дневной выручки, Витя ходил сам не свой, терзаемый совестью: признаться или не признаться, если обнаружится недостача. Но по настроению отчима он понял, что касса в порядке, и успокоился, а вскоре снова проделал то же самое, и снова недостача не обнаружилась, во всяком случае так Вите казалось. На него нашел какой-то азарт приобретения книг: и эту и ту он хотел иметь у себя. За сундуком уже не хватало места, и он освободил угол в чулане, разобрав хлам и выстелив пол газетами.

Теперь продавец встречал Витю как почетного покупателя, значительно увеличившего товарооборот его магазина, и предлагал заранее отобранные новинки. Угол в кладовой вскоре был заставлен книжными стопами. И хотя ни сюда, ни за сундук никто не добирался, Витя заметил подозрительность во взглядах отчима, когда тот смотрел на него. Как-то так получилось, что свернутая трубкой и привязанная за конец резинки на трусах пятерка выскочила наружу, а Витя не заметил.

— Подойди ко мне. Подойди, подойди! — позвал отчим, ухмыляясь, как только он один мог, пошлепывая губами и покачивая головой (тоже особым образом), привлек к себе Витю и отвязал на трусах пятерку. Развернул, повертел в руках, пытливо поглядывая на пасынка.

— Откуда она у тебя?

Витя признался.

— Ай-я-яй, — покачал головой отчим, бросая деньги в кассу. — Таких вещей делать нельзя. Лучше честно скажи, на что надо, я дам.

«Покаяться во всем? Вот подходящий случай! И наказание будет меньше...» — подумал Витя, но силы воли не хватило.

— Ты понял? — спросил отчим.

— Понял... — пробормотал Витя, сгорая от стыда.

— Тогда ступай и помни наш разговор.

Видно, этот случай усилил подозрение отчима, и то ли он выследил Витю, то ли продавец книжного магазина выдал, в один прекрасный день, разумеется, не для Вити, его тайники были обнаружены, все книги извлечены на свет божий и выложены на стол в зале огромной горой, на удивление самого хозяина, никак не ожидавшего, что у него собралась такая огромная библиотека.

Отчим принес счета и вместе с мамой, по всем правилам бухгалтерии, составил ценник. Получилась кругленькая сумма, что-то рублей в пятьсот.

— А мы голову ломаем, откуда недостача, — сказала мама, печально глядя на Витю.

Отчим сходил в книжный магазин и переговорил с продавцом, который оказался уступчивым и согласился принять все книги без скидки на амортизацию. По правде сказать, они все и выглядели новыми, ибо Витя по отношению к ним отличался большой бережливостью.

2

Приехал из Москвы, после институтской сессии, дядя Леня. На студента он мало был похож, до института окончил техникум, работал в совхозе «Джемте» под Анапой старшим виноградарем, уже обзавелся семьей. Наверное, в то время не он один был такой «солидный» студент. Конечно, ему помогала сестра, Витина мама, но и сам он жил не на одну стипендию, прирабатывал: в прошлые каникулы на городском хлебозаводе ввел автоматику на каком-то процессе и получил за это премию, был «башковитый», как сказал о нем отчим. В семье на дядю Леню молились, как на икону, Витя тоже благоговел перед ним, ловил каждое его слово, считал за счастье посидеть рядом и боялся невзначай опростоволоситься. От одной скептической улыбки дяди пробирал мороз по коже, и Витя чувствовал себя недорослем.

— Читает день и ночь. Прямо не знаю, что с ним делать, — жаловалась мама брату.

— Что же он читает?

Мама назвала несколько книг, а потом поведала о книжной истории вплоть до позорного возвращения библиотеки в магазин.

— Гм... разную белиберду читает. Что в руки попадет. А учится как?

— «Посредственных» много.

— Ну вот, посредственник. Таким на всю жизнь останется, если не возьмется за ум.

«Скажет или не скажет о переэкзаменовке?» — гадал Витя, холодея.

— Да еще переэкзаменовка осенью по геометрии, — наверное, против своего желания сообщила мама, надеясь на помощь брата.

— Переэкзаменовка? Ой, ой!.. Посмотрим, как он знает геометрию. — Дядя взял лист бумаги, написал несколько задач и, выходя из комнаты, насмешливо сказал: — Решай! Вечером покажешь мне.

Когда он еще только выводил цифры, иксы, квадраты, исписав чуть ли не всю тетрадную страницу, Витя уже чувствовал полную свою беспомощность, а оставшись один, сел за стол, обхватил голову руками и бессмысленно уставился в бумагу. От близкого расстояния и пристального взгляда строчки сдвоились, знаки расплылись, мысли унеслись во двор, к заветному укромному местечку, где была припрятана интересная книга... Витя мигнул ресницами, и строчки снова стали на свои места, а знаки ясно обозначились. Но Витя даже не пытался разобраться в них.

То мама, то еще кто-нибудь из взрослых заходили в комнату, что-нибудь брали или приносили, стараясь не шуметь, и Витя тотчас делал глубокомысленный вид, склонялся над столом и рисовал человеческие фи-

гурки с приговоркой: «Точка, точка, запятая, носик, ротик, оборотик, руки, ножки, огуречик, вот и вышел человечек!»

Измарав лист бумаги, он сложил его вчетверо и сунул в карман.

Потихоньку, через полутемную прихожую и веранду, выбрался во двор.

После прохладных комнат с жалюзи на окнах, создававших полумрак, июльский день ослепил. Пес Палкан лежал под забором в тени, и бока его вздымались, как мехи в горне, а вывалившийся из пасти красный язык болтался хлявкой. Зной так давил, что даже мухи попрятались.

Витя отодрал державшуюся на одном гвозде доску в заборе и пролез в дыру на задворки. В высоких бурьянах, впритык к тыльной стене сарая, он сложил из старых досок, хвороста и травы халабуду, и теперь забрался в нее с удовольствием, вытянулся, чувствуя под затылком «Джека Восьмеркина». Лежал с минуту в сладком предвкушении занимательных историй, взял книжку, раскрыл на закладке. Чем-то непонятным захватил и не отпускал его этот роман, совсем не приключенческий, без дикарей, без джунглей, без пиратов. Героями его были русские мужики. Их односельчанин, вернувшийся из эмиграции, пытался превратить коммуну в прибыльное предприятие. Разные начинания предприимчивого Джека Восьмеркина были удивительны. Витя в нетерпении пробежал страницу за страницей, гадая, удастся ли разбогатеть коммуне, которая пыталась производить то пахучие сигары «Вирджиния», то какой-то заморский напиток.

Витя не заметил, как солнце пошло на закат, вытянулись тени и жара немного спала. Наверное, он не оторвался бы от книги и в темноте, подсвечивая строчки карманным фонариком, привезенным из Москвы дядей, но услышал надсадный голос уже давно звавшей его матери:

— Витя! Где ты? Иди ужинать!

За столом он был рассеян, ел вяло и не очень обрадовался сообщению о том, что завтра, в воскресенье, будет испечен «наполеон» в честь приезда дяди Лени. Если днем родители кое-как мирились с тем, что Витя не выпускал из рук книгу, то вечером, при свете, читать категорически запрещали, пугая всякими напастями. Говорили, что он может ослепнуть, вспоминали какую-то дальнюю родственницу, которая в молодости так же запойно читала и сошла с ума. Но Витю эти ужасы не очень устрашали, он придумал, как читать и ночью, чтобы никто не видел, надо было только выждать, когда все разойдется по своим комнатам и улягутся.

— Ну как, решил задачи? — спросил дядя после ужина. Витя потупился.

— Не-ет. Не успел.

— Что же ты собираешься неделю решать?

— Нам таких в школе не задавали, — попробовал выкрутиться Витя.

— Тири-тири, это мы не проходили, трали-вали, это нам не задавали. На «посредственных» далеко не уедешь! Гарантирую, мой друг!

Человек дела, он сразу разгадал в племяннике мечтательную натуру и, как все практические люди, не терпящие фантазеров, относился к нему пренебрежительно.

— Ничего, решит. Завтра возьмется и решит, — сказала мама, подбадривая сына взглядом. — Решишь, сынок?

— Попробую еще раз, — ответил Витя, не желая убивать родительскую веру в себя.

Постепенно все в доме улеглись. Палкан и тот не лаял, один отчим в магазине подбивал дневной баланс, то ли готовил месячный отчет. Оттуда доносились пощелкивание костяшек, стук и звон переставляемых бутылок — приглушенно, как возня мышей среди ночи.

Витя уступил свою кровать дяде, а сам спал на большом купеческом сундуке, обитом полосовой стальной тягой и поставленном в проходной узкой комнате без окон. Мама настелила на него разных мягких вещей, и спать было удобно. Витя поплотнее прикрыл створки двери в зал и, оставшись в одиночестве, юркнул на свое ложе, достал из-под подушки «Джека Восьмеркина», накрылся покрывалом с головой и включил карманный фонарик. К нему прилагалась запасная батарея. Основная, уже сожженная, была выброшена, да и запасная еле дышала: вторую ночь напролет Витя читал. Не прошло и часа, как свет пожелтел, буквы едва различались. Витя со страхом ожидал минуты, когда придется закрыть книгу на самом интересном месте, не узнав, чем закончится новое предпринимательство Восьмеркина. Он перелистал вперед несколько страниц, пытаясь по рисункам на полях понять дальнейшее развитие событий, и снова поспешно вернулся к чтению. Свет совсем потускнел, читать стало невозможно. Витя выключил на время фонарик, надеясь, что после перерыва, отдохнув, он загорится ярче. Минут через пять, томясь в неведении, Витя щелкнул выключателем — волосок в лампочке еле накалился. О чтении нечего было и думать. Книгу и фонарик с превеликим огорчением пришлось сунуть под подушку и попробовать уснуть. Но сон не шел. Перед Витей проплывали живые эпизоды романа, ясно виделись люди, словно он был среди них, словно вместе с Джеком Восьмеркиным ломал голову над тем, как побольше завлечь сельчан-единоличников в коммуны.

Отчим вернулся из магазина и зашарил руками по полке в комнате, где спал Витя, что-то разыскивая, свалил на пол железную коробку с гвоздями, грохнувшую, как граната, чертыхнулся и окликнул Витю:

— Спишь? Фонарик тут был.

Ему зачем-то понадобилось в полночь спуститься в подвал. Витя подал фонарик и глубоко забрался под покрывало. Отчим защелкал выключателем.

— Испортился, что ли?

— Кончилась батарея.

— Так быстро! Вчера еще был хороший свет. А где запасная?

— Тоже кончилась...

В темноте не видно было отчима, но Витя хорошо представил его сердитое лицо. Он относился к пасынку терпимо, никогда не наказывал, даже за самовольную покупку книг Витя отделался лишь выговором. И теперь отчим молча положил негодный фонарик на полку и отправился спать. Между ним и мамой произошел какой-то разговор, но как Витя ни прислушивался, не мог разобрать, а утром почувствовал незнакомый родительский холодок.

Дядя после нерешенных задач вообще прервал с племянником какие-либо отношения, не замечал его, не здоровался. Он любил заметить при случае, что каждому новому знакомому дает вперед сто процентов человеческих достоинств и, по мере узнавания, отнимает или прибавляет. «В моих глазах иной через несколько часов падает сразу на 30—40 пунктов», — говорил он с иронией. Витя, наверное, скатился до нуля.

За завтраком мама сообщила решение семейного совета: Витя запирается на два часа в чулан, а в обед лишается пирожного. Такое наказание было впервые. Чулан куда ни шло, но вот оставить без «наполеона», самого любимого пирожного, — с этим невозможно были смириться! Сидя в темноте, на каком-то хламе, Витя с обидой думал (в который уже раз!): «Ничего, когда-нибудь я стану знаменитым путешественником... нет, лучше буду писателем... тогда они все пожалеют, что так безжалостно поступили со мной. На что только решилась мама! Как ее не мучает совесть!»

Обидчиков уже столько набралось, что если бы действительно произошло так, как мечтал Витя, то очередь кающихся вытянулась бы до самой Красной станичной улицы, которая была от дома за квартал.

На этом закончилась для Вити книжная «эпопея». Но страсть к чтению не пропала, лишь временно отступила перед другими увлечениями.

3

Витя получил неожиданное освобождение из чулана, точно в приключенческом романе, и даже свою долю «наполеона»: приехали Женя и трехлетний сын дяди Лени — круглолицый, толстенький и совершенно белый, с голубыми ясными глазами Эдик. В то время городских детей почему-то модно было называть западными именами, и на свет божий появилось множество чуждых русскому уху сочетаний, вроде Ричарда Синичкина или Нелли Копейкиной, знакомых Вити сопливых подростков Барклаевской улицы. Дядя Леня тоже поддался моде и как-то даже посоветовал на то, что русские приняли греческий, а не латинский алфавит, ставший международным. Витя сам увлекался западной литературой. Он тотчас нарядил двоюродного братика в тунику, приспособив для этого простыню, сколол ее концы на плече маминой брошкой, повязал пояс и подцепил деревянный меч. Втроем стали играть в Спартака, вооружившись пиками и щитами, носясь по комнатам и крича как оглашенные. Четырнадцатилетнему Жене это быстро надоело, и он предложил пойти посмотреть во дворе Палкана.

Палкан был умный, преданный Вите пес. Чужих терпеть не мог, особенно пьяных, поднимался на задние лапы, как медведь, и, натягивая цепь, зло ощеривал острые желтые клыки. Цепь отбрасывала его назад, ошейник сворачивал набок голову, но Палкан ничего не замечал, охваченный лютой ненавистью к какому-нибудь пьянчужке. Бог знает, чем объяснить такое поведение собаки на службе «Центроспирта», процветание которого всецело зависело от поклонников Бахуса...

Боясь, как бы собака не покусала Эдика, ребята оставили его дома, не смотря на хныканье.

Женя с ломтем хлеба дальше веранды не двинулся, уstraшенный видом лохматого черного пса. Палкан, как только его позвал Витя, гремя цепью, подбежал к нему, прыгнул на грудь и, чуть не сбив с ног, лизнул в лицо.

— Подожди, подожди, Палкан, — заговорил ласково Витя, осаживая пса и на всякий случай крепко держа его за ошейник. — Слушай меня внимательно. Вон мой друг, видишь? Сейчас он подойдет к нам, ты его не трогай. Понял? Понял?.. Женя, иди сюда, Палкан не укусит.

Женя с опаской подошел, протянул Палкану хлеб. Пес даже не зарычал, взял ломоть, положил на траву, придавил одной лапой, потом другой и принялся есть. Понимал, что от своего.

— Он и служит, и палку приносит. Хочешь посмотреть? — сказал Витя.

Палкан с удовольствием сделал то и это, однако недолго занимал ребят. Возле сарая лежала пудовая гиря. Вите удавалось поднять ее лишь до пояса, да еще двумя руками вертануть в воздухе, не больше, а Женя похвастался, что выжмет одной рукой. Он потер ладонь о сухую землю, взялся за ушко, раз, второй, как бы примеряясь, перебрал пальцы, цепко схватил и бросил гирию вверх на вытянутой руке. Под тяжестью он сделал шаг назад, но гирию не бросил, подержал с минуту и положил на землю, как настоящий силач.

— Попробуй ты, — сказал он, уступая место Вите.

Тому втемяшилось в голову, что он так же легко сделает жим одной рукой, и в порыве неожиданно пробудившихся душевных и физических сил взялся за ушко. Гиря действительно поддалась, позволила поднять себя до пояса, но потом так потянула к земле, что Витя разжал пальцы и едва не отбил себе ногу.

Вышла мама и покачала головой

— Некуда вам силу девать, а ванна стоит пустая. Наносите в нее воды!

Витю до этого дня оберегали от тяжелых работ, считая еще маленьким и слабым, и он отнес слова мамы больше к Жене, чем к себе. Но мама вынесла два ведра.

Колодец, как и Палкан, и гиря, тоже был достопримечательностью двора — старый, выложенный камнем, в зеленом осклизлом налете. Ближе к воде зелень сплошь покрывала стены. Витю не раз манило спустить-

ся в колодец, посмотреть, что и как там. У самой воды виднелся кольцевой выступ, на который можно было стать. Но когда Витя помышлял об этом, его охватывал страх.

Приятно было, перегнувшись через сруб, почувствовать из глубины прохладу, увидеть освещенное солнцем, перевернутое и немного искаженное, как на выпуклой линзе, собственное отражение на воде.

— Ге-ге-ге! — крикнул Витя, и его детский голос прозвучал незнакомо басовито и гулко. Бадья на цепи, летя вниз, раза два стукнулась о стенку колодца и звонко шлепнулась в воду, раздробив отражение Вити на тысячу осколков. Он потянул цепь, как рыбину на удочке, чувствуя поддающуюся тяжесть. Бадья вынырнула в стекловидных оплывах водопада.

— Тяни! — сказал он Жене, перехватывая цепь, и тот завертел рукоятку скрипучего валика, стертого на середине. Бадья, расплескивая воду, пошла вверх. На срубе Женя подхватил ее и опорожнил в ведро, принесенное мамой.

— Я полное не донесу, — сказал Витя.

— Донесешь. Ты уже большой, — возразила мама.

Витя обиделся, но упрямиться при Жене не стал, взял за дужку, приподнял и понес ведро, но как? Весь изогнулся дугою, с каждым шагом цепляя ведро за колено правой ноги и обливая штанину.

— Не торопись, потихоньку! — забеспокоилась мама, но Витя и не подумал передохнуть, назло тащил ведро через весь двор, хотя уже было неважно. Рука вот-вот оторвется, ноги подкашиваются, заплетаются, на глаза навертываются слезы, Витя готов расплакаться от обиды и своего бессилия.

«Какая она нехорошая, нет ей дела до того, что я могу надорваться и на всю жизнь сделаться калекой, — думал он о маме. — Еще вчера предупреждала; бери только половину ведра, а сегодня... Упасть бы замертво!»

Сам не зная как, Витя дотащил ведро, правда, расплескав по дороге изрядно воды, до старой пожелтевшей ванны под водосточным желобом. Днем под солнцем вода в ней грелась для купанья.

Витя пошел и за следующим ведром, не желая ударить лицом в грязь перед другом, и, когда ванна стала полная и можно было отправляться куда угодно, хоть на речку, он сел на лестницу веранды живой и невредимый, даже не очень усталый, чему сам удивился.

«Что-то во мне переменялось, будто ушло детство», — вдруг отметил он свое повзросление, как новую зарубку на дверном косяке. Это повзросление было скорее физическое, нежели умственное, Витя оставался ребенком, принимал окружающий мир, каким он был, не вдаваясь в рассуждения, почему то или другое устроено так, а не этак, и его понятия о предметах, о людях пока что формировались под посторонним влиянием.

Жизнь была ясна, люди все были добрые, а если когда и приходилось огорчаться и плакать, то это было все равно что перемена погоды. Прогремела гроза, и снова солнце, снова щебечут вокруг птицы.

Станичные мальчишки с улицы позвали на речку. Босоногая шумливая орава зашлепала по горячей и мягкой, как пудра, пыли на дороге.

Речка в зарослях камыша и осоки летом сильно мелела, превращаясь в стоячее болото, поэтому купались у деревянного моста, где считалось глубоко, а всего-то по шею. Прыгали с моста «сухариками», поджав ноги и обхватив их руками. Головой было опасно: из воды торчали старые полусгнившие сваи. Вылезешь на берег, а к телу уже присосалось несколько пиявок. Витя содрогался от брезгливости, когда приходилось оттирать этих противных плоских водяных червей.

А станичные мальчишки привыкли к ним, один рыжий, похожий на Лешку, нарочно цеплял пиявок, но не давал им крепко, до крови, присасываться, перемещая с места на место. Бывало, сплошь увешает пиявками ногу, как чулок наденет.

День стоял жаркий, солнце припекало макушку. Окунешься, немного остынешь, но через несколько минут на берегу снова невыносимо. Мальчишки мочили майки и накрывали ими головы.

То там, то сям по бочажкам виднелся народ, взмучивал воду, и рыба, задыхаясь, высовывала головки наружу, жадно хватала ртом воздух. Тут ее и брали голыми руками. На всем протяжении пересыхающей речки мальчишки и бабы подлами, рубахами, мешками, что у кого было под рукой, выуживали плотву и карасей. Витя забыл книги, путешествия в жаркие страны, ковбоев и пиратов, отдавшись летним забавам. Ему нравились бесхитростные покладистые станичные ребята, готовые поделиться с товарищем последним куском хлеба, ловкие, здоровые, каждый мог потягаться с Витей силой и одолеть его. Но из уважения к городскому держались с ним на равных и даже позволяли над собой верховодить. Нравилось день-деньской пропадать на речке, шарить у берега по глинистому, в норах, дну, выхватывать клешнистых раков и бросать в траву, к ногам товарища, который собирал их в фуражку. Случалось, попадался юркий скользкий линь, случалось, рак хватал за палец. Визг, плеск воды. Сколько во всем этом увлекательного! Нравилось лазить по огородам и садам, откапывать сладкие коренья, набивать пазуху недозрелыми плодами. Витя уже ездил верхом, правда, не на лошади, а на корове. Мальчишки перехватили стадо среди кустарниковых зарослей по дороге на водопой. С немалым трудом, съезжая несколько раз на землю, Витя взобрался на бокастую чернуху, которая неожиданно проявила крутой нрав и понеслась во весь опор, низко наклонив рога и взбрыкивая. Вдруг остановилась, как выросла в землю. Витя перелетел через ее голову и угодил в колючие кусты. Как ни больно было, а удовольствие он получил превеликое, проскакав верхом, пусть на корове, впервые в жизни.

По дороге с речки белобрысые, обгорелые, с распаленными лицами, пострелы забрались в колхозный сад, попрятались в кронах деревьев. Откуда ни возьмись появился сторож с ружьем, издали закричал и пальнул в воздух. Он был небрит, босоног, в неподпоясанной, выпущенной поверх штанов рубахе и заспанный, словом, настоящий садовый сторож. Маль-

чишки, ломая ветки, посыпались с деревьев и дали стрекоча, только пятки засверкали. Один Витя, сидя на самой верхушке, не решился спрыгнуть и был захвачен на месте преступления. Он слез с отвисшей пазухой недозрелых абрикосов и получил подзатыльник.

— Нет от вас отбою, стрекачей А ну-ка я тебя сейчас отведу в милицию! — ругался сторож, может быть, желая перед кем-то оправдаться за сон среди бела дня.

Витя в милиции никогда не был и сильно оробел.

Усатый дежурный, томимый бездельем, обрадовался арестованному с абрикосами, вынул из кобуры револьвер с инкрустированной серебряной рукояткой, наверное, именной подарок еще в Гражданскую войну, положил перед собой на стол и уставился пронизывающим взглядом в «преступный элемент», имевший довольно-таки жалкий вид.

— Кто? Откуда? Зачем полез в сад? — учинил он строгий допрос, будучи любителем порисоваться, покуражиться. Встал из-за стола, взял свой красивый револьвер, покачал на ладони, дулом смахнул что-то с плеча, прошелся по комнате, накликая на Витину голову всякие беды, вкладывая в свою нотацию немало чувства, а в походку — армейской выправки.

Витя залился в три ручья, представляя себя на расстреле у каменной стены, как это видел в кино и на рисунках в книжках, а в лучшем случае за тюремной решеткой, в полутемной сырой камере, в лохмотьях, с отросшей до пояса бородой, как у графа Монте-Кристо.

Из соседней комнаты в дверь заглянул рыжебровый, с козьей ножкой в зубах:

— Грицко, чего ты пацана пытаешь, як генерала белой армии?.. Ты чей, хлопчик?

— Пал Иваныча.

— Що в «Центроспирте» робит?

— Ага, — кивнул Витя, утирая кулаком слезы.

С отчимом произошел короткий разговор по телефону, из которого Витя понял, что завмаг «Центроспирта» не последнее лицо в станице. Через полчаса умытый, причесанный, в свежей сорочке, окруженный родительским вниманием, точно на самом деле возвратился из многолетнего тюремного заключения, он сидел за обеденным столом, уплетал за обе щеки духовитый борщ, который так вкусно готовила мама, и слушал ее сетования:

— Что же это такое? Сторож мог застрелить ребенка из-за горсти зеленых абрикосов. Куда смотрит милиция? Уж лучше пусть книжки читает, чем бартыжает по станице!

Ни в этот, ни в следующий день Вите не разрешали гулять дальше двора, только вечером вся семья ходила в летний театр на концерт заезжего певца-юмориста. Пожилой, грузноватый, с крупным морщинистым лицом, в черном фраке и белой манишке, обладатель, наверное, когда-то сильного, но теперь сдавшего, с хрипотцой, голоса пел куплеты на злобу

дня. Вите нравилась шутливо-язвительные слова и бравурная мелодия на рояле:

Раньше были времена,
А теперь моменты.
Даже кошка у кота
Просит алименты!

— Хо-хо-хо! — заливался казак в милицейской фуражке и в приступе паразитического веселья толкал в бок своего рыжебрового соседа. Витя тоже смеялся, глядя на казака, который сидел на скамейке впереди, несколько раз оглядываясь, подмигивая «преступному элементу», — совсем не страшный, даже милый человек. Витя в милиции не мог и подумать о таком, казалось, он только тем и занимался, что стучал по столу рукояткой револьвера, допрашивая преступников.

А надтреснутый баритон в тишине летнего вечера кого-то высмеивал, над кем-то издевался:

В Москву яйца отправляли,
Три года ящики искали.
Пока ящики нашли,
Цыплята встали и ушли!

Пестро одетая и густо покрашенная блондинка аккомпанировала на рояле, иногда оглядываясь на публику и улыбаясь. И Витя живо воображал, как желтобрюхие цыплята вылупливались из яиц, оставляя скорлупу и разбегаясь по всему двору сельпо. Он бывал на этом дворе, видел переложенные соломой и опилками яйца, которые принимали от населения в обмен на дефицитные товары.

А баритон уже пел куплеты Беранже про капуцинов. Он так сильно старался весь вечер, потев и краснея, что Вите стало жалко этого старого актера, потерявшего голос, из-за чего он вынужден теперь петь куплеты вместо оперных арий. Показалось, маленьким, лет шесть назад, Витя видел его на сцене городского театра в каком-то большом спектакле.

На следующий день отчим попросил Витю встать за прилавок, не напоминая о прошлом, полагая, что он получил хороший урок, и пошел поспать, в чем никак себе не мог отказать среди дня. Как же Витя остолбенел, когда вслед за этим в магазин вошел вчерашний певец и, оглядев полки, попросил бутылку водки и кувшинчик ликера «шато-и-кем». Он отсчитал деньги, бросил на стойку, а Витя машинально, даже не взглянув на них, смахнул в кассу.

— Сдача положена, товарищ продавец. Надеюсь, это не частная лавочка?

Под снисходительно-насмешливым взглядом певца Витя страшно смутился, полез в кассу, лихорадочно прикидывал в уме стоимость поку-

пок (на счетах он не умел) и отдал сдачу в полном неведении, правильно ли сосчитал.

— Эге, что-то многовато. Так вы проторгуетесь, молодой человек. — Певец вернул лишнюю пятерку.

До чего же непривычно было увидеть почти обожествленного человека в обычной жизни! Витя долго после его ухода не мог прийти в себя. Точно так же поразил его милиционер на концерте. Все чаще и чаще люди открывались с такой стороны, которую Витя в них и не подозревал. И это, наверное, тоже было признаком его взросления.

* * *

Дядя с сыном, а вслед за ними Женя, погостив, уехали в черноморский город, и Витя теперь много времени проводил во дворе с Палканом. Всего год назад это был маленький слепой щенок и лакал молоко из блюдца. Просто не верилось.

Простенок между забором и глухой стеной сарая был завален разным хламом: тут валялась и спинка от железной кровати, и старое ведро с ржавевшим дном, и несколько полусгнивших досок. Густо стоял пресновато-травяной, с испариной запах лебеды, разросшейся на солнечной стороне. Редко сюда кто заглядывал, место было подходящее для халабуды. Весь хлам пошел в дело. Сверху мальчик накидал веток, а землю выстелил травой. Халабуда получилась что надо. Попасть в нее можно было только на четвереньках. В халабудах, верно, есть что-то изначальное, еще первобытное, ни одно детство не проходит без устройства такого укромного места, в чем уже наглядно проявляется главное назначение человека — созидать. Вот тут, в ржавом ведре, устланном тряпками, и вырос Палкан. Маленький, он по-слепому тыкался мордой в блюдечко с молоком, которое приносил ему Витя, и больше разливал, чем пил. Рос он быстро и за лето стал резвым, игривым псом. А в этот приезд Витю поразила огромная черная дворняга. Она завиляла хвостом, лизнула руку, узнав своего друга, который, по правде сказать, при виде зубастой пасти порядком перетрусил.

Витя мечтал о настоящей лошади, какие были у буденновцев, но до сих пор верхом поездить удалось лишь на корове, и лошадь заменил Палкан. Мальчик из войлока смастерил седло, пришил на попоны кумачовые звезды. Себе из бумаги склеил шлем, тоже с красной звездой, а на бок подцепил деревянную шашку. Он садился на собаку верхом, держа ошейник, как узду, или запрягал в детскую коляску, сходившую за пулеметную тачанку. Палкан терпеливо сносил все Витины чудачества, только иногда в недоумении оглядывался: что ты, мол, заставляешь меня не своим делом заниматься?

Они гонялись по двору наперегонки, падали в траву, кувыркались...

И вот как-то глухой ночью Витя проснулся от собачьего визга. Домой вернулся пьяный отчим. Палкан обознался, но скорее всего из нелюбви к

пьяным облаял его. Отчим схватил лопату и зло бил Палкана, который не мог убежать, привязанный к проволоке.

— На хозяина гавкаешь? — орал отчим с налитыми кровью глазами.
— На хо-зяина...

Палкан визжал, катался по двору, поджав хвост, но отчим бил и бил его свирепо. Витя кинулся к двери. Она была заперта. Он застучал в нее кулаками и ногами, но его никто не услышал. Утром он нашел Палкана в конуре. Глаза слезились, изо рта текла слюна, пес тихо скулил. Его нельзя было узнать. Мальчик горько заплакал, видя своего друга искалеченным и не зная, чем ему помочь. С мокрыми глазами, всхлипывая, он вернулся в дом и застал отчима на постели, свесившим ноги с кровати. В руках его были несвежие носки, которые он комкал и отряхивал перед тем, как надеть.

— Палкан, наверное, помрет. Зачем ты его избил?

— Ничего с ним не сделается. Заживет, как на собаке, — буркнул отчим и принялся одеваться. Но, видно, чувствуя свою вину и стараясь как-то оправдаться, добавил: — Пусть не лает на хозяина.

— А ты не пей!

— Смотри-ка, указчик нашелся. Не твоего ума дело. Марш отсюда!

До сих пор отчим представлялся добрым, мирным человеком, но, оказывается, вон какой дурной! Витя никак не ожидал от него этого зверского поступка, по своему малолетству не мог знать, что Палкан всего-навсего случайно подвернулся под горячую руку, что причина озлобления отчима совсем другая и что злоба копилась давно и вылилась произвольно. Витя стоял бледный, с дрожащими руками.

— Я больше не буду с тобой разговаривать! Ты... ты... — Он запнулся, но все-таки выкрикнул словечко, слышанное от бабушки, которая, бывало, называла им самого Витю, доставлявшего ей своими проказами немало огорчений. «Изверг ты! Мать свою не жалеешь!» — негодовала бабушка.

— Ты изверг! — выкрикнул отчаянно Витя и выбежал из комнаты.

— А хлеб мой будешь есть, никуда не денешься, — донеслось до него с издевкой.

Забравшись в халабуду, всхлипывая, Витя дал себе слово ничего не есть дома, возвратить все вещи и игрушки, купленные ему отчимом, пропитание добывать на огородах, в садах, ловлей рыбы. И прежде в семье возникали разговоры о нечестной жизни. «Трудами праведными не построишь палат каменных», «Блат выше совнаркома», — острил отчим. Витя всей своей неподкупной детской душой возмущался обывательской философии и раз в запальчивости напомнил ему о нечистоплотной торговле: пьяным всучивали разбавленную водой или убавленную с помощью шприца водку в бутылке и прибегали к другим махинациям. То, что в станичных магазинах не найдешь днем с огнем, отчим приносил со складов, имея широкие связи, давал взятки ревизорам, отвозил вместе с финансовым отчетом дорогие подарки и на завод.

— Ой, ой, какой порядочный! — ухмылялся отчим, пошлепывая губами, как только один он мог. — А ведь любишь витамин «це» — сальце, маслице? Любишь щеголять в новом костюме? Иди живи честно, посмотри, что ты будешь есть и что носить.

Это был веский довод, Витя ничего не мог ему противопоставить, сам поступал нечестно: и обманывал родителей, и тайком брал деньги из кассы. «Посмотри на себя, чем ты лучше?» — терзался он в бессилии как-то оправдать свое поведение и страстно желал лишь одного — поскорее вырасти большим, избавиться от родительской опеки, жить честно, быть всегда правдивым и добрым, как любимые книжные герои.

Отношения с отчимом так осложнились, что мама, боясь какой-нибудь неприличной выходки сына, решила отправить его к бабушке, на родину.

Палкан не поправлялся, хирел и хирел, не вылезая из своей конуры до самого отъезда Вити.

Наступила последняя тяжелая ночь. Было душно. Витя то и дело переворачивал подушку холодной стороной к лицу. Сон не шел. Весь вечер собака скулила, жалобно подвывала, и сейчас ее голос звучал в ушах, беспокоя и тревожа. Мысли уносились в приморский город, к друзьям детства на Барклаевскую улицу, но тут же прерывались и возвращались к Палкану. Витя прислушался, почудилось, собака, скуля, звала его. Сердце сильно заколотилось. Витя вскочил на постели. Да, ясно слышался тоскливый, душераздирающий вой. Как был в трусах, босой, Витя выбежал на двор, кинулся к собачьей конуре, откуда донеслось с тяжким вздохом протяжное стенание. Тощий, изболевшийся Палкан полз по земле, виляя хвостом и преданно глядя на Витю.

Мальчик присел на корточки, погладил его по голове с прижатыми ушами, с беспредельной тоской в глазах, на минуту сменившейся радостью при виде друга.

— Ну что ты? Что с тобой, Палкан? — заговорил Витя, с трудом сдерживая слезы. Он сел на траву, положил голову Палкана себе на ногу, продолжая ласково поглаживать.

— Больно, да? Чем же тебе помочь? Подожди, я сейчас... — Витя побежал в дом, пошарил в кухонном столе, нашел кусок торта и вернулся к Палкану. — На, съешь, съешь, — твердил он в растерянности, протягивая торт собаке, но она не стала есть, поскулила и затихла, глядя на Витю любяще, совсем по-человечьи. Влажные глаза не мигали, поблескивали в лунном свете, из них одна за другой скатились слезы. Витино горло перехватило удушье.

— Палкан, Палкан, — затормошил он друга, но собака уже была мертва.

Витя вскочил с земли, хотел разбудить отчима, чтобы он увидел мертвого Палкана и испытал угрызение совести, но тут же другое чувство остановило его: ненависть к убийце. Витя вернулся к собаке, постоял над ней, поплакал, взял возле сарая заступ, тот самый, подвернувшийся под

руку отчиму в темную ночь, пролез в дырку забора и в бурьянах, под кустом боярышника, принялся рыть яму. Серебрилась трава. С черного неба на Витю глядела одинокая луна. Бесперывно звенели, словно кого-то убаюкивая, цикады. Витя рыл яму, и тихие слезы катились по его щекам, и сердце болезненно сжималось.

Прежде он плакал от боли, обиды, но мимолетных, проходящих, как тучка по ясному небу. А эта боль запала так глубоко, горе казалось таким безысходным, положение настолько безнадежным, что в постели, вернувшись после похорон Палкана, как только голова коснулась подушки, Витя разрыдался в голос. Он закрылся одеялом с головой, чтобы его не слышали, совершенно расстроенный, не в силах совладеть с собой и весь тряся, как в припадке.

«Мама меня разлюбила, отчим ненавидит. И все это лишь за то, что я заступился за покалеченного, несчастного Палкана, за то, что всегда говорю им правду в глаза...» Нелюбовь мамы и отчима нельзя было поставить рядом, где-то в глубине души Витя признавал, что мама не может его не любить, но все равно было больно и одиноко.

Витя с трудом подавил рыдание, почувствовал на некоторое время облегчение, лег на спину, но слезы сами собой катились по щекам, за уши, на подушку. Он вспомнил, как волочил безжизненного Палкана, как бросал лопатой землю, зарывая, и грудь опять заколыхалась. Витя уткнулся в мокрую подушку, зажал рот ладонью: «Бедный, бедный Палкан, он даже не мог постоять за себя, посчитал, что избили его поделом, а не по тупой пьяной злости...»

Витя рыдал и затихал на время, снова рыдал, пока в полном изнеможении не уснул.

4

Длинна, пестра дорога к морю по улицам с кудрявыми акациями, которые не спасают от жары: в их тени так же душно, так же обливает пот, как в чайной, у пышащего жаром самовара.

Серебряковская переполнена курортниками. Над витринами магазинов нависли парусиновые полосатые маркизы с волнистыми фестонами, обшитыми красной или синей каемкой. Мальчишки обязательно по очереди перешлепают ладошками все фестоны, проходя под ними. Над толпой зонтики всяких расцветок. Люди ищут тени, осаждают киоски с газированной водой и мороженым. Цветастые сарафаны, тюбетейки, расшитые, как поповские ризы, соломенные брыли, легкие, как дым, газовые козыньки, — пестро, солнечно.

С наступлением жарких дней и до осенних штормов барклаевские ребята все дни на море. Но, увы, остался уже всего месяц каникул, а там снова учебники, зубрежка.

Камни обжигают голые ступни. Асфальт плавится, — идешь по нему, как по круто замешенному тесту. Ребята босые, в одних трусах, только

Женя в штанах и парусиновых тапочках: он подросток стеснительный и взрослее всех. Но рубашка снята, заброшена за спину, а рукава завязаны на шее узлом, как бант.

В перспективе улицы проглянуло море. От его синевы исходит прохлада. В это, по крайней мере, хочется верить. Синева поднимается стеной, сливается с небом, граница между ними чуть заметна. Непонятно, почему море так высоко поднялось, почему не затопило город. Но чем ближе к берегу, тем ниже синева. И вот уже море плоское и неохватно широкое.

По горизонту сверкает дорожка, как на вате под елкой бертолетова соль. По этой дорожке, в переливчатых солнечных лучах, движется белый двухтрубный пароход так медленно, что кажется, стоит на месте. Горизонт подернут дымкой, корабль какой-то призрачный, похожий на летучего голландца. Посмотришь на него минут через пять — над водой остался один только капитанский мостик да две мачты, а корабль словно погрузился в пучину. Вот он и совсем исчез. А вроде бы стоял на месте.

Прозрачная волна неспешно набегает на берег, журчит по чистой промытой гальке, такая ласковая, такая доверчивая, ну прямо-таки мурлыка-кот трется о ноги. Витя безмерно рад, что снова у моря, с барклаевскими ребятами. Он всем поодиночке рассказал о смерти любимого Палкана и каждый раз с надрывом в голосе спрашивал: «Понял? Понял?»

Он так часто плакал, что на его лице застыло выражение скорби, и не замечал, как был смешон. Он ждал сочувствия, но ни от кого его не получил. Ахмет, которому Витя по ошибке дважды поведал о Палкане, даже рассердился:

— О настоящем горе не говорят так много!

Да, Вите никто не сочувствовал, никому не было дела до какого-то Палкана, издохшего в какой-то станице Ленинградской (это он тоже вскоре понял с грустью и разочарованием). Лишь один Женя, знавший собаку, выслушал внимательно и сказал:

— Жалко. Хороший был пес.

Витя теперь жил с одной мыслью побыстрее стать самостоятельным и не есть хлеба отчима, которым тот его попрекал, а когда-нибудь возвратить долг с лихвой: «Получай! Я тебе уже ничем не обязан! И не жди от меня сыновней любви!» Витя живо представил, как отчим раскается, зальется слезами, упадет на колени и протянет Вите руки: «Не бросай меня. Вернись!» Но Витя уйдет с гордо поднятой головой. Сложность состояла лишь в том, где и как раздобыть деньги. На этот счет возникали разные идеи. В конце концов Витя остановился на одной, но для ее осуществления требовались помощники. Кого же взять в соучастники? Пока он не решился просить об этом даже Женю.

А тот на ходу разделся и, бросив одежду на камни, бултыхнулся в воду, поднял снопы брызг. С берега хорошо было видно, как он, сплусну-тый толщиной воды, пошел в глубину, исчез и долго не появлялся, потом

вдруг вынырнул свечой, мотнул головой с открытым, жадно хватающим воздух ртом и зашлепал руками по воде:

— Мирово! Чего сидите? Прыгайте!

Но ребята не спешили.

— Далеко ныряешь. Не наглотался воды? — спросил Лешка просто так, от нечего делать, и вяло зевнул.

Выйдя на берег, Женя растянулся на горячих камнях и засверлил мизинцем в ухе, пытаясь освободить его от воды. Смуглый телом, он загорел быстрее всех, напоминая гаванскую сигару. Лешка протянул ему два плоских камня:

— На, один приставь к уху, а другим постучи.

Женя взял камни, вскочил, запрыгал на одной ноге, наклонив голову, и пока освобождал ухо от воды, овальный след на серых голышах, оставленный его мокрыми трусами, сузился до пятка и совсем исчез, будто улитка спряталась в раковине. Снова кремни запылали жаром.

— Скоро в школу. До чего неохота! — горестно сказал Лешка и почесал голышом затылок.

— У тебя переэкзаменовка, поэтому неохота, да? — с насмешкой спросил Ахмет.

— Ага, — чистосердечно признался Лешка. — По истории. Вот гад! Не сдам, оставят на второй год в пятом.

У Вити на душе было не лучше, чем у Лешки. Изучение геометрии застопорилось на восьмом параграфе. Сидеть и Вите второй год в пятом классе, хоть вешайся от тоски! Спасение он видел вон там, за синим морем, задумчиво глядя на дальний гористый берег, где из ущелья выглядывали белые домики Кабардинки, а дальше, за мысом, был невидимый Геленджик. В том направлении уходили пароходы, там где-то были Дарданеллы, Босфор, Средиземное море, таинственная Африка, о которой ему столько уже поведали книги!

Рыжий Лешка сидя (лень вставать) выделял блинчики на воде, подбирая кремни поплотнее и запуская их в море, при этом разворачивался всем корпусом и швырял размахисто, того и гляди, оторвется рука и улетит вслед за голышом.

Ахмет читал Майна Рида, сдвигал и раздвигал брови. В последнее время и у него появилась страсть к чтению. Куда бы он ни шел, всегда за пояс засовывал томик про шпионов, сыщиков или ковбоев.

Тихий Котик из камней строил башню с бойницами, крепостную стену с зубцами, мост через ров, и это у него здорово получалось — залюбуешься!

Что-то случилось с ребятами: стали серьезными, уже не с тем азартом, как год назад, гоняли лапту, карамельки вообще забросили.

И Витя после станицы Ленинградской заметно переменялся, появились в нем угловатость, застенчивость. Он завидовал сверстникам, которые свободно выходили на сцену и читали стихи, непринужденно болтали с девчонками, да еще ловко ввертывали иностранные словечки, «пускали

пыль в глаза», как считал Витя. С удивлением смотрел он на знакомого мальчишку в одном любительском спектакле по сказке Пушкина. Совсем недавно сопляк, этот мальчишка точно, без тени смущения, подражал петуху на насесте, вскакивал на стул, взмахивал руками, как крыльями, голосисто кукарекал. А то, изображая царя Дадона, точь-в-точь старик, расхаживал по сцене, прихрамывал, побряхтывал и шамкал ртом. Витя и не подозревал, что можно так здорово передать в лицах пушкинскую сказку. И делал это его одноклассник — уму непостижимо!

Витя, наверное, онемел бы от страха, доведись ему предстать перед полным зрительским залом. И с незнакомой девчонкой не знал бы, о чем говорить, потерялся бы в первую минуту, что с ним раз уже было. Очень красивая Альбинова подружка битых полчаса пыталась его расшевелить, не подозревая, что мальчик потерялся именно потому, что она ему сильно понравилась, в конце концов сама надулась и ушла с другим. А иностранные слова, те просто не запоминались, ни одного Витя не мог произнести с уверенностью, что не соврал: для него одинаково звучали «шедевр» и «шедерв». Он считал ужасно образованным того, кто говорил: «Как элегантно вы одеты!» или о каком-нибудь предмете спора: «Элементарно!»

Витя мечтал когда-нибудь стать остроумным, образованным, красивым, модно одеваться, но пока лишь завидовал другим и утешал себя тем, что начитанностью не каждый может с ним сравниться. Действительно, никто из ребят не был так осведомлен по части индейцев, мокасин, лассо, бизонов, туарегов, пустыни Сахара и южно-американских прерий, ни в ком так не бродили бесовские скрытые силы. Дух захватывало, когда он думал о своем предприятии. В нем не обойтись без дерзости греков, расторопности Лешки рыжего и ловкости Жени. Сам Витя тоже сыграет не последнюю роль, хотя он готов уступить верховодство любому из друзей. Вот только не было уверенности, что его все поддержат, кто-нибудь не проболтается. Узнают родители, и тогда прощай Африка! Сказать или не говорить при всех? Кто самый надежный друг — Ахмет, Лешка, Женья?

В этот полуденный час небо глубокое, холодно-мраморное, так бы взвился на крыльях в его синеву! Когда смотришь вверх, мысли уплывают вместе с облаками. Покой, безмятежность, никаких забот, никаких волнений. Бабушкины «кучи», угрозы греков, угрызения совести как бы и не существуют. Витя отдается этой безмятежности, как птица, подхваченная воздушным потоком, отдается полету, недвижно распластав крылья.

Он лежит на спине, пригретый солнцем, блаженно полуприкрыв веки, и мысли его уже о том, что дома вовсе не плохо, стоит ли этот рай менять на Африку?.. Ах, если бы не переэкзаменовка по геометрии! Если бы не дядин скептицизм и бабушкины «кучи»! И сразу же в душе заскребли кошки, и снова стала желанной Африка. И уже перед глазами не белоснежные бесформенные нагромождения облаков, а надутые паруса боевого фрегата. На капитанском мостике загорелый, коренастый, с шотландской бородкой и трубкой в зубах Джеймс Кук. Он осматривает в подозрительную трубу Гавайские острова. На берегу — толпы голых безобразных по-

линезийцев, размахивающих пиками и бумерангами. А вон, за синими морями, за долами и горами — безлюдная и безводная Сахара. Окутанный розовой пылью, бредет верблюжий караван на закате солнца. Звенят колокольчики, перекликаются погонщики, важно восседают в седловинах верблюжьих горбов купцы в полосатых халатах. Они сворачивают в зеленый оазис, не замечая, как вдали белыми тенями замелькали на арабских пятнистых скакунах воинственные туареги, закутанные по глаза в свои бурнусы.

Купцы расположились под финиковыми пальмами. Они спокойны, ничего не подозревая, распахнули длинные халаты и, скрестив по-восточному ноги, курили опиум, потягивали из бутылок ароматный бальзам под журчание родника, как вдруг с криками и пальбой из длинноствольных ружей налетели туареги...

Дальше, на юг, в скалистых ущельях, между горами Лимпопо и Ваалем — алмазные рудники. Рабы-негры долбят породу, промывают ее в воде, выискивая светлые камешки, тверже которых ничего нет на свете. За ними зорко следят белые хозяева в пробковых шлемах с плетеными тугими хлыстами в руках, пощелкивают ими в воздухе и постукивают по кожаным крагам. Гигантскими грибами стоят в саванне тысячелетние баобабы (одно дерево укрывает собою целую негритянскую деревню), шелестят на ветру огромными раскидистыми листьями саговые и кокосовые пальмы, обвитые ползучими стеблями бегоний. Дурмящие запахи исходят от зарослей водяных лилий, мимоз... Но это уже настоящие джунгли, зеленое половодье Нигера. Тут душно и дурно от испарений. Витя чувствует, как лицо заливает пот, страшная тяжесть во всем теле. Он с трудом открывает глаза. Фу! Надо же в такую жару уснуть...

Все ребята разомлели. Котик, лежа на спине, закрылся кепкой, Ахмет — книгой, один Лешка знай себе бросает в рот одну за другой дикие маслины, которые он нарвал по дороге в приморском парке:

— Эх, скоро в школу. До чего же неохота!

«Сказать или не сказать?» — думает Витя.

— Эй, вы, сони! Слушай сюда! — Он останавливает взгляд на Лешке, который на минуту перестает жевать и ладонью стирает с губ мучнистый налет. Его и без того белесые брови совсем выгорели на солнце, точно присыпаны солью. Зеленоватые пронирливые глаза с любопытством зыркают на Витю:

— А чего не послушать? Говори!

Женя лежит вниз лицом, перебравшись с кремней на травянистую лужайку, откусывает розоватые с медовым запахом головки клевера, посаживает и выплевывает, босыми ногами мотает в воздухе, отгоняя липнувших к запотинам мух. Его стоптанные парусиновые тапочки валяются рядом с ним в траве. Он лениво поворачивается к Вите:

— Ты о чем?

Ахмет снимает с лица книгу. Котик садится, протирая кулаком глаза.

Витя собрался изложить свой план обстоятельно, давно продуманными фразами, как в географическом обществе герой одного романа, но вдруг сказал, сбивая с колена щелчком какую-то козявку:

— Мне тоже что-то неохота в школу. А можно и не ходить совсем!

— Ого! Придумал! — Ахмет покачал головой. — Отец три шкуры спустит!

— Я и домой не пойду.

— Где же ты будешь жить?

— Отправлюсь путешествовать по жарким странам. Это интересней зубрежки. Открытие можно сделать! Я читал в одной книге, сколько много еще мест в Африке, где не ступала нога европейца.

— Как же ты в Африку попадешь? Вот чудило! — рассмеялся Лешка.

— Добраться туда пустяк, было бы желание. Верно, без денег далеко не уедешь, но и это не сложная проблема, — заметил Витя, как бы рассуждая сам с собой.

— Где же ты хрустики возьмешь? На какие шиши будешь жрать? — Это, конечно, Лешка.

Витя бросил на него насмешливый взгляд.

— Да будет тебе известно, бледнолицый друг, в Африке есть деревья, на которых растут булки, только в сыром виде, а в отношении фруктов и говорить не придется: что ни шаг, то банан или кокосовый орех, финики или фисташки. Понял?

— До Африки надо еще добраться. А на чем? — допытывался практичный Лешка.

— Ну и недотепа ты! Главное, попасть в Турцию, а там можно поступить юнгами на пароход, идущий к берегам Африки, а это значит, во-первых, пройти испытания на мореплавателя, а во-вторых, подзаработать для дальнейшего путешествия. Понял? Понял? — выкрикнул Витя для большего убеждения.

Ахмет смотрел на него, открыв рот:

— Ты разве был там, что так уверенно говоришь?

— Не был, но знаю. Читал.

Лешку захватывают красочные описания Африки, изобилующей диковинными плодами, и он дотошно расспрашивает, уточняет, вызывая у Вити досаду:

— Не знает таких пустяков! А еще хвалился, что читал Жюль Верна!

— Читал. Побожиться, что ли?

— Как про Парижскую коммуну, да? — напомнил ему Витя курьез у доски. Учительница спросила Лешку, когда, какого числа произошла Французская революция.

Лешка засопел, почесал подбородок «Как его... В тысяча восемьсот... Вот гад, забыл!»

«Что еще за гад? Откуда у тебя эти слова-паразиты?» — возмутилась учительница и поставила Лешке жирный «неуд».

В разговор вмешался Ахмет, желая показать, что он тоже кое-что знает про Африку, вспомнил племя пигмеев, озеро Чад, открытое европейцами совсем недавно, в прошлом веке.

— Ну и чешете вы, как по писаному! — восхитился Лешка.

— Что ты ему рассказываешь? Все равно он никуда не поедет и еще насексотит дома, — добавил Витя больше для задора.

— Я насексотю? — Лешка даже покраснел от возмущения.

— Хватит вам! — примирил Ахмет ребят. — Давайте лучше подумаем, где хрустиков достать. — Он это сказал так, точно дело с Африкой было уже решено.

— Надо заняться рыбной ловлей, а деньги от продажи откладывать в общую кассу, — предложил Витя. Лешка усомнился:

— За два года не соберешь!

— А мы отправимся на рыбалку в Абрау-Дюрсо. Там в озере водятся королевские карпы килограммов по десять, я сам видел на кукане у одного рыбака двоих, как поросят. Эта рыба в цене. Будем ее продавать виноделам. Ну что — согласны?

Каждый знал Абрау-Дюрсо, бывшее царское имение с заводом шампанских вин, встроенным в горе, подвалы такие длинные, что можно заблудиться, а внизу, у подножия горы — большое пресное озеро. Никто из мальчишек не удил в нем рыбу, но про королевских карпов слышал.

— Завтра же отправимся в Абрау-Дюрсо! — сказал Витя, поднимаясь с земли.

— Прямо завтра? — удивился Котик. Намерение ребят его испугало. А что скажут дома? Уйти без спроса в Абрау-Дюрсо, а потом в Африку, навсегда оставив добрую, заботливую маму, инвалида-отца? Но подводить ребят тоже нехорошо. Котик тихо вздохнул: — Завтра, так завтра. Я не маменькин сынок. — Последнее было добавлено для собственного убеждения.

По дороге с моря Лешка все жался к Вите и допытывался:

— А ты не наврал про Африку? Ух, интересно. Я и не знал, что там всякого-всялякого!

— Сам увидишь.

— Ладно, еду. Мне бы книжку какую-нибудь про Африку. У тебя не найдется?

5

Когда грекам предложили составить компанию в походе на горное озеро, они притихли, решиться на такое без согласия родителей не посмели. Задиристые, независимые на улице, дома они держались тише воды, ниже травы. Недавно Алека невзначай возразил отцу. Тот побледнел и резко ответил по-гречески. Алека, точно дворняжка, поджавшая хвост,

побежал рысцей домой. А потом из раскрытых окон на улицу вырывался свист ремня, шлепки, визг...

Отец наверняка не отпустит сыновей в Абрау-Дюрсо, они побоятся ему об этом и заикнуться.

— Алека-калека, сдрейфил! Сдрейфил, ага! — дразнился Витя, показывая язык. Алека рассердился, забормотал ругательства, но в драку не полез, что в другой раз не преминул бы.

В это время мать позвала обедать, и греки взапуски побежали домой. Не только Витя, все мальчишки поняли, что они воинственны на обжитой улице, знакомой по каждой канаве, по каждому расшатанному столбу в заборе, а дальше нее робки и беспомощны.

— Ну их к грецу! Пошли мотать лески! — позвал ребят Витя к себе во двор.

Лески были волосяные и нитяные. Волос драли из лошадиных хвостов на базаре, в привозном ряду, с оглядкой, чтобы не заметил станичник. А не то получишь подзатыльник!.. Операцию выдергивания волос лошадь переносила легко, только с недоумением косила глаза на отчаянного мальчишку. Случалось, взмахнув хвостом, шлепала по лицу. Но, как правило, обходилось благополучно.

Быстро сучится под пальцами конский волос, потрескивая, как электрические разряды. Концы надо связывать морским узлом, восьмеркой, не хитро, но без навыка не получится. До двадцати метров в длину сучили леску, всю на узелках, зато прочную и эластичную — легко распутать.

Сплели несколько шнуров из обычных ниток, вытянули их поперек двора, перемежая белые с черными. Плели вдвое, вчетверо, вшестеро — на пудового карпа. По прочности нитяной шнур не уступал волосяному, но ценился ниже: часто запутывался. Приходилось пускать в ход зубы, убивать не один час на гордиев узел. Нет, что ни говори, а волосяная леска — мечта рыболова. Китовая жилка, понятно, лучше, но где ее взять? Разве только выменять за что-нибудь у моряков-иностранцев, но сейчас не было на это времени.

На лески-закидушки подвязывали до восьми крючков, делая поводки из того же конского волоса. Вместо грузила цепляли кусок пахучей подсолнечной макухи, а на крючки — распаренную кукурузу, макароны или раков. К вечеру все было готово и уложено в заплечные мешки, ребята договорились выступить с рассветом и разошлись по домам.

Ночью в постели разные думы беспокоили Витю, не давая спать. Как ни тяжело было, он решил покинуть родных навсегда. У бабушки отпросился в Абрау-Дюрсо лишь на один день, на большее ни под каким предлогом она не соглашалась. Мама вообще бы непустила. Но теперь он совсем выходил из-под родительской опеки, и было все равно. От этой мысли к горлу подступил комок и на глаза навернулись слезы. Так жалко стало себя, но еще больше маму и бабушку. Сколько он доставит им горя! А как иначе? Он собирался разом освободиться от всех пут и жить, посту-

пать, как герои приключенческих романов, но не в играх, не в мечтах, а в действительности.

Принимая роковое решение, Витя не задумывался, как, на что будет существовать, что сулит ему будущее. Он был в полном неведении и, как обычно в его возрасте, легко поддавался минутному настроению. Невыученный урок или проигрыш денег, которые бабушка дала на покупку мыла, рисовались ему страшным бедствием. Боясь наказания, он мог совершить проступок тяжелее прежнего: вовсе не пойти в школу или сбежать из дому на целый день, а то и в Африку.

* * *

По мере того как ребята углублялись в горы, солнце поднималось в зенит, тени сужались, прохлада отступала в затененные места, пряталась в рощах, в студеном родниках, в росинках на листьях и цветах. Зной уже опахивал лицо, как горячий воздух из пустыни. Плечи сильно припекало сквозь одежду. Витя тряс головой, сбрасывая катившиеся чередой капли пота. Они солонили во рту, щемили глаза, щекотали нос, повисая на его кончике. Ступни ног горели и покалывали.

В Абрау-Дюрсо отправились далеко не все, кто собирался. Котику строго-настрого запретили родители, а Женя сам отказался: поступал в артель по ремонту велосипедов и примусов учеником слесаря. Сдержали слово лишь Ахмет и Лешка, правда, и они не с легким сердцем оставили дом, но пока умалчивали о своих сомнениях. Необычная походная обстановка, горная дорога с красивыми пейзажами настроили ребят на веселый лад. Полпути только и было разговоров, что об устройстве на новом месте, о рыбной ловле. Выдумывали, фантазировали. Королевские карпы превратились чуть ли не в китов, а доход от их продажи виноделам достиг суммы, которой хватило бы на покупку вполне приличного парохода для путешествия в Африку.

Но голоса постепенно стихали, наконец, совсем умолкли, только слышалось сопение и кряхтенье. Все трое заметно притомились. Приходилось то взбираться в гору, петляя узкой козьей тропой, оступаясь на хрупком лещаднике, раздирая ноги о колючий кустарник, то бегом спускаться, увлекая за собой лавину камней, хватаясь за кусты, вырывая их с корнем. Съезжали и на спине, и на ягодицах, быстро перебирая впереди себя ногами, притормаживая.

После солнцепека, голых скал и желтой выжженной травы до чего же приятно попасть в рощу грецкого ореха, под тень деревьев, присесть у родника! Птичий щебет, шорох в кустах какого-то зверька, отовсюду устремленные на тебя, словно подсматривающие, глаза ягод терна и кизила, — природа приглашала ребят располагаться на ее лоне как им угодно.

Рюкзаки сброшены, а вместе с ними и усталость. Разбрелись кто куда. Витя забрался в кусты, и рот уже заполнен терпкой кисловатой мякотью кизила. Такого крупного и спелого, как здесь, вблизи города не сыщешь.

Прошуршала в листве дерева запущенная с силой сухая палка. На землю посыпался зеленый град. Это Лешка взялся сбивать грецкие орехи. Собрал гору. Ребята расселись вокруг и кто острым камнем, а кто ножом принялись счищать верхнюю оболочку. Кожа на пальцах враз сморщилась, стала коричневой, как у негров — не отмыть.

Сердцевина у молодых орехов горьковатая, если не очистить ее от кожицы. «Хрум, хрум», — слышалось, точно в конюшне. Наелись «от пуза» и еще в рюкзаки набили орехов, потом завалились в траву, по-летнему густую и пахучую у родника. Лешка лежал ничком, разглядывая насекомых и бросая в рот одну за другой ягоды терна, очень им любимого. Ахмет следил за полетом птах и движением облаков. Витя приник ртом к роднику и почувствовал, как ледяная вода потекла в желудок, будто и не вода, а новые силы вливались в него. Снова в поход!

— По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед... — затянул Ахмет, шагавший впереди. Его поддержал Лешка, и молодые голоса зазвенели над рощей:

— Чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот!

— Ооо... — покатилося эхом по ущелью.

— Ооот! — оборвалось где-то за горой.

В предвидении скорого конца пути ребята драли глотки, дурачились, изображали бойцов дальневосточной дивизии, а оплотом — Абрау-Дюрсо. Вот и белые домики под горой, вот и зеленое, как плита малахита, озеро.

— Ура! — закричал Ахмет и припустил вниз, к шоссе, куда выходила лесная тропа. Заметался, запрыгал рюкзак на его спине, из-под ног полетели камни.

— Ураа! — разом гаркнули Витя и Лешка, устремляясь за Ахметом, на бегу хватаясь за стволы деревьев и кусты.

В сельском магазине, продуктовом и вещевом одновременно, ребята купили крупы, соли, спичек, спустились к озеру, обогнули его и расположились на противоположном узком берегу, от которого сразу же поднималась крутая лесистая гора. Она была похожа на баранью папаху, вся в зарослях терна, шиповника, держи-деревя, молодых дубков, но, возможно, и не молодых, а мелкой породы этого дерева, прижившегося в горах.

Место было глухое, безлюдное. Озеро образовалось как бы в провале. Склоны горы под виноградники не обрабатывались из-за крутизны, поблизости ни жилья, ни дорог. Редкий по живописности уголок черноморского побережья.

Ребята сложили шалаш, рассовали по углам имущество, и отшельническая жизнь началась. Днем, стоя по колено в воде среди поросли рогозы с тугими шершавыми листьями, о которые легко порезаться, ловили крупную жирную красноперку на уху — только успевали закидывать лески. Не попавшую в котел рыбу солили и вялили на кустах.

Ночью втыкали по берегу метровые лозины с рогатинами на конце, каждую шагов через пять. За концы лозин привязывали закидушки, в ро-

гатину стопкой накладывали плоского камня-трескуна. Натянется леска, лоза согнется, камни посыплются. Рыба уже на крючке!.. С колокольчиками тоже были закидушки, но всего две.

Ночью хорошо брался карп на молодых раков, водившихся под камнями на мелководье. И леску забрасывали короткую: карп близко подходил к берегу в поисках лакомой добычи.

Никто до утра не смыкал глаз. Не успеешь снять с одного крючка скользкую упругую рыбину, как уже натянулась соседняя леска. Успевай поворачиваться! Иной карп выскользнет из рук, запрыгает, замечется по берегу, путая шнуры. Рыболов гоняется за ним впрыска с растопыренными руками, никак не поймает. А карп прыг, прыг и — в воду, поминай как звали!

Тут рыба ушла, там леска запуталась, а там колокольчик зазвенел — опять клюет. Попробуй усни в такую уловистую ночь!

Перестук колес поезда вдалеке, километров за десять, отчетливо раздавался над озером, эхом повторялся в ущельях, будто где-то на горе были установлены репродукторы.

Перед шалашом пылал костер, отблеск огня трепетал на прибрежной спокойной воде. Горел одинокий костер и на том берегу, похожий на таинственный блуждающий огонек.

Потрескивали ветки, пламя разгоралось, взметая вверх истлевшие листья, и они роились в воздухе, как мотыльки.

В котелке варилась уха, вкусно пахло лавровым листом. Сегодня за повара был Ахмет, он в нетерпении поднимал крышку, выпуская клубы ароматного пара, зачерпывал ложкой юшку и, обжигаясь, брал пробу. А Витя, вспомнив бабушкину приговорку, напоминал ему: «Недосол на столе, пересол на голове!» За ужином Лешка сердился на горячую уху, и ему Витя преподнес бабушкино любимое изречение: «Под носом ветер есть? Дуй!»

— Немного надуешь! — Лешка почему-то считал, что нужно дуть носом.

Ребята уже неделю рыбачили на озере. Дом, Барклаевская улица нет, нет и придут на ум, закрадется в душу сомнение: а правильно ли они поступили? Но мыслей своих никто не выдавал, а Лешка, тот вовсе не испытывал ни сомнений, ни угрызений совести. Об нем, изворотливом и пронырливом, родные особенно не беспокоились, других ртов в семье хватало.

На озере жратвы вдоволь, и Лешка запросто управлялся один с кастрюлей каши, съедал за день гору рыбы, которую пек в лопухах под углем и вялил на ветках кизила. Не жизнь, а малина!

Из леса кто-то вывалился на берег, бултыхнулся в озеро. Ребята приоткрылись, всматриваясь за границу света. Но ничего нельзя было разглядеть, только слышались всплески воды и фыркание.

— Опять топтыгин! — сказал Ахмет, востря ухо.

Каждую ночь в небольшом отдалении происходило это купание. Приняв ванну, топтыгин отряхивался и, ломая ветки, удалялся восвояси, куда-то за гору, без внимания к поселенцам на берегу: «Я вас не трогаю, и вы меня не замаете!» Но сегодня изменил свой маршрут.

— Сюда идет! — ахнул Лешка и выхватил из костра головешку. Ахмет потянулся за кухонным ножом.

В темноте что-то замельтешило, и на свет вышел мужчина в белой парусиновой панаме, в длинной свободной толстовке, с палкой в руке, поздоровался, присел на корточки, грузноватый, с крупным лицом и внимательными серыми глазами, зорко ощупавшими ребят.

— Отменно пахнет ваша уха! За версту слышно. — Мужчина приветливо улыбнулся. — Я в этом блюде толк знаю.

— Повар, значит, — робко уточнил Лешка.

— Могу и поваром, и токарем, и пекарем. У меня много профессий. Но есть главная...

— Какая? — смелее поинтересовался Лешка.

— Читал кто-нибудь из вас повесть «Джек Восьмеркин — американец»?

— Я читал! — обрадовался Витя, как, бывало, в классе, хорошо выучив домашнее задание.

— Эту книгу я написал.

— Вы писатель? — удивились все трое, веря и не веря: перед ними был обычный человек, шурудил в костре палкой и хитровато поглядывал из-под панамы маленькими колкими глазами. Витя представлял писателя чуть ли не богом, знающим волшебные слова, которые, как заклинания, превращают обычное в необыкновенное, а этот говорил и делал, как все, поел вместе с ребятами ухи и ушел в темноту.

— Говорит: «Хожу по России, набираюсь впечатлений». Максим Горький, что ли? — сказал Лешка, когда вдалеке затихли шаги.

— «Джека Восьмеркина» написал не Максим Горький, — возразил Витя. — Я читал эту книгу, оторваться не мог. Здорово написана. Вот только фамилию автора забыл...

— А вдруг это шпион! — выпалил Ахмет, с опаской оглядываясь, словно испугавшись своего предположения. — А что? Может, белоэмигрант, заброшен на подводной лодке из Турции. До берега добрался вплавь...

Лешка усомнился:

— Зачем ему тогда еще в озере купаться? Придумаешь ты, Ахмет! Начитался разных книжек про шпионов.

— Нет, правда. Надо бы его выследить.

— Спихватился! Ищи ветра в поле.

— Писателя превратили в шпиона. Чудаки, ей богу! — вмешался Витя, рассудив, а почему бы писателю с палкой в руке и не странствовать по долам и весям? Ведь ему, наверное, много надо увидеть, узнать прежде, чем написать книгу. Учительница литературы рассказывала, как Пушкин,

переодевшись в крестьянина, бродил по ярмаркам, да и тот же Максим Горький бродяжничал, правда, не по своей воле. Витя сделал важный для себя вывод: и эта вылазка в Абрау-Дюрсо, и предстоящее путешествие в Африку пригодятся ему в будущем, ведь он тоже собирался стать писателем!

Ночью ребята часто просыпались, по-разному думая о мужчине в панаме, прислушиваясь к лесным звукам, к плеску озерной волны. Но утром вернулось беззаботное настроение, тревога развеялась вместе с темнотой.

Ахмет и Витя, побежав к озеру умыться, взялись бороться — переплелись руками, пытаясь подставить один другому ножку или, схватив за шею, перебросить через себя, положить на лопатки. Витя был сбит, подмят, Ахмет уселся на него верхом, торжествуя, но побежденный изловчился, вывернулся, вскочил на ноги и турнул Ахмета в озеро, всегда превосходя его на воде: подныривал, хватал за ногу, тянул на дно. Ахмет пучил глаза, орал благим матом, боясь глубины, хотя плавал неплохо.

Им было лет по шесть, когда первый раз без родителей пришли на море. Волной к пляжу прибило бревно, и маленькие сорванцы ухватились за него, стали толкать вперед, подальше от берега, воображая, что это корабль, и вдруг обнаружили, что не достают дна. Страшно перепугавшись, подняли крик, визг, благо на пляже были люди. Ахмета взял на спину барклаевский юноша Костя, а Витю — какая-то девушка.

— Куда лезет мелюзга! Тут взрослых не успеаешь вытаскивать, — сокрушался дядя Костя, положив озябшего, трясущегося мальчика на горячий песок.

Ахмет с тех пор страшился глубины, а Витю это приключение заставило учиться плавать по-настоящему.

На море не проходило ни одного лета без происшествий: то паренек, прыгнув со скалы, не зная дна, разобьет череп о подводный риф, то подвыпивший мужчина захлебнется, и его, безжизненного, в иле и морской траве, долго откачивают на берегу... И все же море не отталкивало, не пугало, а притягивало и манило в свои синие дали, ребята росли, крепили на штормовом ветру. И если бы художник задумал изобразить детство черноморского паренька, то для натуры из всех барклаевских ребят он выбрал бы непременно Витю, белобрысого, с веснушками, облупившимся носом, облезшей кожей на плечах, с исхлестанными травой и ветками ногами, на которых ногтем можно расписаться, как на запотевшем окне. Он стоит на бетонных плитах мола босой, в линиях трусах, заскорузлых от рыбьей слизи и чешуи. В одной руке держит сдвоенный кулан голубоватых ставридок и окуней, а в другой моток нитяной лески и смотрит на лазурное, в легкой ряби море. Взгляд его перебегаёт с торчащих из воды колеи мережи, поставленной на камбалу вблизи берега, на черные спины резвившихся в бухте дельфинов и дальше — на белопалубный пароход уплывающий на юг. В широко открытых глазах мальчика — мечта об Африке.

Фигура подростка неотделима от моря, парохода, дельфинов, ослепительного солнца, простора, свежего бриза, она как один из семи цветов радуги...

Подурачившись, Витя и Ахмет взобрались на остов старой купальни. Подплыл Лешка, и втроем решили отодрать пол от свай, вытащить на берег для шалаша. Приподняли и бросились в ужасе врассыпную: под полом обнаружилось змеиное гнездо. Острые сизоватые головки с раздвоенными язычками, высунувшись из воды, устремились к берегу...

Потом сделали вылазку на соседнее, поменьше и помельче, озеро, где водились необыкновенно крупные раки, осмотрели черкесское кладбище, покосившиеся овальные каменные надгробья с полустертыми витиеватыми арабскими письменами, вечером тайком лазили на виноградники, набив сумки и пазухи пахучими гроздьями муската, и жизнь их шла без времени, без забот.

«А как там дома?» — думал Витя вечером, глядя через лаз шалаша в треугольник звездного неба, вдыхая густой запах завядшей травы и древесных веток, покрывавших «пол» и служивших кровлей. В это время бабушка, наверное, собирает ужин. На эмалированном плоском блюде — рябой, не поднимаешь, арбуз. Витя любил взяться за крученный, как у поросенка, хвостик, в то время как ножом срезали верхушку, и первому отведать арбуза, сообщить всем — спелый или зеленый. Кто это теперь сделает вместо него? Женя, конечно. Ему достанется и самый лакомый кусок — сахаристая сердцевина.

Разрезая арбуз, бабушка на минуту замешкается, представит внука на чужой стороне, одинокого, беззащитного, каждый может обидеть, и в глазах заблестят слезы:

— Где он теперь, бедняжка? Может, за весь день во рту росинки не было?.. А может, его давно уже нет в живых, волки разорвали на части в лесу?

Женя опустит голову и вздохнет. Но это не Женя, а сам Витя вздохнул — прерывисто, всхлипывая, с беспредельной нежностью и любовью к родным.

«Дорогая бабушка, Женя, — прошептал он в темноте или только пошевелил губами. — Я живой и здоровый, не беспокойтесь обо мне, завтра же вернусь...»

6

До города добрались в полдень, распаленные дорогой, с пересохшими от жажды губами. Остановились на кладбище, в дубовой роще, откуда просматривалась вся Барклаевская улица. Витя увидел Женю и Альбину — переговаривались через забор. Окликнуть и не подумал: придется идти домой, выслушивать бабушкину нотацию. А то и бельевой веревки схватишь. При мысли об ответе за двухнедельное бродяжничество Витю бросало в дрожь, бабушка представлялась уже другой, чем в Абрау-Дюрсо —

ворчливой, злой. Ахмет тоже боялся, не шел домой. Лешка, хоть и не боялся, остался с ребятами за компанию.

Денег на Африку скопить не удалось: рыбу виноделам сбывали с трудом и по грошовой цене, едва хватало на крупы и масло для пропитания. У Вити, казначея, всех сбережений насчитывалось рубля три, на них купишь с десяток пирожков, и только.

Вокруг ребят собралась босоногая мелюзга барклаевской улицы, быстро пронюхавшая о возвращении путешественников. В дорожной пыли, с рюкзаками за плечами, побывавшие на далеком озере Абрау, они выглядели в глазах малышей героям.

— А правда, что вы в Африку едете? А правда, что купите настоящее ружье? А правда... — засыпали вопросами путешественников, которые и не подозревали, что их планы получили широкую огласку, вся улица уже знала. Наверное, постарались греки.

На кладбище дальше оставаться было опасно, того и гляди, нагрянут родители. Припрятав снаряжение в пустом склепе, ребята оправились на море смыть дорожную пыль и предпринять что-то определенное. Спустились к базару в торжественном сопровождении оркестра из свистулек: наступила пора созревания желтой акации. Стручки ее лучше всего годились на свистульки. Малыши набивали ими карманы, а потом доставали по одному, сдирая узкую кожуру на шве, разворачивали дольки и ногтем счищали фасолины. Дольки снова соединяли, кончик откусывали, и свистулька готова! Немало стручков надо перепробовать, прежде чем раздастся сильный, «спелый» свист. И вот у малышни изо рта торчат стручки, идет соревнование, кто кого пересвистит — в ушах щекочет от пронзительных звуков «оркестра».

Музыканты разбежались лишь после того, как Лешка пригрозил первого попавшегося отдать цыганам. Вроде недолго отсутствовали ребята в городе, а родная улица почужела, на базаре все по-другому. Откуда-то наехали цыгане и наставили своих драных шатров среди обшарпанных подвод, заваленных пестрым тряпьем. Грязные голые цыганята выпрашивают подавание, обещая за пятак потанцевать на пузе, гадалки с колодами карт назойливо пристают к прохожим, бородатые мужики в жилетах, с выпущенными поверх шаровар красными рубашками, в разбитых пыльных сапогах позванивают связками подков, ухнарей, разных кованых поделок, проходя мимо подвод станичников:

— А ну, дядька, меняем гарбуз на ухняря! Гей, дядька, давай лошадь подкую, давай спицу замену на колесе!

Станичники хмуро встречают цыган, редко что-нибудь покупают, чаще отмахиваются.

— Проходи! Проходи!

На базаре цыгане разговаривают между собой, словно разыгрывают представление: для них не столько важно, о чем они спорят, сколько важно произвести впечатление на зрителей. Только что горячились, кричали

друг на друга, намереваясь пустить в ход кулаки, и вдруг цыганка оборачивается к прохожему как ни в чем не бывало:

— Давай, красавец, погадаю! Давай, солнышко, правду расскажу!

Перестук молотков на наковальнях, запах каленого железа и конского навоза, визг, ругань, пляс подвыпившего пожилого цыгана, который словно что-то вколачивает в землю сапогами, выкрикивая бесновато: «Сага баба, ай люли!» — таким открылся ребятам табор вблизи базара.

О цыганах Витя слышался разного, смешного и страшного. Маленького бабушка пугала: «Не будешь слушаться, отдам цыганам в табор! Будешь далеко забегать от дома, украдут цыгане!»

Смеясь, взрослые рассказывали при случае, как цыган цыгана утешил в стужу: «Холодно? Надень шляпу и не трусь!» А когда солнце поворачивало на весну, говорили: «Цыган шубу продает». Словом, цыгане занимали не последнее место в жизни барклаевцев. Проходя мимо табора, Витя не удержался, подковырнул Лешку:

— Погляди, нету здесь твоих родственников?

Дело в том, что одно лето Лешка провел в таборе, ездил по кубанским станицам, помогал менять лошадей, а если представлялся случай, то и крал, как он однажды проговорился. Тайно исчез, тайно и вернулся домой, привлекая к себе внимание детворы. Но Лешка отмалчивался, и, чтобы у него выпытать толику о цыганах, требовался, по меньшей мере, яблочный пирог целиком.

В эту предосеннюю пору привозы были богатые, прилавки завалены всем, что дарила щедрая кубанская земля. Станичники торговали с возов арбузами, дынями, кукурузой в початках, пшеницей, просом и мукой «нулевкой» в мешках с отвернутыми краями, чтобы лучше был виден товар. Подходил покупатель, брал щепотку «нулевки», мял между большим и указательным пальцем, пробовал на язык. Хороша и для пирогов, и для хлебов! С задранных вверх оглоблей свисали низки вяленой темрюкской тарани, такой жирной, что спинка просвечивалась, как стеклянная. Стопами один над другим лежали распластанные просоленные и провяленные, с желтыми наплывами жира, чебаки, грудились круги сальтисона, домашней с чесноком колбасы. А в бочках и макитрах в рассоле плавала брынза. Не брынза, а масло!.. Болгары торговали красным стручковым и зеленым сладким перцем, связками лука, каждая головка в добрый кулак, синенькими, кабачками, всяким огородным слетьем, чехи — виноградом, в бочках рислингом. Пососет долговязый чех резиновую трубку, и в стакан потечет струйкой кисловатое янтарное вино. Полтинник стакан. Пей — не хочу! А греки разложили на прилавках, как ядра, засушенный на солнце козий катык. Ударить о землю — не расколется. Наверное, еще Александр Македонский запасал катык для своих дальних походов, потому что редко какой другой молочный продукт так долго сохраняется. Есть катык с непривычки не захочешь, очень кислый. Но тот, что помягче и содержится в макитрах, как творог, можно вперемешку с маслом намазывать на хлеб.

Греченята шныряют в толпе с пузатыми эмалированными чайниками, надрывая голоса.

— Хо-оло-одная со льдом!.. Копейка кружка, копейка кружка!

— Буза! Буза! Кому буза? Прохладительный освежающий напиток!

Витя узнал отца Ахмета. Из большого оцинкованного жбана он разливал по кружкам мутную хмельную бузу, сваренную на просе. В одной руке половник, в другой — жестяные кружки, сразу три. Возле бузы и без зазывания всегда толпился народ. У этого напитка, как и у пива, много любителей.

Витя поискал глазами Ахмета, но тот, как сквозь землю провалился: испугался отца.

— Мальчик! Витя тебя звать, да? Подойди ко мне, — позвал худой, тонконогий перс, уставив на Витю свои огромные зеленые глаза, и закивал длинной лысой головой, на макушке которой непонятно как держалась красная феска с кисточкой. — Иди, иди, не бойся... Скажи мне правду, где Ахмет?

— Не знаю... — робко отвечал Витя.

— Как не знаешь? Почему не знаешь?.. Вы вместе ходили в Абрау-Дюрсо?

— Вместе.

— Где же Ахмет?

— Только что шел рядом.

— Убежал? Ай, ай, какой глупый мальчик! Скажи ему, что я пальцем не трону. Пусть идет домой.

Витя уже заметил поодаль поглядывающего с беспокойством в их сторону Ахмета и замахал рукой, приглашая подойти. Ахмет с опаской, нерешительно приблизился, но на такое расстояние, чтобы отец не мог его достать половником.

— Ахмет, Ахмет, почему ты такой, а? Почему не слушаешь своего папу? Сколько раз я тебе говорил: спроси, прежде чем валять дурака! — запричитал отец, качая длинной головой и кисточкой на феске. — Ну подойди к своему папе... Не стой так далеко, я тебя не съем!

— Ты ударишь.

— Не ударю.

— Тогда половник опусти. Зачем так держишь?

— Хочу вас оболтусов бузой угостить.

— Если ударишь, совсем убегу из дому! — предупредил Ахмет, подходя к отцу, в то время как он, черпая половником в жбане, налил три кружки бузы.

— Пейте, мальчики, набирайтесь сил. Небось наголодались на подножном корму?

Не только у Ахмета, но и у Вити как гора с плеч: одному из них простили, взбучки не будет. Ахмет как бы вышел на свободу из заключения, вздохнул полной грудью, а Витя сквозь решетку машет ему рукой и завидует и с трепетом ждет своего приговора.

Было воскресенье, подвод наехало с ближних и дальних хуторов и станиц видимо-невидимо. Под ногами — пылища, сверху — палища, и повсюду гудящий людской улей. Босые ноги ступают на конский помет, затоптанные шматки сена, арбузные корки, раздавленные помидоры. Солёный пот заливает глаза. Базарная пестрота, разные запахи, звуки рассеивают внимание, оглушают, сбивают с панталыку. А тут еще от бузы закружилась голова. Витя бредет между рядами возов, как во сне. В конце их, на пяточке, расхаживает медведь, высунув красный язык и роняя в пыль слюну. Жарко бедняге в шубе, но хозяин гремит цепью, приказывает:

— А ну покажи, как пьяные валяются!

И Мишка падает в пыль, задирает кверху лапы и качается на спине.

— А как бабы парятся в бане?

Мишка садится и обдаёт свои бока пылью.

Толпа гогочет.

— А как цыгане коней крадут?.. А как молодница ходит по воду?..

Все показывает смысленный Мишка и, схватив хозяйский картуз, топорно, переваливаясь с боку на бок, обегает круг, просит честно заработанную копейку.

Дальше толпа — не протиснуться: на расписном органе выделяет разные кренделя мартышка в красной маленькой феске на голове, как у отца Ахмета, только привязанной за подбородок матузком. Дальше — попугай вытягивает счастье в конвертике за пятак. Еще дальше, под горкой, в широком кругу, бегают фокусник-лезгин, глотает кинжалы, пьет керосин и отгрызает пламенем. Его товарищ с длинным шестом ходит по канату, приседает, пританцовывает, скользит на одной ноге...

Но больше всего мальчишек привлекала карусель — скачут кони, олени, волки. Из органа, спрятанного в медленно вращающейся тумбе с красочными картинками, звучит грустный старинный вальс. Хочешь покататься, пожалуйста, лезь наверх с другими такими же охотниками, раскручивай колесо, налегай руками на расходящие от столба веером стропила и отталкивайся ногами от упоров на полу. Это напоминает кружение на лошади с завязанными глазами вокруг колодца на поливе. Сквозь щель в полу видна внизу конская шея, за которую цепко ухватились чьи-то руки. А когда сам сидишь верхом на коне, то, задрав голову, видишь ноги пацанов, бегущие навстречу. Раз покрутишь, раз покатаешься.

А качели! Дух захватывает, как высоко взлетают лодки. Но тут нужен гривенник, ребятам не по карману, да и устали страшно от карусели, еле бредут, глаза по сторонам: и того хочется, и этого, а денег — кот наплакал.

«Плачьте очи, сами видели, что брали», — сказал цыган, купив на гроши, что больше дадут: охапку хрена. Так и ребята взяли на рубль ведро незрелых слив, ели, кривились, но молчали.

— Куда пойдем купаться? Давайте поближе, на бетончики. — Вите тяжело тащить сливы в рубаше с завязанными рукавами вместо сумки.

— Лучше на косу, в открытое море! — предложил Ахмет, который после отпущения грехов готов отправиться хоть на край света.

— Туда далеко, — возразил Лешка, но и на бетончики, в шумную грязную бухту, не хотелось после озерной тишины и чистоты.

— На «кукушке» прокатимся, два рубля осталось, — настаивал Ахмет.

Долго не спорили, согласились с Ахметом.

Из города на косу, к Мысхако, бегал бойкий паровозик с четырьмя открытыми вагонами, прозванный «кукушкой» за отрывистые пронзительные гудки, напоминавшие отдаленно лесное: «куку».

«Кукушка» связывала центр города с пляжами, купальнями, парком имени Демьяна Бедного. Лучше всего купаться на косе, в открытом море, и вода чистая, и берег галечный, приятно поваляться, позагорать. Отплывешь на глубину, разбросает в сторону руки и ноги, лежа на спине, и волна, покачивая, постепенно прибьет тебя к берегу и осторожно положит на гладкую гальку. Такой прибой в тихую погоду, когда большие волны без гребешков размеренно накатываются из неведомых далей, называется «мертвой зыбью». Но почему «мертвой», если совершенно безопасно качаться на спокойных волнах, отголосках далеко прошумевшего шторма?

Сегодня волны были высокие, с двухэтажный дом, но ребят это не испугало, разделись догола (одни на всей косе) и храбро бросились в мутную прибрежную полосу прибоя. Отодранные, поднятые со дна водоросли, жесткие бурые и мягкие пузырчатые зеленые, грязные побитые медузы, укачанная рыбешка, смолистые щепки, верно, остатки разбитого вдрызг баркаса, — чего только не вертелось, не трепалось, не билось в прибрежном коловороте! Спадающая волна подхватила, утянула ребят за собой, словно кашалот в свою необъятную пасть, но набежавший вал вытолкнул назад, на берег, и началась борьба с этим исполинским зверем. Не просто вырваться из цепких лап прибоя, выплыть на чистую воду, как и потом, накупавшись, нанырвавшись, выбраться на сушу. Бывало, ноги уже коснулись дна, спавшая волна подталкивает в спину, Витя спешит достичь границы прибоя, где морская стихия уже бессильна. Но подоспевший огромный вал накрывает его с головой и утаскивает с собой в бездну. В глубине шуршит, позванивает галька, перекачиваемая водяным потоком, над головой слой воды в несколько метров, грудь распирает, как накачиваемую насосом камеру. Делая отчаянные усилия ногами и руками, Витя отталкивается от дна и выскакивает на поверхность, в пенистую седловину между настигающих друг друга валов. Они такие высокие, с белыми вихрящимися гребнями, что не видно ни берега, ни морской дали. В седловине ветра нет, штиль, можно лечь на спину, отдохнуть в слабом круговоротном течении. Но недолго: настигающий вал подхватывает и выносит на бурлящий, свистящий гребень. Отсюда, как с вышки, открывается морская даль, на горизонте пароход с запрокинутой назад трубой, точно в заломленной кепке, и берег, по которому, у самой воды, бегают, прыгают, машут руками голые мальчишки.

Витя не успел оглядеться, как уже низвергнут с высоты и вместе с секундами тело мелкими камешками и песком выброшен на берег, подобно потерпевшему кораблекрушение. Он вскакивает на ноги и что есть мочи бежит вперед. Вода уже по грудь, по пояс, по колено, по щиколотку — успеть бы вырваться из водяного плена! Вот и обнаженные камни, по которым скатывается мутно-пенистая иссякающая волна, журчит в промоинах ручейками. Здесь она совсем бессильная — лизнет гальку кончиком языка и назад. Витя в полной безопасности. Но победа досталась нелегка. Его бросает из стороны в сторону, ноги дрожат, ступают неверно. Витя крепится, улыбается синими губами, не подает виду, что ослабел, боясь как бы ребята не прилепили злое прозвище «моряка с погорелого корабля». А когда он бодрый, неунывающий выходит из самых трудных положений, его и зовут не по кличке, а по имени, ласково — Витек.

Солнце закрыла туча. Похолодало. Кожа на теле взялась пупырышками. Не попадая зуб на зуб, с красными от морской соли глазами (ныряя, Витя никогда их не закрывает), он лег на теплые кремни, рассовал, сделал ложбинку. Ветер порывами пробегает по спине: бррр... Спрятаться бы совсем от него, но голыши, если копнешь поглубже, мокрые и холодные... Лето уходит, скоро осень. Витя прижимается плотнее к нагретым кремням, кладет голову на поджатые влажные руки, вдыхая припахивающую морской травой испарину. А ветер все холодит спину, никуда от него не спрячешься. Витя вскакивает, бежит подальше от воды, к серому крупному песку, горстями нагребает его на себя, зарывается по самую шею. Так скорее согреешься.

Как же дальше быть? Ахмету все простили, он с моря напрямик направится домой. А Витя только представит бабушку с бельевой веревкой или даже без нее, но сварливую до невозможности — жить не хочется!

— Ахмет, слышишь, давай договоримся. Придешь домой, узнай, как там и что у нас, не приехал ли кто, может, мать, может, отчим. Лады?

— Лады.

Витя проводил друзей до порта, а сам остался на бетончиках поджидать возвращения Ахмета. Месяца два назад сюда навезли зачем-то горы песка, как видно, для ремонта пристани. На нем боролись, кувыркались, делали стойки знакомые мальчишки, тоже нахаловские, но с других окраинных улиц. В порту перекликались гудки буксиров, лязгали якорные цепи, скрипели лебедки, а в приморском сквере из репродуктора звучала грустная мелодия, исполняемая на рояле. И Витя вспомнил, как 18 июня он так же лежал на песке и слушал радио. Музыка оборвалась, начал говорить диктор что-то о Максиме Горьком. Витя наострил ухо, приподнялся на локте, весь потянулся к репродуктору. Диктор читал некролог. Писатель умер. Странно, что никто из мальчишек не обратил внимания на печальное известие. Они по-прежнему кувыркались, визжали, бросали друг друга песком.

— Максим Горький умер! — крикнул им Витя, и все на минуту притихли.

— А-а, это уже передавали, — сказал какой-то пострел и сделал стойку на руках. Мальчишки снова принялись за свое. Для них Максим Горький мало значил, а в жизни Вити занимал столько места, так часто и много заставлял о себе думать!

Он давно полюбил этого писателя, считал самым добрым и отзывчивым человеком на свете, читал его книги запоем, и очень близкое, понятное раскрывалось в них, история босняка Челкаша произошла будто в этом порту, на этой пристани, где сейчас валялся на песке Витя, среди этих черных осмоленных баркасов, под крик чаек и перебранку грубоватых, в высоких сапогах биндюжников, пропахших рыбой и солью. Разудалый купец Фома Гордеев, распутная баба Мальва, старая цыганка Изергиль у костра в южной степи, и сам Максим Горький, ночующий под лодкой, опрокинутой вверх дном, навсегда запали в сердце Вити. Казалось, он с ними не раз встречался, разговаривал, сидел у костра, ел печеную картошку, слушал сказки, помогал месить тесто в булочной. Он хорошо знал сутулую длинную фигуру с грустно опущенными книзу усами не только по портретам и кинохронике. Не раз видел во сне. Как-то Максим Горький потрепал белые Витины вихры и заокал по-волжски:

— Чтобы прилично писать, надо много знать, молодой человек. Я пешком обошел всю Россию, побывал за границей... А вы что видели? Абрау-Дюрсо? Смешно подумать!

И теперь Витя, с кем бы ни встречался, что бы ни замечал интересного, говорил себе: «Это надо запомнить, это когда-нибудь пригодится. Так советовал Максим Горький!»

У Вити не получалось по-задуманному: собирался сочинить стихи про Нину, а написал про Аполлона, потому что Аполлон и «он» легко рифмовались. Вышло смешно: любимую девушку превратил в греческого бога, еще бы куда ни шло в богиню. А простые обиходные слова никак не приходили на ум или не вязались с высоким слогом. Витя страшно мучился, подбирая рифму и силясь грамматически правильно выразить мысль. Совсем недавно, правда, опять же во сне, он неожиданно свободно сочинил стихотворение, да какое! Все было в лад, все здорово — душа пела. «Надо сейчас же записать на бумагу, а то проснусь и забуду!» — подумал Витя, и чего боялся, то и случилось: проснулся, стал припоминать, пыжился, пыжился, но так и не вспомнил ни одной строчки.

Стихи писали многие подростки и даже парикмахер дядя Костя. Однажды он звал Витю к себе в холостяцкую комнатку, пропахшую одеколоном и фиксатуаром, усадил на стул, сам сел на кровать и сморщил узкий лоб, на который свалилась прядь намасленных волос

— Извините, я слышал, что вы сочиняете стихи, так сказать, коллега... Не хотите послушать небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений? — И достал из чемодана под кроватью клеенчатую общую тетрадь, до последней страницы исписанную витиеватым старомодным почерком:

Поверь, мой друг, нет лучше поры для вдохновенья,
Когда весь дом сотрясается от ветра
И на Сахарной головке скорость норд-оста
Достигает 1000 метров в секунду!

В таком духе и стиле были сочинены все стихи, осилить тетрадь не хватило бы никакого терпения. Скрепя сердце Витя прочел страниц пять.

— Ну как? — в нетерпении спросил дядя Костя, впиваясь в мальчика колким взглядом непризнанного поэта.

Витя робко заговорил о нарушении размера и отсутствии рифмы.

— Это стих моего изобретения! — оборвал его дядя Костя обидчиво и бросил тетрадь в чемодан. — Без новаторства не может быть поэзии. Читайте Маяковского, коллеги!

— Хорошо. Прочитаю! — тихо пообещал Витя и встал со стула, чувствуя себя страшно неловко, торопясь распрощаться, не понимая, почему дядя Костя выбрал в судьи его, тринадцатилетнего мальчишку, и еще долго на душе оставался неприятный осадок, словно в поэзии парикмахера Витя, как в зеркале, увидел собственное бумагомарание. Только вот кто кого превзошел «новаторством», трудно было определить. К рифмам пропал интерес. Нет, стихи — это не его дело, надо написать что-нибудь серьезное, прозаическое, как у Максима Горького.

Витя засел за рассказ. Кто-то от кого-то убегал дождливой ветреной ночью в непролазных лесных дебрях, цепляясь за лианы, натываясь на волокнистые стволы пальм... Опять Африка! Это Витя понял, когда рассказ уже был готов. В журнал послать постеснялся, а попросил оценить свое произведение Нину, взяв с нее слово об этом никому ни гугу. Нине рассказ понравился.

— Как это ты смог? — удивилась она.

— А-а, что тут хорошего! — отмахнулся Витя, но в душе был польщен и хотел послать рукопись Максиму Горькому, спросить совета, стоит ли заниматься сочинительством. Пока собирался, тот взял и умер...

7

По приморскому скверу шли раздетые Нина и Альбина, наверное в кино, увидели Витю:

— Ой, ой, откуда ты взялся?

— Ходил с ребятами в Абрау-Дюрсо.

— Как здорово! Я бы с удовольствием там побывала. Говорят, очень красиво! — затараторила Нина, но было видно, что ей хотелось не столько в Абрау-Дюрсо, сколько обратить внимание и на себя, и на свое новое голубое с атласной отделкой платье. — Мы идем на Серую! (Так подростки между собой называли Серебряковскую главную улицу, по которой в субботу и воскресенье трудно было протиснуться сквозь гуляющую публику.) Не хочешь с нами?

— Что ты выдумываешь! — возмутилась Альбина. — Как он пойдет, если еще не был дома? И вид у него, как у босняка.

— Ну тогда беги переодевайся. Мы будем на Серой.

Уходя, Альбина обернулась и сказала многозначительно:

— Дядя Леня приехал к вам!

До чего же девчонки легкомысленные, Альбина еще кое-что соображала, а Нина совершенно не поняла состояние Вити, у которого на сердце лежал тяжелый камень. А известие о приезде дяди Лени поставило его в очень затруднительное положение.

Солнце уже садилось в море, нахаловские мальчишки давно ушли домой, на бетончиках остался один старик рыбак, изредка вытаскивая на закидушки небольшую зубастую рыбешку без чеши — гольцов. Ахмета все не было. Витя жаждался его, подходил к старику, наблюдал за ловлей, завидовал порядку в рыбацком хозяйстве: на разостланной подмоченной газете — рассыпанная куча креветок или, по местному, рачков, в большинстве своем одни головки, хвосты пошли на наживку, в корзине среди шнуров и жестяной коробки из-под зубного порошка с крючками и грузилами — живой, в черных пятнах еж: одна колючая голова с выпученными глазами, такая большая, что туловища как будто и нет, и около десятка гольцов без движения, как уложенные в ряд после боя честно погибшие воины. В корзине была и горбушка серого хлеба с корявой поджаристой корочкой, так бы аппетитно умял ее Витя! Сливы набили оскомину, смотреть на них не хотелось.

Старик сидел на скамеечке, покуривал папироску и не спускал глаз с лесок, прижатых круглыми кремнями к бетону, на Витю не обращал внимания.

— Не хотите слив? — предложил Витя в надежде получить взамен ломоть хлеба. Старик посмотрел на отвисавший кошель рубахи, который Витя держал обеими руками, и, наверное, подумав, что сливы из чужого сада, сказал равнодушно:

— С пятток, больше не надо. Зеленые?

— Зеленоватые, но ничего, есть можно. — Витя щедро отсыпал слив, посидел возле старика еще немного и вернулся на песок, так и не осмелившись попросить хлеба. Он уже намеревался податься к Барклаевской улице и все колебался, опасался разминуться с Ахметом, в нетерпении ходил от бетончиков к скверу. На глаза попался малыш из соседнего коммунального двора с пряничным конем в руке. Сильнее прежнего засосало под ложечкой. На языке так и вертелось: «Дай кесик!» — но Витя лишь спросил:

— Ты откуда идешь?

— От тети Люси.

— Что ты там делал?

— В гостях был. — Малыш откусил коню ногу и посмотрел на Витю вопросительно, не замечая судорожных глотков.

— Слив не хочешь?

— Хочу.

Витя отсыпал и ему за пазуху несколько горстей.

— Знаешь Ахмета? Живет в вашем дворе. Сходи к нему домой, скажи, чтобы бегом шел на бетончики. Скажешь, не забудешь?

— Не-ет.

— Ну иди.

У своего ровесника Витя не постеснялся бы попросить кесика, а у малыша было стыдно. В кармане оставалось полтора рубля, их вполне хватало на приличный обед в столовой, но деньги были общественные, растратить даже пятак — опозориться на всю Нахаловку. Витя позванивал в кармане серебром и поглядывал в перспективу улицы. От Лешки ожидать нечего, а Ахмет непременно принесет что-нибудь поесть.

— Ляма! Привет! — Греки, все три брата, шли по скверу и метали орла. — Тебя бабушка разыскивает, в милицию заявила. Был дома?

— Был, — соврал Витя, не желая плакаться перед греками.

Алека подбросил и на лету поймал пятак.

— Ты кого ждешь? Ахмета? Отец запер его в подвал, не пускает на улицу. А Лешка сбежал к цыганам, так его сильно побила мать. Сыграем?

Алека положил монету на ноготь большого пальца орлом вверх. Пятак был царский. Старых денег до сих пор немало оставалось в семьях, бумажных и мелочи. Греки дурили торговков семечками, всучивая в сумерках вечерних улиц царские деньги, почти одинакового цвета и размера с советскими. Медяки мальчишки применяли в своих играх, особенно увесистые пятаки, которые хорошо было набрасывать один на другой. Витя смотрел на монету и раздумывал: метать или не метать орла? Страшно было проиграть общие деньги. Но своих компаньонов ни сегодня, ни завтра он, наверное, не увидит. А тут, смотри, удастся выудить полтинник у Алеки на пирожки, хотя заставить этого «вигаду» раскошелиться так же трудно, как морского петуха кукарекнуть.

— Давай, — рискнул Витя.

— На сколько?

— На двадцать копеек!

Ставка была высокая. Алека заколебался и посмотрел на братьев, Милику и Василаду: как быть? Те подмигнули: соглашайся!

Пятак, вертясь, полетел вверх, и Витя с напряженным вниманием следил за ним: кому улыбнется фортуна? Пятак, описав в воздухе дугу, стукнулся о мостовую, подпрыгнул и покатился по прямой линии. Идя следом, Витя растопырил руки, придерживая напивавших на него греков. Пятак наткнулся на ножку садовой скамейки, лег плашмя. Решка.

— Фурий теперь ты, — сказал Алека скучным голосом.

— А рассчитывать кто будет?

— Потом.

— Когда потом?

— Когда рубль проиграю.

— А у тебя он есть? Покажи!

— А у тебя?

Витя зазвенел в кармане серебром, вытащил горсть. Нечего делать, Алека раскрыл свой кошелек, долго рылся, наскреб двадцать копеек и зажал в кулак, не спеша отдавать.

— Фурай! — сказал он.

— Сначала рассчитайся!

Алека замялся, засопел. Но Витя терпеливо ждал, играясь с монетой, подбрасывая и ловя.

— Будешь рассчитываться или нет?

Алека скрепя сердце отдал деньги.

— На пятак, — сбавил он ставку до минимума.

— Ты что! — рассердился Милика, старший брат. — С такими ставками в жизнь не отыграешься. Мечи на двадцать!

— Давай на двадцать, — с неохотой согласился Алека.

— А у тебя их нет, — сказал Витя, заметив в кошельке остачу не больше гривенника.

— Наберется.

— А ну посчитай.

— Говорят, есть, значит, есть. Фурай.

— Ну держись, Алека-калека, нечем будет расплачиваться, пеняй тогда на себя!

Витя подбросил монету, и она упала орлом.

— Все. Проиграл. Рассчитывайся!

— Еще фурай.

— Так не пойдет. Гони монету!

— Чего ты боишься, Ляма? Отдаст, — вмешался Милика. — Не хватит своих, так у меня возьмет. — Он вытащил из кармана кончик зеленой бумажки, похожей на трояк, и сунул назад. Витя усомнился, что это были советские, а не царские деньги, но все-таки метнул. Выпала решка.

Алека самодовольно заулыбался, поднял с мостовой монету, собираясь метать в свою очередь:

— На сколько?

Но у Вити пропала охота с ним играть.

— Говори, на сколько? На двадцать, да? — приставал Алека, держа монету на отлете и примеряясь бросить.

— Что с тобой играть? Ты деньги зажимаешь. Ладно, мечи в последний раз, — сказал Витя без воодушевления.

Опять решка. Стороны вернулись к тому, с чего начинали. Витя был рад отвязаться от своего партнера-скальги, но это было не так просто: звон серебра в чужом кармане растравил алчную душу грека.

— Сдрейфил, да? Сдрейфил? — лип он к Вите, словно муха на сладкое. — Говори, на сколько метать?

— С тобой неинтересно.

— Давай со мной, — предложил Милика, загораясь азартом. — Чего смотришь? Не веришь, что у меня настоящий трояк? Вот!

Он вынул из кармана деньги, опять же краешек, и тотчас сунул назад. Витя уже не сомневался, что это царский трояк, но греки так насели на его, так насмешливо кричали: «Сдрейфил, да? Сдрейфил!», что он метнул против своей воли. Орел! Метнул еще раз. Орел! Не прошло и пяти минут, как выигрыш составил полтора рубля. Милика удваивал и утраивал ставки, будучи азартным в игре не меньше Вити. Но ему не везло. Оставалось уже всего ничего, чтобы трояк перешел в карман Вити, конечно, если только он не царский. Милика зажал его в кулак, и Витя гадал, отдаст или не отдаст, не чувствуя себя в полной мере обладателем выигранных денег греки могли попусту заспорить, полезть в драку, лживо доказывая, что уговор был ставить царские, а не советские деньги — каверзный был народец! А заступников у Вити никого, и он нервничал, торопился, удивительно, как еще выигрывал. Выпадал орел за орлом. У Милики от трояка осталось сорок копеек, гривенник...

— На сколько? — спросил Витя, собираясь метать в последний раз.

Милика назвал самую высокую ставку, полтинник.

— Где же ты его возьмешь? — попробовал усовестить его Витя.

— У Алеки. Фуряй!

Милика кривил душой, но протестовать было бесполезно, даже опасно: проигрываясь, он горячился, искал любой повод для ссоры, собственно, против одного Вити играли все трое, подбивали под локоть, когда он бросал вверх монету, спорили с пеной у рта из-за чепухи и наконец добились своего: выпала решка. Взялся метать Милика, и теперь Витя спускал и спускал выигранные деньги. Осталось два рубля, рубль. Он уменьшал ставки, но греки противились, осмеивали его, подначивали. Стемнело. Перешли к столбу под фонарь. Витя продолжал катиться вниз, как вагонетка, спущенная с тормозов.

— Полтора рубля за тобой, — подытожил Милика. — Еще будешь играть?

— Да. Мечи на полтинник.

— А есть чем отвечать?

— Есть! — бодро заверил Витя, чтобы у греков не возникло никакого сомнения насчет его платежеспособности.

Милика метнул. Орел! У Вити оборвалось сердце. Все, конец. Он проиграл сверх того, что имел. Пересчитал деньги: рубль пятьдесят пять копеек.

— Больше нету, — сказал он, пересыпал серебро в подставленную горсть Милики с намернувшимися на глаза слезами. Деньги зазвенели на дне чужого кармана, и лицо Вити страдальчески искривилось:

— Ой, что же я наделал! Деньги не мои, общие.

— За тобой еще сорок пять копеек, — напомнил Милика, но видя, как сильно расстроился его партнер, не стал требовать немедленного расчета.

— Возьми сливы, тут на полтинник будет, — жалобно сказал Витя, и греки не отказались, разобрали сливы по карманам, насыпали в кепки и, уходя, презрительно бросили:

— Не надо было играть!

Всхлипывая и икая от голода, Витя поплелся по затененной старыми тополями улице, свернул к базару и по-над кладбищем поднялся к своему дому. Окна его были освещены, наверное, семья ужинала. Витя спрыгнул в канаву, промытую ливневыми потоками с гор, присел на корточки, пригорюнился. Просидел он долго, поглядывая на окна. Вот они все уже потухли, тогда Витя вылез из канавы, подошел к калитке, без скрипа открыл, осмотрелся — нигде никого. Попробовал створки окна. Поддались. Перегнулся через подоконник в комнату. На кровати спал дядя, повесив костюм на спинку стула.

Витя осторожно по-кошачьи пробрался на кухню, стараясь не загреметь чем-нибудь. Бабушка похрапывала за стенкой, в «своем углу», небольшом теплом запечном кутке, где она стелила себе и зимой, и летом. Женя ночевал на веранде.

Витя запихал за пазуху ломоть хлеба и кусок мяса с костью, вынутого из борща и лежавшего в тарелке, прикрытой крышкой от кастрюли, — все, что попало под руку. На карачках, не поднимая головы выше подоконников, подполз к дядину костюму, запустил руку в карман, нашупал бумажные деньги... Через улицу, через канаву — бегом на кладбище. Только уже далеко от ограды среди могил опомнился, не понимая, как сюда попал и почему его не берет страх. Подождал: возьмет ли все-таки страх? Нет, не брал. Вокруг было обыкновенно, как и днем, ничего сверхъестественного: кресты, памятники, статуи ангелов в синем лунном свете — можно свободно читать надгробные надписи, разглядывать портреты умерших, и почему-то мысли не настраивались на привидения и прочую чертовщину, как бывало прежде.

Витя залез в кусты терна, решив здесь переночевать, съел мясо с хлебом, достал деньги, пересчитал — семь рублей! С одной стороны, как подумаешь, гора с плеч, а с другой — совестно, в голову лезут мысли, одна неприятнее другой. Сам не желая, Витя поступал скверно, все меньше оставляя надежды на безнаказанное возвращение домой, а после того, как дядя Леня утром обнаружит пропажу семи рублей, все пути и подавно будут отрезаны. Витя готов снова тайком пробраться в дом, но проигрыш общественных сбережений, за которые нужно будет держать ответ, остановил его. Остановило и намерение во что бы то ни стало отыграться.

«Дорогой дядя Леня, — мысленно вернулся Витя к кровати родственника, страстно желая, чтобы он услышал его слова, — прости меня! Я обязательно верну деньги сполна, как только заработаю. С первой же полочки...»

Занятый своими душевными переживаниями, Витя не сразу услышал треск веток и чье-то прерывистое дыхание. Ужас парализовал его. Шаги то приближались, то удалялись, обходили кусты и слева, и справа, но нельзя было понять, привидение это кого-то ищет и не может найти или обыкновенный человек.

— Тут он должен быть... Ляма! Эй, Ляма, где ты? Отзовись! — разда-лось чуть ли не над Витиным ухом. Голос принадлежал несомненно ры-жему Лешке. Витя пришел в себя, вытер на лбу обильный холодный пот.

— Я здесь, — сказал он, вылезая из кустов.

Лешка был не один, с цыганенком одинакового с ним невысокого рос-та, худым, кучерявым, в обтрепанных коротковатых штанах и неподпоя-санной рубаше. Темные глаза его смотрели одновременно испуганно и до-верчиво.

— Кто это? — спросил Витя.

— Гриша из табора, мой старый друг. Мы тебя уже давно ищем, раза три приходили на кладбище. Я так и знал, что ты здесь...

— А ты где пропадал! Я вас с Ахметом прождал на бетончиках до са-мого вечера, — попробовал обидеться Витя, но в душе обрадовался ребя-там: ночевать на кладбище одному все-таки было страшно.

— Пойдем в табор, — сказал Лешка.

— В табор?

— А что? Там лучше, чем под кустами.

Гриша тоже позвал:

— Пойдем, парень, не отказывайся. Плохо не будет.

* * *

Пробирались между подвод и шатров в дремотном душном воздухе, пропахшем конским навозом, сеном и гарью костров. Кому-то храпевше-му со свистом под возом Витя наступил на ногу, но спящий даже не по-шевелился. Где-то недалеко плакал грудной ребенок, заржала лошадь. Ви-тя опасливо озирался по сторонам, будто попал в чужое государство, не зная его законов и обычаев. Вошли в шатер с наваленным по углам пест-рым тряпьем. На столбе в центре горела прикрученная керосиновая лам-па, освещающая круг ничем не прикрытой выбитой земли.

— Садись, отдыхай, а мы отлучимся ненадолго, — сказал Лешка, по-казывая Вите на узлы.

— И я с вами!

Остаться одному в шатре казалось страшнее, чем на кладбище.

Лешка и цыганенок переглянулись: брать или не брать?

— Тебе нельзя, — сказал Лешка. — Мы быстро управимся. Жди. Есть сильно хочешь?

— Нет.

— Ну тогда отдыхай. Вернемся, что-нибудь сообразим.

В одиночестве Витя почувствовал себя, как, наверное, князь Игорь в плену у половцев: сидел на узлах, как на углях, ждал своей участи. В ша-тер заглянул черный, с красными прожилками на белках цыган, похоже тот, что днем отплясывал и кричал: «Сага баба, ай, лю-лю!» Он усмехнул-ся, покачал головой, ничего не сказал и задернул полог шатра. Витя оро-бел. Наверняка цыган замыслил что-нибудь злое. Бежать отсюда, пока не поздно! Витя потихоньку встал с узла, на цыпочках подкрался к пологу и

тотчас отпрянул назад: в шатер вошел цыган страшнее первого, с серьгой в ухе и шрамом через всю левую щеку, полез в угол, достал лошадиную сбрую и удалился, даже не взглянув на Витю.

«Что они задумали?» — Витя сидел ни жив ни мертв, прислушиваясь к наружным звукам. Какой-нибудь шорох заставлял его сердце бешено колотиться, ожидание делалось мучительным, минуты казались вечно-стью. Но ничего не происходило. Витя успокаивался, и время ползло улиткой. Лешка с цыганенком все не возвращались. Табор затих. Хотелось спать, но мнилось, что как только приклонит голову, его схватят, посадят в мешок и увезут. Бабушка говорила, что цыгане воруют и продают детей. И Витя уже представлял себя в рабстве у турецкого или иранского хана, закованным в цепи, с бритой головой, как у арестантов...

В табор с перестуком, скрипом въехала подвода, какие-то люди, негромко разговаривая, направились к шатру. Витя напряжился, приподнялся, готовый защищаться до последнего издыхания. Полог закачался, и в шатер протиснулся цыган с серьгой в ухе, волоча туго набитый мукою мешок. Повалил его в угол. Следом вошли Лешка и Гриша, один с корзиной, другой с большим полосатым арбузом.

— Ждешь? Не заснул? Сейчас ужинать будем! — весело сказал Лешка и расстелил на земле брезентовый лантух, а Гриша достал из корзины буханку белого гофрированного* домашнего хлеба, несколько кругов колбасы с острым запахом чеснока, завернутую в мокрую тряпку брынзу, и все расселись вокруг, поджав ноги по-восточному.

«Дело нечистое, — подумал Витя. — Куда ездил среди ночи Рыжий? Нет, Ляма, не быть тебе ни писателем, ни великим путешественником, а быть карманником и конокрадом!»

— Это мой лучший друг Ляма, — сказал Лешка цыгану с серьгой, который длинным тонким ножом, каким колют свиней и, наверное, одиноких путников на большой дороге, разрезал арбуз.

— Ляма? Так тебя звать?

— Нет, это кличка, а зовут Виктор.

— Хорошее имя! — Цыган улыбнулся и подал Вите широкую красную скибку арбуза. — Я слышал, что имя его означает Победитель.

— Да, в переводе с латинского, — подтвердил Лешка с видом знатока, хотя слышал об этом от Вити и не знал ни одного латинского слова.

— Хорошее имя, — повторил цыган и с аппетитом крепко проголодавшегося человека принялся есть все, что лежало перед ним.

— Где вы были? — шепнул Витя на ухо своему непутевому другу.

— Ездили недалеко, за город, к одному дядьке, кое-что выменяли на подковы и ухнари. — Лешка показал на закуски. — Бери колбасу, бери брынзу, не стесняйся, будь как дома!

Витя усомнился в правдоподобности Лешкиного рассказа, но оспаривать не стал. В шатер просунул голову черный цыган и заискивающим голосом попросил «чарочки».

— Проходи дальше, Пантелей. Хватит с тебя, — отмахнулся цыган с серьгой, и когда Пантелей неохотно опустил полог, сказал с осуждением: — Большой человек. Не может жить без горилки.

...Витя не помнил, чтобы когда-нибудь был полностью счастлив или спокоен, чтобы сомнения не терзали его душу, несчастья не обрушивались на его голову и следом не тянулся хвост проказ, за которые рано или поздно придется отвечать. Но минут годы, и он с грустным умилением обратится к прошлому, как самому беззаботному, самому солнечному времени, которое, увы, кануло навсегда. И чем взрослее он будет, чем глубже познает всю сложность человеческих взаимоотношений, тем острее почувствует утрату непосредственности и близкого к природе существования, как у птиц, рыб и зверей.

8

Витя ничком лежал в пыльных кустах, замерев, затаив дыхание: все тело горело огнем, будто голого выкатили в крапиве. Свист, улюлюканье, топот унеслись вперед. Было жутковато: не вернутся ли преследователи? Не найдут ли его в кустах у самой дороги? Надо было отползти, сердце так сильно стучало, что могло выдать, но шевельнуть рукой было больно.

Возобновился стук копыт, фыркание лошадей, голоса. Всадники возвращались. Резко запахло потом и кожей. Пыль с дороги полезла под кусты, окутала Витю. Он обеими руками зажал нос, боясь чихнуть.

— Добрая будет наука!

— Разговор с этим народом короткий — плетями по ногам! Так только и отвадишь.

— Больше не заглянут в станицу. И другим закажут. Всадники остановились, закуривая. Чиркнула спичка, высветила подрагивающую лошадиную ногу и носок пыльного сапога, продетого в стремя.

— Где-то здесь шуганул в сторону.

— Так он тебе и будет сидеть.

— Куда денется? Небось притаился в кустах. — Всадник приподнял огонек над головой, всматриваясь в темноту. — Я его сейчас подниму, как куропатку.

— Ладно тебе, Петро. Хватит с них. Получили сполна. Поехали!

— Езжай. Я догоню.

Спичка потухла. Лошадиные ноги осторожно переступили канаву. На Витю упал шматок пены. Лошадь фыркнула и тряхнула головой.

— Эй, Петро, брось чудить. До утра с ними вожжаться, что ли?

Петро стеганул нагайкой налево и направо по кустам, дернул узду, и лошадь скачком переметнулась на дорогу, екнув селезенкой, как будто у нее что-то оборвалось внутри.

Казаки удалились, смолк перестук копыт. Витя разжал нос, но чихать уже не хотелось. Жгли — не дотронуться — взбухшие рубцы на голени обеих ног, на ягодицах и спине, исполосованных нагайками со свинцовыми пулями на концах. Он вылез из кустов, выгнувшись дугою от боли.

Темень. Глушь. Из леса, подступавшего с обеих сторон к дороге, полз, стлался белесый туман. Прихрамывая, Витя пошел сам не зная куда. Дорога поднялась в гору, и лицо опахнуло сухим воздухом, спустился в низину, и обдало прохладной струей. Близко был Терек.

Недели полторы назад рыжий Лешка предложил махнуть на Каспий, если уж недоступна Африка, поглядеть на белый свет и попытаться через Персию пробраться в Индию, тоже тропическую страну, а нет, так вернуться домой к началу занятий в школе. Видно, Лешка заразился бродяжничеством в цыганском таборе и летом в городе скучал. Он расписал не хуже туристских реклам путешествие в собачьих ящиках, на подножках и в тамбурах товарняков, в чем сам уже имел опыт.

Витя увидел возможность осуществить заветную мечту, пусть частично: поездить, набраться впечатлений, гляди, в будущем пригодится. Чумазы, продрогшие, они вылезли из собачьих ящиков на станции Червленая-Узловая и пересели на товарняк в сторону Кизляра, к Каспию, но, увидев вокруг сады и виноградники, спрыгнули на подъеме и, кажется, попали в ту самую станицу, где давным-давно служил молодым офицером Лев Толстой. До темна они просидели вблизи виноградников, боясь показаться казакам на глаза, а когда закончились работы и люди ушли по домам, жадно набросились на ягоды, чуть припыленные, с паутинками, и так плотно посаженные, что приходилось вгрызаться в них. Сок стекал по подбородку, руки сделались липкие, как в меду, ни за что не взявшись, а вымыть негде. Наевшись, они убрались в лес, отдохнули немного — и снова на виноградник.

Совсем стемнело. Казачки подоили коров, накормили своих мужей, и в хатах стали гаснуть огни. Можно было приблизиться к станице.

— От винограда у меня бурчит в животе, понос еще нападет, — негромко пожаловался Лешка, глядя через плетень на широкий двор с раскидистой, закрывавшей наполовину дом, шелковицей. — Лапши бы с курятинкой... Ничего, сейчас сообразим. Знаешь, как брать кур без шума на насестах?

Дома Витю еда не заботила, хотелось есть — ел, не задумываясь, откуда брались продукты, как и кто их готовил. Покидая дом, он почему-то не подумал, что есть надо будет каждый день, хоть раз, что больше ему не видать кухонного шкафа с разной вкусной снедью, даже бабушкиного борща, который так ему надоел и который она заставляла есть обязательно с хлебом. Теперь же был очень озадачен, поняв, что без еды никак не обойтись, но как добывать ее, он не знал, а по щучьему велению ничего не возникало. Словом, питание стало самым главным делом в бродячьей жизни Вити. Он был рад черствой корочке.

Калитки в станице не запирались, Лешка свободно вошел во двор, понад плетнем пробрался к сараю, немного выждал и взмахнул рукой, зовя Витю. Вдвоем, в крошечной душной темноте, ступая по сухому помету с вытянутыми вперед руками, как слепые, они зашарили по насестам. Куры вели себя спокойно, не кудахтали, смыкая опустевшее место, когда одна

из них попадала в руки Лешки. Он сворачивал ей на бок голову, зажимал под крылом и передавал Вите:

— Крепче держи, смотри не выпусти.

— Хватит. Пошли, — торопил Витя с колотящимся сердцем, ожидая с минуты на минуту появления хозяина. Но Лешка не спешил, расправлялся с курами, как революционер с частной собственностью, пока не напал на петуха. Кочет закукарекал, захлопал крыльями, метнулся куда-то вверх. В сарае поднялся переполох. Все его обитатели всполошились, по соседству в катухе захрюкала свинья. Курощупы выбежали вон вместе с вихрем перьев. Посигали через плетень, попадали в траву. Но дом не просыпался, хозяева крепко спали, как обычно в деревнях после летних работ.

— А теперь поищем лапшу, — сказал Лешка, поднимаясь на ноги. — Пойдем вон к тому двору. Что-то там белеет под шелковицей. Бабы всегда сушат Лапшу на воздухе. Ты подожди меня здесь, я мигом!

Он перепрыгнул через плетень и вскоре вернулся с узелком:

— Говорил тебе, так и есть. Лапша! Теперь надо кастрюлю. А спичек? Тоже нету?.. Подожди меня тут еще чуток. Под шелковицей спит мужик. Поишу у него спички.

— А если проснется?

— Не проснется. Я тихо.

— Ой, Лешка, опасно! Вдруг у него под подушкой топор?

— Тсс... Чего так громко говоришь? Жди и не трись.

— Не миновать нам беды, чует моя душа. Пойдем лучше у кого-нибудь попросим кастрюлю и спички.

— У кого? Где? Помолчи. Не хнычь. А то вправду завалимся.

Лешка передал Вите узелок, а сам покрался к шелковице. Как ни преступно поступал он, как ни убеждал себя Витя бросить все и расстаться с бесшабашным другом, но голод не тетка, приходилось мириться с необходимостью лазить по чужим дворам, и ничего не оставалось другого, как лишь сдерживать, урезонивать зарвавшегося Лешку и хоть таким образом успокаивать свою совесть.

То ли хозяин не спал, поджидая гостя, то ли Лешка повел себя неосторожно, разбудил его — донеслись ругань, возня, и Витя пустился наутек, прижимая под мышками двух кур и узелок с лапшой. Навстречу, посреди улицы, плелся подвыпивший казачок, что-то бормотал про себя, разводил руками, но, увидев Витю, быстро смекнул, в чем дело, и на редкость проворно, точно враз у него выветрился хмель, подставил беглецу подножку. Полетели в стороны, кудахтая и сея пух, куры, покатылся по дороге узелок с лапшой.

* * *

В сельсовете, освещенном керосиновой лампой, у стола с чернильницей-неразливкой и воткнутой в нее ученической тонкой ручкой стоял хмурый, с нагайкой в руке, здоровенный усатый дядя, на лавке сидел

Лешка, всклокоченный, с перьями в волосах и синяком под глазом, и несколько незнакомых беспризорников, когда туда привел Витю хмельной казачок. Хмельной-то хмельной, но так сжимал Витину руку, что запястье ныло. Как вещественное доказательство он положил на стол цветастый узелок, насмешливо сощутив глаза:

— Ишь лапшевик! Не иначе у моей кумы выкрал. Ты ему, Петро, насыпь пару горячих, чтоб на всю жизнь запомнил!

После короткого допроса, собрав всех «до кучи», видимо, сделав на беспризорников, съезжавшихся к зиме на юг, широкую облаву, станичники выпроводили их за околицу и расправились чисто по-казачьи. И вот избитый, потеряв Лешку, Витя бредет по дороге, сам не зная куда. Кончился лес, открылось поле, на нем стог сена в небольшом отдалении. Витя свернул к нему по лопухам, по бузине, необычно разросшимся, каких не доводилось встречать на Кубани. Виноград здесь тоже был крупнее, слаще, а червленские темно-зеленые арбузы поражали размерами, иной не сдвинешь с места.

Витя хотел прилечь под стогом, но передумал, сделал нору, залез в нее весь, а вход замаскировал. Так было надежнее. Тело страшно ныло, и он долго лежал с открытыми глазами, глядя в оставленную дыру и прислушиваясь: может, где поблизости бродит Лешка? Трезвонили цикады, и на все лады жутко плакали детскими голосами шакалы, а больше никаких звуков. Пропел в станице петух. У Вити слиплись глаза, навалился сон...

В соломе было тепло, утром не хотелось вылезать. Снаружи стог сильно замокрел, трава тоже разбухла от росы, и в пяти шагах уже ничего не было видно: сплошной туман. Солнце в нем плавало, как круг брынзы в рассоле. Витя вылез из норы с неприятным ощущением мокроты, весь в соломе: набилась и в волосы, и за шиворот. Через какую-нибудь минутку две одежда сделалась волглой, туфли размокли, ступни ерзали туда-сюда, невозможно было идти. В довершении всего донимали комары. Вечером вся станица дымила кострами, люди отмахивались ветками от туч вьедливых насекомых, которые впивались даже в дырочки для шнурков на ботинках. И днем от них не было спасения.

Пыль на дороге замокрела от росы. Идешь, а за тобой тянется сакма. Мокрые туфли разбухли — не туфли, а лапти. Пришлось разуться и дать чесу босиком, побыстрее убраться от казачьей станицы, от гнилого терского климата.

Ни в этот, ни в следующий день Витя не встретил Лешку, как и никого из тех беспризорников, которых видел в сельсовете. На подножке железнодорожного поезда он вернулся на узловую станцию в надежде если и не найти друга, то хоть что-нибудь узнать о нем.

Через Гудермес один за другим проносились, громяхая, в пыльном облаке, длиннющие составы цистерн с нефтью и бензином, полные — на север, порожние — на юг. Дымили буксы, из некоторых вырывалось пламя, а когда поезд тормозил, искрились колеса и пахло жженым металлом. На станции осмотрщики вагонов с длинными молотками простукивали,

осматривая ходовую часть, как врачи больного, и поезд снова набирал скорость, уносился вдаль. В окошках некоторых тамбуров мелькали лица «зайцев», а на последнем вагоне покачивался фонарь и в брезентовой видлоге проводник с желтым и красным флажками в чехлах... Садись в пустой тамбур, езжай куда хочешь! Но как одному, без товарища?

Витя проводил на юг с десятков поездов, ни на одном не заметив Лешку, и поплелся на базар у станции: может, здесь шатается? В Гудермес с гор съезжались чеченцы, ведя за налыгачи черных, длиннорогих буйволов, впряженных в двухколесные арбы с плетеными из лозы кузовами. Иной чеченец в латаной-перелатанной одежде, но в высокой каракулевой папахе и при кинжале с серебряной инкрустацией. Папаха определяла положение чеченца в обществе, не иначе: он не расставался с нею ни в холод, ни в сорокаградусную жару. Кто побогаче, носил из серого и золотистого каракуля, кто победнее — из лохматой, нависающей на глаза простой овчины. Любили чеченцы, как заметил Витя, военные шинели, галифе, легкие, без каблуков, вытяжные сапоги с плотно облегающими голенищами, стянутыми на голени ремешками. Но многие были обуты в сырмятные, с задранными носками постолы. Все рослые, крупноголовые, подтянутые, с тонкими талиями. Они торговали хурмой, орехами, чесноком, луком, картофелем, кукурузой в продолговатых ивовых корзинах.

В базарной толпе попадались железнодорожники в промазученных кожаных куртках и фуражках и рыбаки с Каспия в брезентовой робе. На столиках — обилие жирной, присоленной каспийской воблы. До чего же вкусна, за уши не оттянешь! Витя съел даже внутренности, оплывшие жиром, изголодавшись по настоящей еде.

— Ешь, ешь, браток, сколько влезет. Бери лаваш, бери зелень. С перчиком, с лучком лучше желудок принимает.

На голове — сплюснутая кепка с помятым козырьком, пришитым белыми нитками к тулье. Одет в серый бумажный костюм с пустым левым рукавом, сунутым в карман пиджака и тоже пришитым. На ногах — галоши, будто на минуту выскочил из дому что-нибудь купить и назад.

— Эй, ялдаш! — крикнул Безручка чеченцу, торговавшему с арбы хурмой. — Отвесь нам килограмм... Будешь хурму? — спросил он Витю. Тот покачал головой: фрукты вызывали отвращение.

— Лучше еще воблы.

— Этого добра тут завалилось... А пендыру не хочешь?

— Какого пендыру?

— По-нашему, значит, сыр, а по-ихнему пендыр, возьмет ялдаш кусочек, с гулькин носочек, а к нему гору травы. Вот и обед... А ты ешь до отвала. Будешь пендыр?

— Буду.

— Эй, мату! — крикнул Безручка пожилой чеченке, сидевшей на корточках возле сложенных стопкой кругов овечьего сыра. — Сколько стоит?

На морщинистом лице мату — блеклые глаза. В длинном черном платье, в черном платке, похожая на монашку, она что-то забормотала, показывая на пальцах. Если мужчины-чеченцы, хоть и плохо, знали русский язык, то их жены ни бельмеса. Безручка долго объяснялся, прежде чем выторговал круг сыра.

— Зверье, — буркнул он и, разливаясь мелким смешком, похлопал Витю по тугому животу. — Как барабан. Наелся?

— Наелся. Спасибо, дядя.

— Ну и хорошо, ну и на здоровье! — Безручка достал из кармана папиросы, потряс пачку, взял губами папироску, потом достал спичечный коробок, прижал его культишкой к бедру, вынул здоровой правой рукой спичку, чиркнул, прикурил. — Ну и хорошо, ну и на здоровье, — повторил он, попыхивая ароматным дымом. — Теперь пойдем, покалякаем. Дело к тебе есть. Заработать хочешь?

— Хочу.

— Вижу, что хочешь. Без денег, как без воды, ни туды и ни сюды! Витя посоловел от сытой воблы и овечьего пендыра. Безручка, мало того, что накормил его, предлагал и заработать. Наверное, добрый человек.

Смеркалось, базар пустел. Одни чеченцы оставались ночевать на площади, не распродав товар, другие отправились по домам, в горы, понукая медлительных черных буйволов, этих страшилищ с виду, а на самом деле добродушных безобидных животных. Безручка привел Витю в железнодорожный поселок, к длинному кирпичному зданию с высокими окнами, до половины окрашенными белилами. Если взобраться на дерево, то хорошо просматривались комнаты с рядами кроватей; в одной стояли застекленные шкафы с пузырьками, блестящими металлическими коробками, разным медицинским инструментарием.

— Больница, — сказал Безручка. — Только что открылась. Я уже все высмотрел. Глянь вон туда. — Он показал Вите, сидевшему на дереве, на освещенное окно.

За столом женщина в белом халате рассматривала пробирки на свет и что-то записывала в журнале.

— Я сейчас зайду к ней, стану зубы заговаривать, а ты ныряй вон в ту форточку, там кастелянская. Перебрось на улицу пачек десять постельного белья. Понял?

«Нашел дурака, — подумал Витя. — Я ныряй в форточку, а он, видишь ли, будет «зубы заговаривать». В случае чего достанется мне одному, а рубцы от казачьих нагаек до сих пор ноют».

— Понял? — переспросил Безручка.

— Понял.

Он действительно умел заговаривать зубы. Витя видел с улицы, как женщина в белом халате вначале слушала настороженно, потом добродушно, а потом заулыбалась. Витя сидел на дереве, наблюдая, как Безручка лез из кожи вон, стараясь завладеть ее вниманием, и не двигался с мес-

та: обворовывать больницу было и боязно, и стыдно, и брала досада, что его накормили не из добрых побуждений, а просто-напросто подкупили.

Безручка вернулся. Витя спрыгнул с дерева.

— Ты что же баклуши бьешь? Лазил?

— Не успел.

— Битый час лясы точил, мозоли на языке натер, а он не успел.

— Какой же битый час? Десять минут не прошло.

— Ты мне макароны не вешай на мозги! Двадцать раз можно было слазить туда и обратно!

— Идите еще поговорите.

— Кто меня теперь будет слушать? Ты что — за дурочка меня принимаешь? — вдруг обозлился Безручка и потянулся к Вите, но тот шмыгнул в темноту, в какую-то калитку. На дворе из будки выскочил пес, заметался черным шаром под ногами, отчаянно лая, пытаясь схватить за ногу. Витя с ходу перемахнул, не зная сам как, довольно высокий забор. Он был уже в безопасности, когда хозяин вместе с псом набросились на Безручку, не успевшего проскочить широкий двор.

9

Были и другие встречи и знакомства: на юг, в теплые края, со всей страны стекались беспризорники, многие сбежали из детских домов и колоний «на волю», сбежали не потому, что там было плохо, а потому, что привыкли бродяжничать. Казенные костюмы, ботинки, белье продали, проиграли в карты или замызгали, изорвали в товарняках до неузнаваемости. По-домашнему чистый, хорошо одетый подросток через какой-нибудь месяц превращался в чумазого, с отросшими, всклокоченными волосами сявку, до которого дотронуться страшно: лицо в грязных потеках, руки чернее сажи. Лоснистая от мазута и пыли фуфайка с торчащими клочьями ваты надета на голое тело. Унести из кучи арбуз на базаре, снять «голубей» с бельевой веревки, опустошить кухню — на большее сявки не способны и презираются урками — карманниками, налетчиками, аферистами, которые иной раз подряжают их на настоящее дело, и зачуханный беспризорник за одну ночь может «выйти в люди», приобщиться к ворам.

Витя за дни странствий сильно обтрепался, напрасно стараясь сохранить приличный внешний вид. Он не ленился стирать рубашку, но без мыла, и, когда-то снежно-белая, она безвозвратно стала серой, туфли стоптались, попоролось, подошва отвалилась, и их пришлось выбросить. Волосы отросли за уши и торчали во все стороны, в них завелись паразиты. Витя и не заметил, как опустился до чумазого беспризорника. Возвращаться таким в родной город было стыдно, лучше утопиться. А между тем наступило первое сентября. Принаряженные, в белых сорочках и красных галстуках, помахивая сумками и портфелями, школьники наводнили улицы. Витя провожал их грустными глазами и размышлял о своем

незавидном положении. Что делать? Как дальше жить? Что бы ему посоветовал Максим Горький, будь он рядом? Наверное бы, усмехнулся:

— Спасовали перед первыми же трудностями, молодой человек? А еще собираетесь стать писателем. Смешно подумать...

— Оголец, помоги-ка чувал погрузить в товарняк! — Мужиковатый дядя, похожий на станичника, подтолкнул Витю к мешку, прислоненному к стене вокзала у выхода на перрон, сам уже взвалив на плечо тугие кавказские хурджумы — переметные сумы, расшитые ковравыми узорами, и взяв в одну руку корзину.

— Помоги, помоги, я отблагодарю. Только поспешим, товарняк сейчас отправляется.

Мешок оказался не очень тяжелым, хотя и полный, наверное, с бараклом. Витя взвалил его на спину, радуясь возможности подзаработать хоть на кусок хлеба.

Будто заржал конь перед дорогой — резко прокричал паровоз. По всему составу от головы к хвосту побежал знакомый перестук буферов. Струя густого упругого пара переметнулась в бок через несколько путей. Паровоз поднатужился, пробуксовал колесами, словно нетерпеливо постучал копытами конь, и поезд тронулся, постепенно набирая скорость.

Витя стоял на подножке тамбура, держась левой рукой за поручень и почти касаясь земли правой ногой, собираясь спрыгнуть на ходу.

— Куда ты? — остановил его дядя. — Не видишь, что ли!

Из вокзала выбежал чеченец, заметался по перрону, замахал руками, закричал вдогонку как резаный, и Витя понял, в чем дело.

— Ищи ветра в поле! — усмехнулся дядя, высунувшись из тамбура и наблюдая за чеченцем. — Ну а теперь посмотрим, что в мешках.

Он развязал тот, что принес Витя, достал несколько рубашек и шаровар кавказского покроя, суконный бешмет, две пары сапог, разную женскую одежду, белье, кое-что поношенное, но еще крепкое, по всему видно, с базара. Перебрал содержимое хурджу-мов, в которых оказалось кусков десять стирального мыла, завернутого в тряпку, пачек пять табаку, детская дудочка, леденцы-петушки на палочках и всякая другая хурдабурда, как заметил дядя, выбрасывая ненужное из тамбура. Он критически оглядел истрепанную одежду на Вите и передал ему сапоги, галифе, шерстяную рубашку с глухим высоким воротником с двумя карманами на груди для газырей, подумал и приложил папаху из золотистого каракуля, себе отобрав из черного (в мешке их было три, одна из обычной овчины).

— Переодевайся! Чего смотришь? Твоя доля.

Витя, конечно, сильно пообносился, но как надевать украденное у чеченца-крестьянина, который вез в свой аул домочадцам дорогие подарки? Витя, Витя, до чего ты докатился? Быть тебе вором-майданником, а не великим путешественником и писателем!

— Не надо, — сказал он. — Я еще в своем похожу. Одну, попадусь чеченцу на глаза — кинжалом кишки выпустит!

— Чего испугался! Не бойся, махнем отсюда километров за триста, в Дербент, а то и в Баку. Пусть ищут!

— Я так далеко не собираюсь. Я домой поеду.

— Домой? Так ты домашний? Маменькин сынок? Сбежал небось в Африку? Если собираешься домой, то обойдешься и так. Мама приедет. Он забрал у Вити одежду и запихал назад в мешок.

Товарняк тянулся в гору, паровоз пыхтел, пробуксовывал. Витя спустился на подножку, сиганул под откос, перевернулся через голову, но не ушибся. Сидя в траве, он провожал глазами сборный состав чуть ли не километровой длины. Вагонов через двадцать от того, с которого спрыгнул Витя, по крышам человек пробирался в голову поезда, по всему видно, обворованный чеченец. Точно. Он погрозил Вите кулаком, выкрикивая ругательства, и продолжал бежать вперед. Нетрудно было представить, что произойдет между ним и дядей. Витя с облегчением поднялся с травы и пошел считать шпалы назад, к станции, перепрыгивая через одну, не понимая, почему железнодорожники не сделали расстояние между шпалами одинаковое с размером шага. Насколько это было бы удобней для пешеходов!

На улице поселка, проходя мимо гардероба, который выносили из магазина, Витя увидел себя в зеркале и ужаснулся убогому виду, точно ночь провел в курятнике. От домашнего, окруженного вниманием родителей мальчика ничего не осталось. Не случайно дядя принял его за урку. Одет Витя был по-летнему, а становилось холодно, под кустом уже не переспишь, и он рискнул отправиться дальше на юг, надеясь все-таки встретить Лешку и что-то предпринять определенное, но что, он теперь и сам не знал. После всех мытарств Африка рисовалась страшно далекой, недоступной, иллюзии о легком путешествии развеялись в прах. Как же быть? Возвратиться домой, ничего не совершив, истрепанным, замызганным бродягой?

Витя раздумывал над своей судьбой на ступеньке вагона скорого поезда теплым вечером, с надутой пузырями рубашкой и шевелящимися на голове волосами от встречного ветра, среди быстро менявшегося ландшафта. Привольно раскинулась равнина в красных закатных лучах солнца: рощи, сады, белые хаты станиц, пирамидальные тополя и далеко в дымке отроги Кавказского хребта. Было грустно, одиноко и тревожно перед неизвестностью: что ждало Витю в незнакомых краях? Но не пропала и уверенность в том, что мытарства эти не напрасны, что познание жизни когда-нибудь понадобится, и на душе делалось легче, Витя даже запел вполголоса про молодых капитанов, штурмующих, правда, не Африку, а Северный Ледовитый океан.

На поворотах, с подветренной стороны, его обдавало дымом вместе с секущей лицо несгоревшей в топке антрацитовый крошкой из трубы паровоза. После захода солнца ветер неприятно холодил тело, забираясь под рубашку. На станции Прохладной Витя отстал от поезда и на перроне неожиданно встретил знакомого дядю, который не сразу его признал:

— Ну и прокоптило тебя, оголец, одни зубы блестят, как у негра!

Дядю с густой синевой под глазами тоже непросто было узнать.

— Чеченец наставил фонарей, — признался он, невесело улыбаясь. — Успел-таки подцепиться на товарняк... Ну да ладно, не повезло, что теперь делать? А помыться тебе надо, оголец, да и мне не мешает. Тут недалеко есть добрая железнодорожная банька!

— Денег нет на баню, — вздохнул Витя.

— У меня самого в кармане вошь на аркане. Мы задарма помоемся. Ночью.

Дядя, или, как назвал его пробежавший мимо беспризорник, «пахан», почему-то благоволил Вите, поделился едой, какая у него нашлась в грязном бумажном свертке, и поздно ночью повел к железнодорожной бане. Два окна оказались открыты настежь, под рамы подложены чурки, чтобы ветер не побил стекла. Помещение проветривалось, из него шел теплый дух, напоминая о приятной позабытой чистоте тела.

Влезли в окна, и хотя свет был выключен, лишь в парной под потолком тускло горела лампочка, от уличных фонарей создавался полумрак. Вымыто, прибрано, натоплено, блестят сложенные стопками цинковые ряшки — бери мойся сколько душа пожелает! Воды горячей залейся, пара тоже с запасом. Нашлись обмылки. Окатились водой, намылились (с Вити так и потекла грязь), потеряли друг другу спины кем-то забытой мочалкой, и пахан полез, покряхтывая, на верхнюю полку в парной:

— Чеченец намял мне бока, все косточки ноют... Эх-хе, веничком не мешало бы похлестаться. Слышь, оголец, поищи веничек. Бывает, оставляют в раздевалке. Ты поищи, а я тем временем парку добавлю.

Витя пошарил по полкам, по лавкам, по углам, не нашел, заглянул в соседнее отделение и оторопел: в полумраке что-то белело, похоже человек.

— Что тебе надо? — раздался недовольный женский голос.

Витя смешался и молчал.

— Что надо, спрашиваю?

— Веник...

— Вон возьми.

Голая девица (а Витя теперь разглядел ее) показала на ряшку, из которой, верно, торчал веник. Витя взял и понес в парную, так сильно ошеломленный встречей в потемках, что не знал, верить или не верить увиденному.

— Нашел? Ах, молодец! Сейчас мы его горячей водой ошпарим, — обрадовался пахан. — А ты не желаешь на полку?

Не то что париться — невозможно было дышать горячим, обжигающим легким воздухом, столько пару напустил пахан, и хотя под потолком горела лампочка, различить что-либо было так же трудно, как в утреннем тумане на Тереке. Витя слышал голос пахана, но самого его не видел:

— Вроде ты с кем-то разговаривал?

— Женщина там купается.

— Что за женщина?

— Не знаю.

— Надо поглядеть...

На редкость проворно он слез с верхней полки, красный, в крупных горошинах пота, с прилипшими к телу листочками от веника, прикрыл ряшкой грешное место и зашлепал ногами в соседнее отделение. Шипел пар, и где-то чвирикала вода из слабо закрученного крана, потом забубнили голоса, ласковый — пахана и сердитый — девицы. Витя разобрал лишь одно слово «трояк». Девица просила денег, всего три рубля, наверное, как и Витя, бесприютная и голодная.

В ответ на воркование пахана она твердила одно и то же:

— Трояк... — Зашлепали босые ноги, пахан вернулся.

— Деньги у тебя есть, оголец?

— Откуда? Ни копейки.

— Эх, досада! И у меня, как на грех, пусто. Хлеба куска, и того нет. Вот жизнь босяцкая...

Он порылся в своей одежде, достал замусоленную свернутую гармошкой газету, оторвал клочок, повертел: «В темноте не разберет» — и отправился к девице. Но она тотчас обнаружила подлог и обиделась. Как пахан ни ворковал, в ответ раздавалось неизменно:

— Трояк!

Витя потерял к ним всякий интерес, прилег на лавку и уснул. Проснулся он довольно поздно один, соночлежников и след простыл, надо было самому побыстрее убираться, пока не пришли служащие бани. Оделся и, воровато оглядываясь, выпрыгнул в окно. Еще два дня он пробыл в Прохладной, но пахана не встретил и подумал: «Может быть, женился на бесприютной девице, решил бросить бродяжничество, зажечь мирно и счастливо?» Сам хватив фунт лиха, Витя желал всем бедствующим добра.

* * *

Дербент — древний, насчитывающий не одну тысячу лет город, ворота Востока, как о нем говорили, узкая полоска земли между Кавказским хребтом и Каспием, по которой шло великое переселение народов, где когда-то разыгрывались жестокие битвы. А сейчас Дербент — тихий захолустный городок, сложенный из пористого ракушечника, с остатками крепостной стены, взбегавшей на гору, и населенный преимущественно горскими евреями — татами, как их тут называли.

Сразу же за крепостной стеной — бесконечные виноградники, а по песчаному берегу до самого Баку — рыбацкие поселки, баркасы, лодки, растянутые на пряхлах для сушки сети, а на шестах, высоко в небе, подальше от мух, качаются на ветру оплывшие жиром балыки.

Глубокой осенью Витя присоединился к беспризорникам «пих-пах». Так называлась железная решетка на уровне земли, сквозь которую наружу выходил отработанный пар из электростанции, вырываясь толчками:

«Пих-пах... пих-пах... пих-пах...». Сюда на ночлег собиралась орава мальчишек; ложились впокатную, тесно прижимаясь друг к другу и прикрываясь разным тряпьем. Жили как придется, ели что бог пошлет, делая набег на виноградники. Добычу приносили на «пих-пах» в круглых ситах. Гроздь нередко в полпуда, а ягода чуть ли не с куриное яйцо, не очень сладкая, но мясистая. Это был какой-то поздний столовый сорт. Сбывали виноград перекупщикам и тем питались. Бывало и так, что за весь день ничего не перепало, кроме ягод. Виноградный сезон подходил к концу, лишь кое-где оставались неубранные участки, зорко охраняемые сторожами. Приходилось потуже затягивать ремни. Кружилась голова, резало в желудке. Витя голодными глазами смотрел на витрины продуктовых магазинов, на горячие ковриги лаваша, похожие на стеганные одеяла, которые продавцы хлебных лавок ловко разделявали ножами.

В харчевнях и чайных, во множестве разбросанных по городу, с утра до вечера жарились на углях шашлыки, варился напичканный чесноком и перцем бич-бармак. А у Вити в кармане не находилось пятака на горбушку хлеба, медного пятака, который не жалко было бы дать беспризорнику, ни вон тому горцу с ишаком, тащившему на базар две высокие плетеные корзины орехов, ни вон тому толстому торговцу вином с набитыми деньгами кожаной сумкой. Любой прохожий мог бы избавить Витю от мучительных схваток в животе, протяни он руку для подаяния, но это было позорно, невозможно по существующему между огольцами убеждению. В тридцать третьем голодали все: такое было время. Почему же теперь, при изобилии продуктов, Витя сам себя обрек на голод?

— Гора с горой не сходятся... Здорово, оголец!

По улице навстречу шел, улыбаясь во весь рот, Безручка. В первую минуту Витя ему обрадовался, мелькнула надежда на сытый обед, но тут же вспомнилась гудермесская больница, и он не знал, как быть: улепетывать со всех ног или повременить, посмотреть, как поведет себя Безручка? Подлинные его намерения трудно было разгадать. Улыбался он неопределенно. С этой же улыбкой мог сунуть в бок «перышко». На всякий случай Витя перебежал на другую сторону улицы и вслед услышал с угрозой:

— Далеко от меня не уйдешь!

Побродив по городу и лишь больше растравив голодный желудок, Витя спустился к берегу Каспия, в полосу желтого бесконечного песка. Кое-где он поднимался барханами и редко, кулигами, порос лозняком.

Зеленые волны ухали, накатывались на берег, как войско, шеренга за шеренгой, на приступ неприятельской крепости. Ударят и схлынут, уступая место другим, бегущим чередой из синей дали. Войско, не взяв крепости, уходит, а волны катятся и катятся упрямо. Была в этом движении какая-то заколдованность: вчера, сегодня, завтра и еще тысячи, тысячи лет в будущем они будут вот так же равнодушно вдребезги разбиваться о берег. Непостижимой вечностью, безразличием к человеку веяло от этого пустынного холодного пространства. Море чужое, хмурое, замкнутое, не

вызывающее мечты о дальних жарких странах и неведомых народах, как Черное. Витя поплелся назад, в город, оставляя на песке глубокие следы босых ног, словно Пятница на необитаемом острове. Он и впрямь чувствовал себя Пятницей, убежавшим от дикарей, которые собирались зажарить его на костре, как барана, и теперь один на всем белом свете шел, сам не зная куда. Он поднимался с террасы на террасу, выбитые морским прибоем, и по этим слоистым промоинам было видно, как постепенно Каспий отступал от суши, засасывался среднеазиатской пустыней.

Потянулись виноградники. Половина листьев уже на земле, а те, что еще держатся, с опалиной: красные, бордовые, желтые. Когда-нибудь в поредевших кустах мелькнет переспелая ягода, иная высохшая, как изюм. Говорят, один хлеб не приедается. Но это не так. Наешься винограда, кажется, больше смотреть на него не захочешь, но наутро приторности как не было, виноград снова желанный. Витя разыскал несколько кисточек и бросал в рот ягоду за ягодой, пробираясь в глубь сада с невеселыми мыслями. Нет, все-таки когда-нибудь он встретит доброго Робинзона Крузо, который поможет ему стать человеком! Каким ни голодным, ни тяжелым было настоящее, Витя не терял надежды на лучшее будущее.

Выложенные из булыжника замшелые изгороди делили сад на участки по сортам винограда. Виноградные делянки перемежались с абрикосами, яблоками, сливами. У одной изгороди возвышалась куча плетеных корзин, вложенных одна в другую. Витя присмотрелся: бог мой, целехонький, неубранный участок! Странное это растение, виноград, можно пройти рядом и не заметить под листьями гроздьев. Но сейчас все кусты одновременно открылись: «Гляди, какие крупные сладкие ягоды! Не сегодня-завтра придут сборщики и уберут подчистую. Не зевай!» Витя заполнил корзину тяжелыми гроздьями, с трудом приподнялся и поставил на место, не представляя, как ее понесет, прилег под куст и так увлекся, набивая рот хрумкими «дамскими пальчиками», что не заметил, когда подкрался сторож, грозно что-то прокричал на татском языке и щелкнул затвором ружья. Витя поднялся с земли. Броситься, наутек? Опасно. Получишь заряд соли в ягодицы.

Сторож стволом ружья подтолкнул его к корзине, заставил взвалить на спину и повел к пятачку, куда со всей плантации свозили урожай для отправки в город. Тут было многолюдно и шумно. На чумазого подростка мало кто обратил внимание. Сторож совсем не походил на доброго Робинзона Крузо. Он принес веревку и привязал Витю к дереву, как дикаря Пятницу, и под гогот рабочих, видимо, желая показать, что он не зря ест колхозный хлеб, пальнул из берданки вверх. На выстрел прибежал паренек с полевой армейской сумкой на боку, как понял Витя, секретарь комсомольской ячейки, увидел привязанного к дереву беспризорника и накинулся на сторожа, возмущенный. Сторож пытался возражать, наверное, жаловался, что у него не хватает сил гоняться за ворами, но под напором комсомольца все-таки развязал Витю. Паренек с укоризною обратился к рабочим, и те притихли, застыдились своего веселья, а один набрал охап-

ку винограда и вложил в руки Вити, который с горечью подумал: «Лучше дал бы кусок лаваша...»

— Ты чей? Откуда? — спросил комсомолец по-русски, когда Витя уже собирался дать стрекача. — Хочешь работать в колхозе?

«Хочешь лаваш?» — слышалось Вите, но и паренек не догадался накормить его, а прислонился спиной к дереву, достал из полевой сумки блокнот, вырвал листок и быстро настрочил карандашом адрес правления колхоза.

— Приходи завтра. Я там буду. — Он ловко сунул кожаный язычок с металлическим наконечником в застёжку и откинул полевую сумку на бок. У всех горцев было пристрастие к армейским вещам, как давно заметил Витя.

10

Наступил сиротливый, пасмурный, с редким дождичком вечер на плохо освещенных улицах Дербента. По окраинам древний город рано засыпал, словно старик под бременем лет, которого уже ничто не заботит, поел да на лавку, и в тишине влажного тяжелого воздуха далеко разносилось «пих-пах... пих-пах... пих-пах...», как похрапывание во сне. На этот звук и брел Витя, путаясь в узких кривых улочках, сбивая ноги на неровных тротуарах. За все месяцы странствий никогда еще он не чувствовал себя таким подавленным, обездоленным. Домашние ребята сытно ели, чистенькие, приодетые ходили в школу, резвились на улице, а он, как отщепенец, не мог даже к ним приблизиться, заговорить, и его, оборвыша, сторонились или старались не замечать. Витя был бы страшно рад каким-нибудь стоптанным башмакам, не говоря уже о костюме. Ледяные камни мостовой жгли босые ноги, рваный пиджачок без единой пуговицы, с плотно запахнутыми полами, которые приходилось придерживать одной рукой, плохо грел. Дрожа, согнувшись вопросительным знаком, Витя слонялся вокруг «пих-паха», не решаясь подойти к нему: остерегался Безручки, но лучшего ночлега не знал и пошел напропалую: чему бывать, того не миновать! Решетка пустовала, на ней, у стены, прижавшись друг к другу, сидели два огольца. С неба накрапывал дождь, а над головой крыши не было. Сыро, грязно. В собачьей конуре и то лучше.

Витя отдал виноград огольцам, которые расправились с ним в два счета, и, ужасно усталый, повалился на решетку, сразу уснул. Пробудился среди ночи в тишине, «пих-пах» молчал, электростанция почему-то остановилась, решетки остыли, было холодно. Огольцов заметно прибавилось: что-то обсуждали, спорили; гремели откуда-то принесенные эмалированные кастрюли, в то время дефицитный товар. Прикрывая рукой рассеченную губу, какой-то мальчишка горячился:

— Безручка, хитрюга, удрал, а меня оставил! А их двое, один смазал кулаком, другой дал сапогом в зубы, я кубарем, не знаю, как вырвался...

Мальчишка отстранил руку от лица, и Витя увидел рассеченную опухшую верхнюю губу, похожую на заячью, и узнал рыжего Лешку.

— Откуда взялся? Где пропадал? — засыпали они друг друга вопросами. У Вити душа взвырвала: так измучился один на чужбине. Лешка тоже просиял, забыл и Безручку, и рассеченную губу. Уединившись, они вспоминали дом, Барклаевскую улицу, обсуждали, как выбраться из Дербента, покончить с бродяжничеством, которое обоим до чертиков надоело. Два месяца уже шли в школе занятия, а они забыли, как в руке держать карандаш.

— Стыдно домой заявляться в обносках, — сказал Лешка, горестно вздыхая, и потрогал свою опухшую губу. — Взбучка от матери будет!

— Ну и пусть! — возразил Витя, хотя прежде и сам стеснялся своего затрапезного вида, но теперь самая сильная взбучка представлялась наслаждением в сравнении с дербентскими невзгодами.

— Да и никакой взбучки не будет! — воскликнул он. — Домашние обрадуются, что мы вернемся живы-здоровы.

— Тебе, может быть, обрадуются. А меня маманя спросит: где костюм? Где новые ботинки?

— Знаешь что! Давай в колхоз поступим, вот записка от секретаря комсомольской ячейки, утром просил зайти в контору. Месяц поработаем, приоденемся.

— За месяц в колхозе приоденешься, держи карман шире!

— Что-нибудь справим, хоть плохонькое.

— Ладно, сходим в контору. Утро вечера мудренее. Не шуми только. Огольцы услышат. Ты никому не говорил про дом?

— Нет.

— Правильно. Ни гугу. Огольцы не любят маменькиных сынков. Потихоньку будем готовиться.

Витя тоже знал, что беспризорники презирали и изгоняли из своей среды мальчишек, сбежавших из дому, не понимая, как можно бросить живых отцов и матерей. В большинстве своем осиротевшие в голодный тридцать третий год они со слезами на глазах вспоминали безвременно умерших родителей, и пели в минуты грусти: «Вот умру, похоронят на чужбине меня, и никто не узнает, где могилка моя...»

С месяц назад, по дороге в Дербент, Витя попал в облаву и ночь провел в железнодорожной милиции, среди таких же, как сам, сорванцов. Один, быстроглазый и нахальный, по кличке Макуха, пытался отнять у него кепку, но другие запротестовали: свой оголец, такой же бездомный!

«Ты куда едешь?» — спросили они Витю.

По наивности он сказал, что к матери в Прохладную.

«Карманник? Майданник?»

«Чего?»

«Воруешь?»

«Не-ет... Я честно живу», — запротестовал Витя, не подозревая, что безнадежно падает в глазах огольцов. «Чмур, фрайер», — раздались на-

смешливые голоса, и Макуха, отдавший было кепку, снова сорвал ее с головы Вити:

«Тебе мать новую купит!»

Отношение к нему круто изменилось: через какую-нибудь минуту он был переодет в обноски, которые до сих пор оставались на нем и в которых Лешка не сразу признал друга.

Витя забрался в дальний угол «пих-пах», свернулся калачиком, не вытирая катившихся по щекам слез, вороша в памяти прошлое. Даже отчим не казался уже извергом: столько доброго он сделал для Вити!

«Грубиян!» — частенько называли Витю родные, и это было несправедливо, потому что душа у него была чуткая и отзывчивая, только ласкаться к маме или бабушке, как это делали другие дети, он стеснялся. Бывало, мама пристанет:

«Надень светлый костюм. Что ты ходишь замызганный?»

«Не хочу».

«Надень, тебе говорят!»

«Не буду».

На улице мальчишки сейчас же осмеют «паинька», «чистюлька», и Витя упрямился, не хотел выделяться среди ребят, да и в новом костюме не полезешь на дерево, не поваляешься в траве.

Бывало, и бабушка, высунувшись в окно, когда Витя в азарте гонял мяч по улице, приставала:

«Иди обедать!»

«Не хочу».

«Что значит «не хочу»? А ну марш домой. Все уже остыло».

«Я еще поиграю».

«Сейчас же домой».

Или скажет кому-нибудь из гостей, поглаживая Витю по голове:

«Кормилец наш растет».

Вите казалось страшно неловко, он вырывался из рук бабушки и убегал. Конечно же, взрослым он будет выполнять все сыновние обязанности не по долгу, а по чести, но зачем об этом так часто напоминать?

«Непослушный. Грубиян», — слышал Витя о себе нелестные отзывы, а ведь сколько ласковых слов для мамы и бабушки вертелось в его голове: «Милая мама! Милая бабушка! Я вас никогда, никогда не забуду и не оставлю, в какое бы дальнейшее путешествие не отправился. Я вас очень, очень люблю...» Но вслух сказать это почему-то было стыдно, легче нагрубить. «Возвращусь домой, — думал Витя, — больше никогда не буду перечить маме и бабушке!»

Лешка тревожился за опухшую губу:

— Как бы заражения не было. Йодом бы смазать.

— Присыпь сажей. Заживет, как на собаке, — посоветовал Витя знакомое народное целебное средство.

Лешка наскреб с пих-паховской трубы в горсть саж и сунул в нее рассеченную губу.

— Щиплет, стерва! — сморщился он, осторожно прижимая и отнимая горсть.

— Безручка чапает за долей! — Витя показал рукой на знакомую фигуру в переулке и вскочил на ноги, собираясь бежать: опасение — половина спасения.

— Сиди, не бойся. Я тебя в обиду не дам. — Лешка глянул исподлобья на своего компаньона в рубаше, выпущенной по-цыгански из-под пиджака, кепчонке блином, галошах на босу ногу и с трубкой газеты в руке:

— Получит он долю, паскуда!

Безручка пьяненько улыбался, делал вид, что ничего не случилось, оправдывался:

— Поверь, кореш, я этих зверей приметил, устрою им в натуре хорошую жизнь! Убей меня бог, не знал, что тебя сцапали. Ладно, не горюй! Есть место сплавить кастрюли.

— Я сам сплавлю.

— С такой губой? Завалишься, как пить дать.

— Ляма поможет.

— Какой Ляма? — Безручка всмотрелся в лица беспризорников и узнал Витю. — Ты здесь, дорогуша? Ну привет, мальчик. Я же говорил, что встретимся. Так ты и есть Ляма? — Он язвительно искривил губы и повернулся к Лешке. — Нашел дружка домашнего, в Прохладной у него мать!

— Никого у меня нет в Прохладной, — отчаянно выкрикнул Витя.

— То-то огольцы раскурочили тебя в тамошней милиции, как фрайера. Макуха рассказывал мне... Братва! — обратился Безручка к пихпаховцам, стараясь настроить их против Вити. — Как вы терпите в своем шалмане сявку? Он же продаст вас с потрохами первому лягавому!

— Нету у него никого в Прохладной. Он свой — вступился за Витю Лешка.

— А ты сам не домашний, случаем? — Безручка ехидно сузил глаза.

— На понт меня не возмешь! Я таких гавриков много видел! — посыпал Лешка блатными словами, Витя только диву давался, где он их нахватался и как ловко отчитывал прожженного блатняка! Вообще беспризорники наравне держались с дядями, намного старше их возрастом, чего у Вити никак не получалось. Но Лешка мог.

Перепалка не понравилась обитателям «пих-пах», они запротестовали:

— Берите свои кастрюли и мотайте отсюда подальше, пока легавые не нагрнули!

Огольцы были правы: когда Безручка складывал кастрюли одну в другую, уломав-таки Лешку, из темноты грозно раздалось:

— Сидеть! Ни с места!

Два милиционера, с ними несколько человек в штатском, окружили «пих-пах».

Толстый, рябой, похожий на бабу, с узкими калмыцкими глазами на чуть запрокинутой голове, он покачивается на скрещенных по-восточному ногах и говорит, говорит, словно вертится бесконечная патефонная пластинка. Фразы вяжутся легко, события следуют за событиями — сказка, не сказка, правда, не правда, скорей всего он сам сочиняет по ходу рассказа:

— И пришли они к вавилонскому царю Навуходоносору и говорят ему: «Ты, завоеватель Иудейского царства, владыка всей Месопотамии, рассуди, как нам быть: разверзлись горы Аккада и открылись несметные богатства в семи пещерах...»

Витя на широких деревянных нарах полулежа слушает, открыв рот, зачарованный древними именами и географическими названиями, известными ему и раньше, что убеждает в достоверности рассказа. Не один Витя зачарован. Вокруг рябого собралось полкамеры, и он в упоении тклет пестрым персидским ковром историю за историей, переносясь из древней Палестины в Скифию, из Скифии в средневековую Московию, а то накрутит такой чертовщины, нагонит такого страха, что мурашки забегают по спине.

Глаза уже совсем закрыты, рябое лицо лоснится от жира, в уголки рта набегает вязкая белая слюна, сдается, он спит, но голос не смолкает, фантазия не истощается:

— И обвалилась скала, и погребла ненасытного змия вместе с сокровищами...

Слушатели молчат под впечатлением страшной истории, и сказитель после небольшой паузы скороговоркой:

— Был себе человек Яшка, на нем серая сермяжка, на затылке пряжка, на шее тряпка, на голове шапка — хороша ли моя сказка?

«Вот бы все это записать на бумаге. Шикарная книга получилась бы!» — думает Витя. Но рябой совершенно безграмотный, расписаться не может, ставит крест.

— Эй, Мустафа, чего замолк? Давай еще трави! — кричат отовсюду с нар. Интерес к сказочнику не пропал, напротив, к ночи возрос. Вся камера уже не спит.

— Жил-был журавль с журавушкой, поставили они стожок сенца, не сказать ли опять с конца?

— Давай еще про царя с худым носом!

— Хо-хо-хо!

И снова бубнит Мустафа в сумерках огромной, как казарма, тюремной камеры. Чуть поблескивает асфальтированный пол. У тяжелой, обитой железом двери с глазком зыбко очерчивается деревянный, суженный сверху бочонок параша с двумя ручками по бокам; от которого исходит тяжелый дух.

Светлеет и гаснет глазок на двери. Надзиратель сердито бросает:

— Не шуметь! Отбой!

Спали впокатную, укрываясь одеждой, какую носили, и ее же стелили. Нары вытерты до блеска, как и асфальтированный пол. По утрам два огольца выносят парашу и оставляют до ночи в уборной. Беспризорники одеты по-прежнему в старье, лишь продезинфицированное, но сами вымыты, острижены наголо и так изменились, что посматривают друг на друга с любопытством.

Полусвет, запах прожаренного в дезинфекционных печах барахла и опрысканных раствором карболки полов, полная оторванность от внешнего мира, бледные лица отсидевших уже не один месяц подследственных — унылая, принижающая и отупляющая обстановка. Одни огольцы подвижны, веселы, не падают духом.

— Вас тут долго не задержат, — сказал им Безручка с заметной завистью. — Направят в детскую колонию. А там воля!

В камере находился разный народ по разным уголовным делам, но ни один не признавал за собой вины и ждал освобождения, однако почему-то после суда возвращался в камеру со сроком и уже больше не оправдывался.

Худенький мужичок с детским личиком и полусогнутой усохшей правой рукой, которую он держит на отлете, стыдится своего греха и извинительно улыбается:

— Я не виноват... пальцем девочку не трогал. А мать у нее лярва, из мухи слона сделала!

Через день мужичку приносят передачу, но Безручка отбирает ее тотчас, как надзиратель захлопывает дверь. Беспризорники рассаживаются вокруг домашней снеди и уписывают с аппетитом.

— Хоть кусочек сальца оставьте! — просит мужичок.

Безручка иногда сжалится, подаст кроху:

— Бери да помни мою доброту!.. Хо-хо! Любишь кататься, люби и саночки возить. Старый хрен, а туда же, на молодятину.

— Я не виноват... Вот как есть не виноват!

— На суде будешь оправдываться... А пирожки твоя жена печет добрые. Ты ей побольше закажи... Мустафа, лови! — окликает Безручка рябого сказочника, который латает разостланное на нарах свое драное пальто цыганской иглой. В руки ему летит пирожок.

— Вот кому не жалко дать и сальца. Для общества старается человек. А от тебя, старый хрен, какая польза?

В подследственной камере Безручка держится хозяином, всеми повелевает и чувствует себя вольготно: над головой крыша, вовремя тюремная пайка с баландой, а на воле уже зима, каспийские пронизывающие до костей ветры с дождем. Сытый от поборов, с круглым животиком, он подтягивается одной рукой к решетке на окне, выходящем на тюремный двор, и заунывно поет:

Ты ходишь пьяная,
Всегда усталая,
По темным улицам
Махачкалы...

- Петь не разрешается, — строго слышится со двора.
- Извините, товарищ милиционер.
- Какой я тебе товарищ?
- Гражданин милиционер! — живо поправляется Безручка.
- То-то.

Он поворачивается лицом к арестантам, сбивает кепчонку на глаза, засовывает руку в карман, а культяпку задирает вверх, форсисто, шаркая ногами, идет по камере:

Когда был я на Тифлис,
Очень задавался,
Семь извозчик нанимал,
Сам один катался!

И, пристукивая каблуками новых туфель, снятых у фраера тут же в камере:

В кавалерии служил,
На барьер скакался,
Кувырком летел на землю,
Мордам поламался.

Приседая на край нары и забрасывая ногу на ногу:

От Батума до Очамчири
Едут много пассажиры,
Между ними я один,
Иностранный армянин

Тянет с нар перепуганного мужичка с усохшей рукой, обхватывает за талию и кружит:

Кахетинский вина пием,
Дело понимаем,
Русский девочка берем,
Польку танцуем!

Гремит засов, тяжелая дверь открывается, два дежурных из зэков вносят на фанерном квадратном подносе фунтовые пайки серого хлеба. Их съедают, не дожидаясь баланды, разойдясь по своим местам. Хлеб вкусный, из пшеничной с неотсеянными отрубями муки, ел бы и ел...

Безручка пристает к Вите, предлагая разыграть «птюшку» в карты и ловко, распуская веером, тасует самодельную колоду, сделанную из газе-

ты и ученической тетради. Витя видел, как нарезали заготовки бритвенным лезвием, тайком пронесенным в камеру, и клеили хлебным крахмалом, протертым сквозь носовой платок, а потом раскрашивали с помощью трафареток. Карты отбирал надзиратель, застав заключенных за игрой, но в камере было несколько самодельных колод.

Ставить пайку на кон, лишать себя пропитания — последнее дело, и Витя отказывался, но Безручка так настырно приставал, видимо, уверенный в выигрыше, что пришлось согласиться.

— По-честному?

— По-честному, — заверил Безручка.

Только убеждение, приобретенное на «пих-пахе», что урки отвечают за свои слова, заставило Витю сесть играть. Он ожидал, что Безручка не позволит мухлевать. Но тот нахально передергивал карты, приписывая себе лишние очки, а когда Витя уличал его в этом, сердился и торопил:

— Давай, давай, мечи! Ну обмешулился. Больше не буду.

И все же он, как ни мухлевал, проиграл свою пайку. Поставил портсигар. Проиграл и его, потом рубашку, пиджак, брюки, новые туфли, все, что на нем было.

Витя научился «буру» на черноморской пристани, куда собирались урки, делали наколки на теле, резались в карты, а барклаевские мальчишки с любопытством наблюдали за ними. Дома они повторяли эти игры, конечно, в строгом секрете от родителей.

Витя чувствовал себя уверенно, а Безручка горячился и делал ошибку за ошибкой, в конце концов предложил поставить на кон свои хлебные пайки вперед за месяц, но Витя запротестовал, встал с нар.

Безручка насильно усадил его на место, лихорадочно тасуя карты:

— Вот... значит, я ставлю пайки за месяц, ты брючата, клифт, колеса*, все, что у меня выиграл...

— Дурака нашел, месяц тут нас никто держать не будет!.. Ладно, мечу в последний раз, но сначала раздевайся, складывай барахло в кучу.

— Голый, что ли, буду играть?

Раздеваться Безручка не стал, даже отдавать сегодняшнюю пайку хлеба не собирался, это было уже ясно.

— На воле руки тряслись, боялся воровать, так в киче* хочешь приодеться? — язвительно сказал он, пряча карты в карман.

— Не отдашь барахло? Останешься заигранным! — припугнул его Витя, зная о существующем в блатном мире правиле презирать и жестоко расправляться с невыполняющим условия картежной игры.

Безручка прикусил язык, притих, но и не расплачивался.

Витя негодовал, адресовался за поддержкой к беспризорникам, все напрасно. Убеждение его о порядочности урок сильно поколебалось. Среди них в еще большей степени, чем где-либо, правым оставался тот, кто был сильнее.

Снова загремел засов, распахнулась дверь, вошел надзиратель и зачитал по списку фамилии пихпаховцев, вместе с Безручкой вызывавшихся на суд.

Витя ожидал перекрестных вопросов, показаний свидетелей, взволнованной речи защитника, обличительной — прокурора, а вышло просто и коротко. Молодой судья при двух заседателях спросил:

— Как фамилия?

Витя замялся.

— Фамилия.

— Лямин, дядечка, — назвал он материнскую, вспомнив, что так говорил и следователю.

— Родные есть?

— Нету, дядечка.

— Врет! — выкрикнул Безручка. — В Прохладной у него мать!

Судья брякнул колокольчиком:

— Помолчите! До вас очередь дойдет... Чем занимались?

— Путешествовал.

Безручка захохотал. Судья сердито покосился в его сторону и сказал Вите, чтобы садился.

— Товарищ судья... извините, гражданин! Войдите в положение инвалида... Облешил меня заводской станок... Вынужден добывать себе на пропитание случайным заработком, — плакался Безручка, когда его допрашивали.

— Каким же?

— Сами понимаете, токарем я уже не могу... — Он поводит в воздухе культияпкой.

— А воровать можете... Ваше постоянное местожительство?

— Гудермес.

— Как вы попали в Дербент?

— Приехал к товарищу, но дома его не застал...

— И занялись похищением кастрюль?

— Зачем же похищением? Я купил по сходной цене.

— В три часа ночи на «пих-пахе»?

Никакого особого судебного разбирательства не требовалось, все было ясно и так. Посовещавшись с заседателями тут же, не выходя из зала, судья объявил приговор: Безручке полтора года тюремного заключения. Вите, Лешке и другим пихпаховцам — по году исправительно-трудовой колонии для малолетних.

* * *

В Ставрополь свезли беспризорников со всего западного Каспия. Уже в санпропускнике Витя встретил много знакомых лиц. И его узнавали. Подкатился быстроглазый, нахальный Макуха:

— Как ты сюда попал, домашний? Где же твоя мама?

Но сейчас Витя не очень его занимал: беспризорники оставляли свое тряпье в раздевалке, стриглись, шли мыться, после чего получали одежду, от носков до костюмов, всю новую — событие немаловажное, праздничное.

В бане летели во все стороны брызги, мелькали голые тела. Мальчишки исподтишка старались облить друг друга холодной водой или незаметно подложить под ноги обмылок. Урок можно было узнать без труда: они держались свободно, независимо, дурачились больше всех, в то время как остальные ребята вели себя тише воды, ниже травы. Вите тоже было не до веселья, на душе скребли кошки после встречи с Макухой, который, не исключено, будет жить с ним в одной комнате и, конечно, всем растреплет про то, как на станции Прохладной в железнодорожной милиции урки раскурочили домашнего. Чего греха таить, потершись на «пих-пахе» среди беспризорников и поднаторев в блатном жаргоне, Витя выдавал себя за урку, прикрывался этим, как защитным панцирем, и урки принимали его за своего, не обижали. Но вот теперь все осложнилось. Макуха постарается низвести домашнего до последнего сывки, в этом не было сомнения, и у Вити на сердце лег тяжелый камень.

— Огольцы, а с нами девчонка моется! — выкрикнул Макуха с разгоревшимися глазами, выглянув из душевого отделения, и все мальчишки ринулись туда, в том числе рыжий Лешка. Но у Вити было так скверно на душе, что эта диковина нисколько его не заинтересовала. Он остался на своем месте.

Мальчишки возвращались, ухмылялись и снова бегали смотреть на голую девчонку, по ошибке попавшую в мужской душ. Что там происходило, Витя не видел.

— Ты что над ней глумишься, гад? — услышал он голос Лешки.

— А тебе какое дело? Чего богуешь? — провизжал в ответ Макуха. Раздались звонкие лещи, возня. Витя поспешил к другу, решив, что его избивают, но увидел Макуху с закрученной назад рукою, в которой была финка. Лешка отнял ее и выбросил в форточку. Разъяренный Макуха мог пойти на все, даже на убийство, и урки уважали его за дерзость и смелость. Но и Лешка был не из трусливого десятка.

Под крайним душем, у стены, хныча, неприкаянно стояла девочка лет двенадцати, подстриженная под мальчика. Сиротливая, беззащитная, она не пыталась даже убежать и, наверное, до сих пор не помылась. Воспитатель из предбанника позвал всех одеваться.

— Я тебе это запомню! — с угрозой пообещал Макуха, когда выходили из душа.

— Видел я таких... — Лешка, презрительно глянув на своего противника, добавил обидное ругательное слово, отчего Макуха весь передернулся, но смолчал и в драку не полез при воспитателе. Человек он был коварный, затаил обиду до подходящего случая.

Витя был уверен, что теперь Макуха унизит его непременно, как друга Лешки, и избегал с ним встречи. Первое время это удавалось, раз, правда, они столкнулись лицом к лицу в столовой. Макуха на ходу схватил Витю за полу пиджака: «Эй, домашний!», но Витя сделал вид, что это относится не к нему, и, не останавливаясь, побежал к своему столу. Макуха уже пообедал, выходил из столовой и не стал преследовать. Но Витя понимал, что избежать столкновения с ним будет невозможно, рано или поздно что-то произойдет. До чего же не везет; отворотил от пня, да налетел на колоду.

И вот в один пасмурный денек без дождя на задворках, словно шутя, Макуха запустил в Витю камнем, попал в ногу, больно ушиб и вместо сочувствия или извинения дурашливо захохотал. Он принялся пулять камень за камнем, находя в этом, как видно, забаву. Витя увертывался, кричал: «Глаз выбьешь! Хватит тебе!» Но Макуха будто осатанел и уже не кое-как, не спрехвалы, а со всей силы швырял камни и, когда попадал, когда Витя корчился от боли, дико, самодовольно смеялся. Он ни слова не говорил, не объяснял причины своей жестокости, а с дальнего расстояния упорно методически расстреливал свою жертву.

Пятясь, Витя не спускал с Макухи глаз, зорко следил за полетом каждого камня, не решаясь пуститься наутек из опасения получить удар в затылок. Он лавировал, делал зигзаги, приседал, оглядываясь назад, скоро ли будет забор, за которым его ждало спасение. Оставалось метров сто, и Макуха, видя это, усилил атаку. Камни попадали в ноги, живот, грудь. От сильного удара в плечо онемела, повисла плетью рука. Витя не понимал, за что его так наказывают, и уже не просил пощады, не вскрикивал от боли, а лишь выбирал подходящий момент, чтобы юркнуть в лаз. В честном поединке он непременно наколошматил бы и обратил противника в бегство, но сделай это сейчас, завтра же будет жестоко отомщен блатным кланом, не сможет больше свободно ходить в школу, гулять в городе по увольнительной, даже есть в столовой, повсюду его будут подстергать урки или их приспешники.

Макуха делал свое дело со злорадством, при каждом удачном попадании подпрыгивал от удовольствия, был уверен в своей безнаказанности и не заботился о самообороне, шел вразвалку, поглядывал на Витю с любопытством, как, наверное, лаборант с ножом на подопытного кролика.

Но вот и лаз. Просвистел и грохнул о забор последний камень. Витя бросился, сломя голову, в дыру и через двор в жилой корпус. Он не пожаловался воспитателю, не пошел даже в санчасть лечить ушибы, а вечером отправился к уркам, чтобы вызвать Макуху на честный поединок. Урки или «пятая колонна», как их называли воспитатели, угрожали, травили, строили козни, стараясь подчинить своему влиянию колонистов, выдавали себя за справедливых, как они это понимали, считая, например, незачетным обворовывать фраера, обмануть воспитателя, но преследовали подлость в своем кругу.

На пустыре вершился суд над здоровенным глуповатым парнем, который то ли «боговал», но ли насексотил воспитателю, Витя точно не понял, так как застал конец разбирательства дела. Решение было не очень строгое по здешним понятиям: десять ударов палкой по ногам. Парень, понурив голову, покорно ждал наказания. Урки были настроены благодушно, видимо, довольные тем, что смогли покорить такого верзилу, и Макуха, осуществлявший экзекуцию, без особого рвения взмахнул палкой: рраз... рраз... Парень вздрагивал при каждом ударе, подгибал колени, но было заметно, что для него это комариные укусы.

Отсчитав десять ударов, Макуха отбросил палку, вернулся на свое место, сел на корточки и как бы между прочим кивнул в сторону Вити:

— Теперь и Ляма сексотить не будет. Я его сегодня хорошенько проучил. Не будешь, а? — Он подмигнул с примирительной улыбкой.

Витя, ничего подобного не знавший за собой, вскипел:

— Кому я сексотил? Про что?

— Воспитателю. Про то, что играли в карты в вашей комнате.

— Когда играли?

— Вчера после обеда.

— Я из столовой прямо в мастерскую пошел, в спальню не заходил!

— Это не Ляма насексотил, — сказал судья. — Новенький. Я до него еще доберусь!

— Новенький? — удивился Макуха. — А я думал Ляма... Ну ничего, на будущее домашнему аванс!

Так Витя и ушел ни с чем.

* * *

Орудие труда — пучок ваты, обернутый тройным слоем марли и смоченный в палитуре. В нос шибает острый запах спирта и какого-то красящего вещества. Этот запах стойко держится в мастерских, как и запах свежееобструганной смолистой клейкой сосны.

От палитур пальцы коричневые, как от кожуры грецкого ореха. Витя старается не отстать от других, работает с охотой, первый раз попав на производство и занимаясь полезным делом. Он никак не ожидал, что сможет из деревяшки что-либо смастерить, разве только грубый кораблик, а тут открыл в себе интерес к столярному делу, из-под рубанка выходили забавные вещи, и это было непонятно, как фокус волшебника.

Из окна, возле которого стоит верстак Вити, видно белое здание в несколько этажей, похожее на школу. Там живут колонисты. Просторная спальня с высокими окнами, через которые солнечные лучи достают до противоположной стены и отражают на ней оконные переплеты, два ряда голубых коек с пружинистыми сетками (можно раскататься и подлететь вверх на метр!), белоснежные простыни, байковые одеяла, аккуратно, по стандарту, заправленные постели, и на спинке каждой кровати — полотенце с красно-синей каймой — вот где теперь спал Витя!

Утром он просыпался под марш духового оркестра в спортзале, направлял койку, бежал умываться, после чего — на построение и зарядку.

Режим дня строгий, Витя прежде такого не знал, но почему-то не тяготился им, напротив, был доволен этому порядку, этой целесообразности жизни. В нижнем этаже — столовая, тоже светлая, большая, как спортзал. Столы покрыты накрахмаленными льняными скатертями, каждый на четыре персоны.

В колонии были «старички». Они вот-вот переселятся в городские квартиры, будут работать на мебельной фабрике краснодеревщиками. В Витином представлении все они, как один, красивые, рослые, в шевиотовых темно-синих костюмах, при галстуках. В кинотеатре держатся отдельной группой, придя смотреть первый звуковой фильм «Путевка в жизнь».

Горожане оборачиваются в их сторону, не верят своим глазам:

— Подумать только, недавно были урки!

— Скурвились, — презрительно отзываются о «старичках» те, кто не порвал с воровским миром и смотрит на колонию, как на временное местопребывание — до теплых дней! Если бы не урки, не Макуха, лучшей жизни Витя не желал бы. Присутствие их гнетет, как плохой сон, в котором стараешься избавиться от чего-то тягостного, неприятного, и все напрасно.

В колонии много схожего с тем, что происходит в фильме.

Макуха года на два старше Вити, но мельче, ниже ростом, сидит на верстаке, болтает ногами и посматривает, как огольцы вкалывают, сам же отлынивает.

— Потеплеет — и на волю, только меня видели! — говорит он Вите, который полирует бильярдные кии и аккуратно рядом ставит их к верстаку, как ружья в пирамиду. — А ты, домашний, потом, как закончишь, половину заготовок переложить в мою кучу. Ясно?

В мастерских делают бильярды. Заработок колонистов идет на питание, одежду, постель, остаток перечисляется на сберегательную книжку, но бывает, урки, вроде Макухи, часть заработка берут себе. В колонии блатняки живут обособленно, по своим воровским правилам, тайно, без увольнительных, ходят в город, добывают там папиросы, водку, карты, держат всех под страхом.

— От работы кони дохнут, — бахвалится Макуха, сплевывая в кучу стружек. — Я лучше украду. Ты горбом своим заработаешь, а я у тебя украду! Хе-хе!

Витя слушал наглую речь весь на пределе, готовый в любую минуту взорваться. С ним это уже было, когда, не помня себя, не думая о последствиях, он гневно обрушился на обидчика, который был старше и сильнее. Что-то подобное назревало и теперь.

Макуха забрал отполированные кии и понес к своему верстаку.

— Мастеру ни гугу. Понял?

Витя преградил ему дорогу:

— Положь на место!

— Чиво?

— Положь на место по-хорошему!

Макуха никак не ожидал сопротивления и озадачился.

— А ну отойди! — грубо толкнул он Витю, но в ответ получил такой сильный удар, что, рассыпая кии, полетел в кучу стружек, нашарил рукой чурбак, вскочил, замахнулся, но от встречного удара опять зарылся в стружках.

Рыжий Лешка, наблюдая драку из дальнего угла цеха, хохотал над беспомощностью Макухи. Падая, он перевернул банку с палитурой, стружки и опилки налипли на его одежду, набились в волосы. Наверное, так выглядел наказанный самосудом преступник, когда его вымазывали дегтем и обсыпали куриными перьями.

— Дай ему покрепче! У меня давно чешутся руки на эту гадину... Чего он нарываемся? — спросил Лешка, подходя к Вите.

— Заставляет на себя работать. Говорит: я урка, а ты домашний.

— Какой он урка? Кусочник! В колонии нос задрал, а на воле я его видел с протянутой рукой: «Тетенька, подайте копеечку...» Эй, сопля, помнишь в Прохладной куски сшибал?

Макуха бросил на Лешку пугливый взгляд, поднялся с пола и, отряхиваясь, ушел без оглядки.

— Что теперь будет, Лешка, а? — сказал растеряннo Витя.

— Как что?

— Макуха настроит всех блатняков, хоть сбегай из колонии.

— Держись ближе ко мне, ничего не случится.

На Лешкину храбрость мало было надежды. Витя ходил сам не свой, ожидая нападения из-за угла или вызова на суд урок. На всякий случай он прихватил из мастерской стамеску, обмотал марлей и засунул за пояс брюк под рубашку. Он старался не попадаться Макухе на глаза в столовой, в школе, а вечером в спальне, с минуты на минуту поджидая появления блатняков, сидел на кровати, как на иголках, держа руку на стамеске под рубахой. До отбоя оставалось меньше часа, когда открылась дверь, вошел воспитатель и назначил Витю вместе с другими ребятами чистить на кухне картошку. Как же он обрадовался этому нудному делу!

С Макухой встретился там, где не ожидал, — поздно ночью, возвращаясь с кухни, в коридоре жилого корпуса. Полуодетый, в ботинках на босу ногу, Макуха шел из туалета, остановился на порядочном расстоянии от Вити, не спуская с него глаз и заметно волнуясь:

— Ну чего ты, чего ты нарываешься? — сказал он, опасливо косясь на руку Вити под рубашкой.

— А ты чего?

— Я ничего.

— Ну и я ничего.

Макуха прошмыгнул мимо, оставив Витю в недоумении: никак он не ожидал этой пугливости. Лешка, выслушав Витю, рассмеялся:

— Блатняки — трусы. Запомни! Богуют, когда силу за собой чувствуют. А чуть прижми — в кусты. Я его, гада, предупредил, чтоб молчал, иначе все урки узнают, как он куски сшибал в Прохладной. Плакал, просил, чтоб не говорил...

* * *

Всю ночь горел в спальнях свет, мальчишки в нижнем белье и накинутых на плечи одеялах сидели на кроватях и обсуждали случившееся: «пятая колонна» обворовала кастилянскую и смылась. По комнатам ходили озабоченные воспитатели, выясняли, кто на месте, кого нет.

Под утро привели снятых с поезда на станции Кавказской похитителей нательного белья и простыней, выстроили в пустом вестибюле напротив навязанных узлов. Перепуганные, бледные, успевшие замызгать одежду, перепачканные в мазуте, они уже потеряли облик колонистов и выглядели чужаками.

Старший воспитатель ходил перед строем и говорил, как читал приговор: преступников ожидала колония строгого режима.

Из строя выбежал заплаканный Макуха, взмолился:

— Не отправляйте меня... Я в кастилянскую не лазил, только помогал нести. Я исправлюсь!

Урки исподлобья поглядывали на изменника, но молчали, подавленные неудачным побегом. Их заперли в изоляторе, а днем увезли под конвоем, Макуху — с синяком под глазом.

Еще одно событие взбудоражило колонию. Во дворе собрался митинг. Из города приехал важный дядя с портфелем, поднялся на трибуну и произнес речь, клеймя «пятую колонну», имея в виду не блатняков, а каких-то других, еще более злостных врагов народа. Речь эта прозвучала отголоском грозных событий на воле, которые для подростков были мало понятны.

Витя завел толстую, с клеенчатой обложкой тетрадь и в свободное время, уединившись, записывал впечатления каждого дня, иногда стихи. К этому его давно тянуло, казалось, вот-вот он сочинит такое, что все удивятся и признают в нем писателя. А по понятиям Вити, писатель достоин удивления. Он не такой, как все, может быть, не ест и не пьет, а, как бог, питается святым духом, ходит по своему кабинету и сочиняет необыкновенные истории. С таким же благоговением маленький Витя, когда в доме еще не было отчима, относился к продавцу магазина, куда бабушка посылала его за солью, спичками и мылом. Продавец казался самым могущественным человеком в городе, владельцем несметных богатств, всего необходимого для каждой семьи, и этими богатствами он заполнял полки по щучьему велению, по своему хотению: скажет волшебное слово, и магазин полон продуктами! Такого человека трудно представить обыкновенным смертным.

Иногда Витя читал свои сочинения Лешке, койка которого стояла рядом и который знал о толстой тетради под матрасом в головах, хранив-

шейся тайно. Но Лешка был плохой советчик по писательской части, хотя книжки, особенно про войну, читать любил, как и смотреть кино, уже трижды побывал на недавно вышедшем звуковом фильме «Чапаев». В городе за билетами на эту картину вытягивалась очередь на квартал, да еще заворачивала за угол. Смотреть «Чапаева» ходили в колоннах, с лозунгами, как на демонстрацию.

Витя тоже любил военные фильмы. В колонии был кинозал. Если показывали немую картину, за пианино садился воспитатель и полтора часа напролет наигрывал мелодии, какие приходили ему в голову, военные марши и походные песни для фильмов про гражданскую войну. На экране возникала конница, а в зале звучал цокот копыт. Мальчишки поднимали невообразимый гвалт: кричали, свистели, топали ногами: «Наши попали в окружение!» Кончились снаряды и патроны, а беляки наседали со всех сторон. Связному удалось прорваться сквозь вражеское кольцо к главным силам и сообщить о бедственном положении. Раздавалась команда: «По коням!», и красные кавалеристы устремлялись на беляков.

Теперь на экране кадры чередовались так: «наши» отбиваются из последних сил, вот-вот им крышка, но появляется летящая аллюром конница. Головы всадников прижаты к гривам лошадей, навзлете клинки. И снова наши в осаде, и снова конница в аллюре. Гвалт в зале усиливается до предела. «Быстрее! Быстрее!» — орут мальчишки, вскакивая с мест и размахивая руками.

В самый напряженный момент загорался свет, смолкал стрекот киноаппарата, на экране замедлялся и останавливался кадр, а со стула поднимался сердитый воспитатель:

«Если будете шуметь, прикажу картину больше не показывать!»

Взбурдаженные мальчишки, захваченные врасплох, одни с ногами на стульях, другие в азарте трепля друг друга за волосы, третьи, кому не хватало мест, на полу, стуча по нему кулаками, отвечали хором:

«Не будем, не будем! Давайте картину!»

Бывало, что в критический момент рвалась лента, на экране смещался, перекашивался кадр, рамка вспыхивала ослепительным квадратом, механик спешно, при свете из киноаппарата, склеивал ленту под крики нетерпеливых зрителей:

«Сапожник! На мыло!» Наконец по залу разносилось ровное жужжание, экран приходил в движение, наши кавалеристы, гикая, размахивая шашками под бурный аккомпанемент пианиста, обрушивались на беляков.

Так было в немом фильме «Красные дьяволята», так было в звуковом «Чапаев», во многих про Гражданскую войну, и они полюбились мальчишкам. Собственная жизнь по сравнению с той, что показывали в кино или описывали в книгах, выглядела обыденной, не достойной пера, и Витя приходил в уныние, покидая кинозал или закрывая прочитанный роман.

Но Лешка был иного мнения:

— Ты возьми про меня напиши. Эх, и книга получится!

Говорил это он уже в постели, растягивая в зевоте рот и отворачиваясь к стене, наверное, мало веря в способность своего друга.

Но вот в стенной газете появилось Витино стихотворение. Лешке понравилось.

— Правда, напиши! Я тебе буду рассказывать, а ты мотай на ус. Роман получится — закачаешься! — приставал он теперь настырно.

Чем черт не шутит, может быть, и впрямь Лешкина жизнь достойна литературного произведения? Витя исписал десятка полтора страниц под диктовку, но, перечитав, начисто забраковал. Лешка наплел такого, что и на голову не наденешь, как говорила, бывало, Витина бабушка. Его рассказ мало чем отличался от расхожих в то время киносюжетов. Он не постеснялся ночного гостя в Абрау-Дюрсо, мужчину в панаме, писателя, превратить в диверсанта, переброшенного по морю из Турции с заданием взорвать цементные заводы. Один завод взлетел в воздух, но возле второго Лешка с помощью пограничников схватил преступника в момент, когда он подкладывал мину под кирпичную трубу.

— Брехло ты, Лешка! — рассерчал Витя. — Какой завод взорван? «Пролетарий»? «Октябрь»?.. Все они целы!

— В книге разве обязательно правду писать? — с наивным простодушием возразил Лешка.

— Ты же про свою «интересную» жизнь хотел рассказать.

— А что? Разве не интересно? Если кое-где и приврал, так это для того, чтобы выглядеть героем. Кому будет охота читать про сявку?

Витя написал не про Лешку, а про первомайскую демонстрацию, в которой участвовала трудовая колония. По улицам города, мимо трибуны, на машине провезли самый лучший бильярд с пирамидой белых шаров посреди зеленого поля. По углам стояли четверо ребят в спортивной форме, держа в руках кии, как пики. На бортах грузовика были прибиты кумачовые полотнища с лозунгами: «Не старайся выиграть миллиард в бильярд!», «Зоркий глаз и твердая рука помогут бить врага!»

К празднику колонисты получили новые темно-синие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками и хромовые ботинки на кожаной подошве. Красочная демонстрация, вкусный обед после нее, кино — все это осталось в памяти Вити светлым, радостным событием. Свою статью он послал в столичный детский журнал, который получала здешняя библиотека, и с нетерпением стал ждать майский номер, не зная, что он готовился к печати еще в январе. О том, что в Москву была послана статья, Витя скрыл даже от Лешки, не уверенный, что ее опубликуют, только попросил девушку-библиотекаря, как придет майский номер, сообщить ему. Журнал получили лишь в июне. С волнением Витя листал страницу за страницей, пробежал заголовки и фамилии авторов. «Сейчас.. на следующей...» — шептал он с трепетом в сердце, и если бы на самом деле увидел свою фамилию, то, наверное, подпрыгнул бы от счастья до потолка, но статьи его не было. «Возможно, письмо задержалось в дороге

и будет в следующем номере», — не терял Витя надежды. А вскоре из редакции пришел ответ, в котором выражалось сожаление, что статью поместить не смогли, хотя она всем понравилась, что такие оперативные материалы журнал не печатает.

В конце была приписка: «Пишите нам еще!»

Это письмо с красным клишированным названием журнала и адресом сверху листа Витя показал Лешке:

— Понял? Статья понравилась, просят писать еще!

На Лешку печатные буквы произвели впечатление, он не без зависти рассматривал и читал письмо.

— Покажи воспитателю! А хочешь, я снесу?

Витя показывал и воспитателю, и девушке-секретарю, и многим ребятам, при этом говорил с гордостью:

— Статья понравилась, просят писать еще. Понятно?

Нет, не стал он уркой, хотя, казалось бы все шло к этому: рос без отца, без присмотра, в семье, далеко не отличавшейся воспитанностью, мать порою жаловалась на своих родителей: «Грубы! Нас с братом в детстве окликали не иначе как: «Ленька! Лизка!» Сама она не закончила и приходской церковной школы, бабушка вообще была неграмотна, и Витя, предоставленный сам себе, день-деньской пропадал на улице, в порту. Урки, полундра, проститутки, казалось, должны были сделать из Лямы что-то себе подобное, дурных примеров и искушений было предостаточно. Но дно портового города, как и босаяцкие скитания в жизни Вити не оставили заметного следа, явились чем-то преходящим. Сильнее, во много раз сильнее его влекли к себе люди благородные, мужественные, честные, которых он находил в книгах. Пожалуй, они-то и оберегали мальчика от ложного пути.

* * *

Редакционное письмо, уже порядочно затрепанное, Витя хранил в толстой тетради, как музейную реликвию, и прочитал бабушке, приехавшей осенью забрать внука домой. Бабушка тоже, как все, приятно удивилась, но больше обрадовалась живому невредимому внуку, рослому, хорошо одетому. Она представляла его в разлуке жалким и зачуханным.

— Ну чего ты, чего ты, ба? — спросил Витя с неудовольствием, заметив слезы на глазах старушки. — В этот раз не напечатали, в другой обязательно напечатают!

— Напечатают, напечатают, куда они денутся? — согласилась бабушка, шморгая носом и утирая носовым платком глаза. — Какой же ты стал большой! Дай я тебя получше разгляжу. Будь примерным сыном, не загоняй мать раньше времени в могилу. Она по тебе вся изболелась.

Дома семья была в сборе: мама и отчим вернулись из станицы, но ненадолго, как сами говорили, дядя-студент находился на практике. Беглеца встретили без упреков, один дядя подозрительно оглядел племянника и спросил:

— А болезни ты не привез?
— Какой болезни? — не понял Витя.
— Дурной.
Витя сконфузился и тихо сказал:
— Я здоров.

Знаменитое письмо он читал и домочадцам, и знакомым ребятам, вся Барклаевская улица узнала о нем, собирался еще чем-нибудь порадовать редакцию, но ничего достойного пока не приходило в голову. Колония уже ушла в прошлое, писать о ней Витя больше не считал себя вправе.

На Барклаевской улице произошли большие перемены, сама она называлась теперь по-другому — Профсоюзная, неизвестно почему сменившая героическое имя на довольно унылое. Правда, жители оставались верны прежнему названию, что вовсе не сбивало с толку почтовиков. Улица заметно опустела: повзрослев, ребята оставили шумные игры, не ватажничали, как прежде, а кое-кто уехал в другие города и даже за границу.

Из Одессы отчалил теплоход с греками иностранного подданства, в том числе барклаевскими. Были они этому рады или нет, бог весть, только теперь могли воочию убедиться, насколько в Греции все лучше, чем в России. Из большой семьи Трифонида осталась одна старшая дочь Лиза, вышедшая замуж за русского художника и принявшая советское подданство.

Спустя некоторое время от нее барклаевцам стало известно, что все три брата, не имея возможности учиться, пошли работать на табачную фабрику, и что случилось несчастье со средним, Василяком: машиной ему оторвало руку.

Еще несколько лет спустя на торговом греческом пароходе — старой, с наплывами ржавчины на бортах, посудине (греческие суда, заходившие в порт, почти всегда были какие-то обшарпанные) — в город приплыл Алека, теперь масленщик машинного отделения.

С палубы он разглядел родной дом целым и невредимым, страшно обрадовался, как сам говорил, и поспешил на берег. Он обошел всех знакомых, одаривая сигаретами и кофе, и попросил Лешку купить для него фотоаппарат в обмен на шерстяной джемпер, примерно одинаковый по цене. Видно, торгашеский дух с возрастом у Алеки не истребился, и он собирался подработать на популярных в Греции советских аппаратах. Лешка уклонился от спекулятивной сделки.

Алека по-русски говорил уже совсем плохо, выдавливал из себя слова, как заика, и с горем пополам поведал историю своей семьи. Василяк открыл табачную лавчонку, взял в компаньоны Алеку, но вроде бы безбожно надувал его.

— Скоплю в плаванье денег, открою свою торговлю, — говорил Алека. — Тогда и женюсь.

Семьи у него до сих пор не было, хотя в волосах уже пробивалась седина.

Рассказал он и о Милике, ровеснике Виктора, с которым тот учился в одном классе, самом старшем из братьев. Милика вел разгульную жизнь, таскался по ночным кабаре, влюбился там в певицу и уплыл с нею в Аргентину. Долго от него не было никаких вестей.

Однажды судно, на котором плавал Алека, прибыло в Буэнос-Айрес. Где-то здесь жил Милика. Случайно Алеке удалось отыскать своего старшего брата. Нашел он его в портовом притоне в ужасном состоянии — обрюзгшего, чуть ли не в лохмотьях, в дым пьяного.

— Уедем отсюда. Спрячу тебя в машинном отделении. Жди меня завтра вечером. — Так или примерно так Алека наставлял брата. Но когда на следующий день явился с товарищами в портовый притон, чтобы тайком провести Милику на судно, то нашел его снова пьяным до такой степени, что тот и шага не мог сделать. И так было все дни, пока греческое судно находилось в порту.

Алека закончил свой рассказ со слезами на глазах: он уже не надеялся увидеть старшего брата...

Семья персов выбралась из подвала и переехала в собственный дом, купленный отцом Ахмета в другом районе города, на Станичке. Витя как-то встретил на Серебряковской Ахмета, в первую минуту не узнал: так он сильно вырос, почти догнал отца.

— Я уже работаю, — сказал Ахмет, почему-то смущаясь. — Вместе с отцом торгую фруктами.

Витя ожидал, что Ахмет-забияка, каким он был в детстве, изберет профессию военного или моряка, а увидел скромного, застенчивого парня, с обсыпанным прыщами лбом, и удивился: как с возрастом меняются люди!

А вот Лешка только и говорил об армии, о военном училище, куда намеревался поступить после девятилетки, чтобы стать общевоинским командиром, водить в сражения полки.

Соседка Альбина вытянулась, похудела, «кости да кожа», как о ней отозвалась бабушка, видя в учении одни человеческие муки: Альбина поступила в педагогическое училище, была озабочена и деловита. Витю встретила так, будто час назад с ним рассталась, даже не поздоровалась и заговорила без интонаций и пауз:

— Возвратился, набартыжался? Пора браться за ум! Читал Макаренко «Флаги на башнях»? Почитай! Поучительная книга для таких, как ты. Что собираешься делать? Учиться? Работать? А у меня скоро занятия. Дохнуть некогда. Сейчас бегу в городскую библиотеку! — И она посыпала названиями книг, какие ей надо было взять на абонементе. — Ой, что же я заболталась! — Она метнула по сторонам разноцветными глазами. — Побежала!

Женя, самый старший из ребят, на следующий год призывался в армию. Он работал в мастерской по ремонту велосипедов и примусов, снимал комнату во флигеле одинокой бабки, дальней родственницы. Первую комнату занимала сама бабка, а вторую, с выходившим в сад окном, Же-

ня. Комната была уютная, с полосатыми ряднами по всему полу от самого порога, потолок низкий, окошко маленькое, заставленное цветами, с крохотной форточкой, и повсюду чистота, аккуратность, какие блюла хозяйка. Обувь снималась у порога, по полу ходили в шлепанцах или носках. Бабка была знатоком по части лекарственных трав. Собранные в пучечки и засушенные, они свисали с потолка в коридоре, лежали на поставках, выглядывали из-за божницы, в воздухе витал густой лекарственный запах.

Женя был мускулистый, с девичьей талией, до бесконечности проде- лывал «солнце» на турнике и носил пошитый в ателье на собственные деньги модный костюм, в котором было двое брюк. «Они раньше изнаши- ваются, чем пиджак, поэтому я заказал двое», — пояснил он Вите, пока- зывая свой гардероб. Вся одежда в нем была пошита со вкусом и не из простых тканей, можно было только позавидовать. О таких, как Женя, обычно говорят: «Порядочный молодой человек, не курит, не пьет. Кому- то достанется хороший муж».

Когда Витя вошел в комнату. Женя повязывал галстук и сказал, не от- рываясь от зеркала:

— На свидание спешу.

— На свидание? С кем?

— С Ниной.

— Лукьяненконой?

— Да.

— Ого! Она уже свиданничает?

— Ты ее разве не видел?

— Нет.

— Эге! Не узнаешь. Мы встречаемся в парке, идем в кино. Билеты уже куплены, у меня в кармане.

— И я с вами?

— Что ж, пошли, — согласился Женя без охоты. — А где же тебе би- лет взять?

— На руках куплю.

Нина поразила Витю взрослостью, одетая совсем как девушка, голу- боглазая, высокая блондинка, и хотя Женя был старше ее, ростом они бы- ли одинаковые, Женя даже чуть пониже. Витя диву давался: куда делась конопатая девчонка, которую он тягал за косу и привязывал веревкой к дереву?

Наверное, и сам Витя переменялся: Нина оглядела его с любопытст- вом.

— Слыхала, что вернулся. Почему к нам не заходишь? — Она чуть прищурила свои большие голубые глаза: они удлинились и сделались кра- сивее.

Странное ощущение испытал Витя, пожимая белую руку с длинными пальцами и покрытыми розовым лаком ногтями: он до сих пор считал се- бя мальчишкой, мог еще ввязаться с ребятами в игру в чурку, сделать на-

бег на чужой сад, а подруга его детства уже стала невестой: и походка, и фигура, и взгляд, и голос, и смех — все другое, не детское. Витя терялся, не зная, какие между ними могут быть теперь отношения? Не потянешь же Нину за косу, как прежде? Да и с косой она распрощалась, сделала короткую набок прическу, с уложенными волнами золотистыми волосами, и не смотрела на Витю по-собачьи преданно, как полтора года назад, а с непонятной, чуть иронической заинтересованностью, которую можно было истолковать и так и этак. Суженные голубые глаза словно говорили Вите: «Конечно, мы друзья детства, но я уже не та, и обращаться со мной по-мальчишески не позволю!»

«А как же тогда? — думал Витя, проводив Женю и Нину в кино, а сам, не достав билета, пошел бродить по парку. — Она стала совсем другая. Такая красивая...»

Вите сделалось радостно и легко. Он пустился вприпрыжку, дурашливо что-то выкрикивая, но вдруг осекся, огляделся по сторонам, не видел ли его кто-нибудь? Стало неловко: такие выходки, пожалуй, ему уже не к лицу, прохожие могут бог знает что подумать... Детство, пора жмурок, лапты, карамелек навсегда ушло, и Витя это сейчас понял со всей непреклонностью, понял, что вести себя надо иначе, соответственно солидному пятнадцатилетнему возрасту.

Бывает в жизни пора, когда желания не уносятся за пределы родного города, когда каждое событие в нем принимается близко к сердцу, — как вчера сыграла футбольная команда и ее нападающий, фаворит молодежи Добровольский, какое название дать килевой лодке, подготовленной к спуску на воду, как посмотрит Нина, если пойти сегодня на танцы в сером костюме и красном галстуке. Все происходящее вокруг Вити дома, на улице, в школе значительно. Со временем интересы расширятся, прежние представления о родном городе, о друзьях и подругах покажутся наивными и ограниченными. Но кто знает, не самая ли счастливая пора неприятных желаний и забот — короткая пора отрочества?

Помнится, перед самым побегом из дому Витя увидел Нину с подружками. Шли из школы. Нина закинула за плечи портфель и оживленно что-то рассказывала с незнакомой прежде претензией на взрослость: «Ну, я ей и говорю: «Ах, мамочка, я совсем ничего такого не делала. Я уже большая! И все понимаю». Девчонки поравнялись с Витей, но его не заметили за деревом. И хотя Нина была одета в школьное платье, скромно, по-ученически причесана, в простых туфлях на низких каблуках, уже тогда была заметна в ней перемена.

То, что два года назад лишь проглядывало, теперь обрело полную форму — Нина стала красавицей! Витя уже не уклонялся от встреч с нею, крича через забор: «Альбо! Альбо! Где ты? Выходи», — а, напротив, хотел чаще видеть. Но Нина почему-то охладела к Вите. Может быть, осознав свою красоту, она поняла, что на нем свет клином не сошелся, что вокруг много молодых людей, которые не прочь с нею подружить, а, может быть, и тайно мстила за детство: тогда ты меня не замечал, а теперь я обойдусь без тебя!

Еще какой-нибудь год-два назад мальчишки гуляли отдельно, девчонки отдельно, у тех были свои интересы, у этих свои, и если все-таки сближались, обычно в играх, то мальчишки делали это как бы нехотя. Но вот в какое-то время потянулись друг к другу. Парочками еще не ходили, собирались компаниями на чей-нибудь день рождения или просто скоротать вечер. Женю и Нину вдвоем в парке Витя увидел впервые и озадачился: а как он сам, смог бы пойти под руку с девушкой в кино или на танцы? Пожалуй, стеснялся бы, чувствовал себя неловко. Пока и одному хорошо.

Наступило последнее воскресенье августа — прощание с летом. Собралась компания, взяли с собой патефон, разную снедь, лимонад, прихватили и вина. Решили махнуть за город, на ту сторону бухты, за Маркотхский перевал — в неизведанные края. Насколько была голой, выду-

той ветрами сторона гор, обращенная к морю, настолько экзотической — прямо-таки лесные дебри — противоположная, с рощами старых величественных чинар (трехгранные орешки, покрупнее кедровых, любила детвора, особенно поджаренные в духовке). Бабушка предупреждала: «Много не ешь! Голова будет болеть». Но Витя не помнил, чтобы когда-нибудь у него болела голова от чинариков. Вообще Маркотхский перевал славился лесными дарами: кизилом, терном, грушами, кислицами (дикими яблоками). На осенние базары их привозили мешками. Хороши были улёжанные, побуревшие груши. Ешь, не наешься!

В горах попадались и заброшенные культурные сады, чаще всего чернослив, рясный, медовый, тающий во рту. Кто их возделывал, никто не знал, возможно, черкесы, когда-то населявшие эти места, но скорей всего казаки, хутора которых были разбросаны по горам.

Сколько впечатлений оставалось от вылазок за город! Как они были шумны, веселы, с выдумками, дурачествами! Кто-нибудь нарядится китайским мандарином, кто-нибудь вообразит себя поэтом и всю дорогу читает стихи, принимая артистические позы.

Переправившись на катере через бухту, компания попадала в Турецкий сад, зеленым клином вдававшийся в лысые, серые мергелевые горы, на минуту-две задерживалась полюбоваться фонтаном с бархатистыми золотыми рыбками, и — бодро в гору! Сил в избытке. Сад постепенно сужался, сменяясь колючим цепким кустарником, за который приходилось хвататься руками, чтобы не скатиться вниз. Но вот кончился и кустарник. Склон круче и круче. Под ногами осыпи камня-трескуна. Идти все труднее. Шутки, смех, разговоры давно смолкли, только слышно тяжелое сопение. Время от времени кто-нибудь вскрикивал и сползал вместе с лавиной лещадника на идущего за спиной, и, бывало, оба оказывались там, откуда начинали подъем. Сапун-гора — лучше не придумаешь ей названия.

Вправо — самая высокая и голая Сахарная головка, вершина Маркотхского перевала, полюс ветра, который дует там с сумасшедшей скоростью.

«Норд-ост бороду опустил!» — сообщала с тревогой бабушка, выглянув в окно поздней осенью. Из-за перевала, сгущаясь, напелзал и клубился вниз по ущельям молочно-белый холодный туман. Он напоминал седую бороду Деда Мороза, и будто неведомый великан обхватывал город своими загребистыми ручищами, надувал щеки, собирался заморозить, обледенить на веки вечные. Туман спускался с гор, как несметная вражья сила. Все знали: быть ураганному ветру. И не на один день. Если через неделю не прекращался, то буйствовал еще две. И так до месяца и больше. В ненастье город замирал, словно в осаде. Улицы пустели, редкие прохожие, пряча лица в воротники, сгибаясь в три погибели на перекрестках, где напор ветра был особенно сильный, с трудом проламывали невидимую преграду: шаг вперед, два шага назад. Даже в защищенной бетонными молами бухте море бушевало и обрушивало на берег такие огром-

ные валы, что железную крышу Витино дома, находившегося километрах в двух от берега, обдавало солеными брызгами, как в дождь.

Ветер срывал магазинные вывески, и они летали наподобие бумажных змей, валил телеграфные столбы, путал провода, выбрасывал на берег океанские корабли. Итальянский танкер застрял между подводных рифов напротив школы, где учился Витя, и проторчал там год: видимо, дороже было стащить его на глубину, чем построить новый. Из окон школьники рассматривали это судно, точно загнанный в бревно топор. Уже давно отвыл норд-ост, зима сменилась летом, а танкер все маячил неприкаянно, и моряки-итальянцы от нечего делать целыми днями, свесив ноги с мола, удили рыбу. В конце концов убрались домой, а танкер высвободили наши эпромовцы, и он, перекрашенный, теперь плавал под советским флагом.

И еще одно последствие норд-оста надолго запомнилось жителям города — снежная выюга. За ночь навалило такие сугробы, что некоторые дома пришлось откапывать. Бухта замерзла, чего не помнил в прошлом ни один старожил. Обледенелые, впаянные в лед корабли с обвисшими, оборванными снастями напоминали полярный пейзаж. Обе части города, прежде разделенные бухтой, соединились короткой пешеходной дорожкой.

Вот что такое норд-ост, или по-местному бора, который обрушивался с гор. Вите было любопытно посмотреть вблизи места, где зарождалась, как он считал, новороссийская погода. Представлялись отвесные скалы, бездонные пропасти, гремящие водопады, ревущие ветры, чуть ли не ад, и как же он удивился, увидев покой, тишину, зеленые кущи, приятную прохладу под чинарами и никаких следов норд-оста.

* * *

Компания разбрелась по лесу, только один Витя остался на поляне, выбранной для отдыха. Он слышал за кустами смех, поцелуи и не предполагал до сих пор, что между мальчишками и девчонками уже давно составились пары. Правда, и раньше замечал, как они обменивались многозначительными взглядами, шептались, писали друг другу записки и дарили носовые платки с вензелями.

Любопытство к девчонкам пробудилось и у Вити, но он стеснялся незначай это выказать, напускал на лицо серьезность и даже сердился при намеке на любовь. Она должна явиться не так, как он видел вокруг, а в образе девушки с улыбкой, как заря, с голубыми, как море, глазами и поцелуем, как весенний ветерок. Таким он навоображал свой идеал еще в столице Ленинградской. Даже Нина не была под стать, не говоря уже о разноглазой Альбине. Гордая Алла тоже исключалась. Впрочем, Алла сама держалась обособленно, наигранно помахивала газовой косынкой, загадочно улыбалась, лукавила, уклонялась от прямых ответов, когда кто-нибудь из ребят склонял ее на дружбу.

«Что она задается?» — думал Витя и делал вид, что его несколько не привлекают девчонки, хотя Алла и нравилась не меньше Нины. Он тай-

ком наблюдал, как она рвала цветы по краю поляны, подбирала букет так тщательно, с таким старанием, будто ничто другое в мире ее не занимало. Она была совершенной противоположностью белокурой розовощекой подруге, но не уступала ей в красоте, как черная лебедь белой, — с густыми длинными волосами, сплетенными в одну косу толщиной в руку, и огромными сливовыми глазами на чуть бледном лице.

«Почему бы мне не поухаживать за Аллой, если Нина дружит с Женей? Только отчего она такая задавака? Страшно к ней подступиться...» — размышлял Витя, лежа в траве у скатерти с остатками еды и пустыми бутылками из-под лимонада, среди которых две были винные, накручивал патефон и слушал музыку. Размышления его перешли к другому предмету, не менее важному: где он будет лет через пять, когда уже закончит школу? В институте или в Ростовском театральном училище, о котором тоже мечтал, никому об этом не говоря? Другие без стеснения раскрывали свои планы на будущее, а Витя умалчивал, боясь насмешек, прозвища «артист» или «писатель», особенно святым считал звание писателя. Прочитав объявление о приеме в театральное училище после восьмилетки, он задумался: а не сделаться ли в самом деле артистом? Это, наверно, проще, чем писателем. Для этого надо потерять не так уж много — всего год школьной учебы! И усиленно стал готовиться к экзаменам. Но на следующий год условия приема в театральное училище изменились: принимали после девяти классов. «А закончу девятилетку, — подумал Витя с огорчением, — еще на год отодвинут! Нет, лучше уж пойду в институт или, на крайний случай, в военное училище, как Лешка». Мало того, что долго тянулась школьная учеба — после неудачного путешествия в Африку пришлось в одном классе просидеть два года.

Размышления Вити прервал дядя Костя, щеголь и ловелас. Подойдя к Алле, он театральным жестом, шаркнув ногой, преподнес ей лесные гвоздики, но та будто ничего ненатурального не заметила, мило улыбнулась и присоединила цветы к своему букету. Вите стало неприятно, точно девушка нарушила договор о дружбе, вроде бы уже заключенный между ними.

Дядя Костя куражился, рассыпался в любезностях, другому Алла этого никогда бы не простила, а к нему была снисходительна. Лет на пять, на семь старше ребят, он уезжал на Север по вербовке, сменил там профессию парикмахера на вулканизаторщика и сейчас жил квартала на три выше Барклаевской улицы, купив небольшой дом на «северные» деньги, жил по-прежнему холостяком. Вел он себя неискренне, заискивал, старался задобрить ребят папиросами, небольшими суммами денег взаймы и сегодня накупил закусок, сладостей, портвейна, половину всего, что было взято в загородную вылазку. Он подделывался под молодежь, модно одевался, носил бакенбарды до подбородка и замысловатую прическу, выглядел щеголеватее всех ребят и обижался, когда в шутку, подтрунивая, звали его то «папашей», то «дяденькой».

— Аллочка, не хотите рюмку портвейна? — расшаркивался Костя. — Исключительный! Восемилетней выдержки! Виктор, я полагаю, тоже разделит с нами трапезу?

— С удовольствием, дяденька Костя!

При слове «дяденька» у записного кавалера передернулось лицо. А Виктор в подкрепление добавил:

— Только вот как на это посмотрят родители Аллы? Не обвинят ли дяденьку Костю в спаивании несовершеннолетней дочери?

— Фи, какие ты гадости говоришь! — решительно встала Алла на защиту Кости, чем сильно задела Виктора. Неужели ей нравился женолюб с фальшивыми манерами и ходульными фразами?

Костя сделал вид, что не обиделся, взял бутылку и три рюмки:

— Мы понемножку, Виктор. Держи. И вас прошу, Алла, сколько можете.

В дураках остался Виктор. Не-ет, совсем не глуп был дядя Костя.

Из леса вышли Нина и Женья.

— Вчера мы катались на катере до Геленджика! На мне была матроска, и все говорили, что она очень мне к лицу, — рассказывала Нина превеличенно громко, явно желая обратить на себя внимание. — Чудно как прокатиться на катере вдоль берега! Я и не ожидала, что вокруг нашего города такие живописные места.

— А Каспийское море скучное, — заметил Витя, не зная сам зачем.

— Да? — Нина взглянула свысока, будто он сказал что-то крайне неуместное.

Алла скупно поджала губы, завидуя подруге, может быть, ревновала ее к Жене, на которого имела виды, как говорили на Барклаевской улице.

Витю не хотели замечать. Он обиделся, поднялся и пошел в лес. Пусть девчонки пренебрегают им сейчас, потом пожалеют, когда он станет знаменитым. Витя верил в свою счастливую звезду и в то, что обязательно встретит единственную, самую лучшую, которая полюбит его за ум и добрую душу, а не за бакенбарды на полщеки.

Он спустился в ущелье, к роднику, накрытому железной, без дна, бочкой, наполненной холодной прозрачной водой, которая, журча, переливалась через край. Можно было напиться воды стоя. Витя наклонился над бочкой, разглядывая свое отражение, и напустил на лицо важность, потом придал ему беззаботный вид, улыбнулся, потом сдвинул брови, нахмурился — как ему лучше держаться? Но не мог найти для себя подходящего обличья. Какой же он на самом деле — красивый или уродливый? Умный или глупый? Может понравиться девушке или нет? В одном романе Максима Горького запомнилась фраза о том, что люди выдумывают сами себя, скрывают настоящее лицо под личиной. Не сделаться ли ему, к примеру, меланхоликом, утомленным жизнью молодым человеком, ко всему равнодушным? Девчонки найдут это оригинальным... Витя встал в расслабленную позу, закатил под лоб глаза, вяло откинул одну руку в сторону и произнес скучающим голосом:

— Это было бы смешно, если бы не было печально!

Но он не любил в людях притворства, а в себе особенно. «Пусть они влюбляются друг в друга сколько угодно, а мне и одному неплохо!» — заключил он вслух и пошел в глубь леса.

Здесь было совсем не так, как в Абрау-Дюрсо — земля нехоженная, без тропинок. На полянке, как новогодняя елка, убранная игрушками, стояла рясная груша. Половина плодов осыпалась на землю, густо ее устилая. А на дереве оставалось еще так много, что за ними не видно было листьев. Из года в год родит груша, но никто не собирает ее щедрого урожая, разве зверь когда-нибудь полакомится. Точно так же может произойти и с Витей: отцветет в одиночестве. Из-под ног, шурша, юркнула зеленая ящерица, а под дубом собирал желуди еж. Витя потянулся снять с иголок желтый лист — еж замер, свернулся в колобок, ошетинился.

— Я тебя не трону, занимайся своим делом спокойно, — сказал Витя и пошел дальше.

Он пересек дубовую рощу и распадок с обнаженными белыми камнями на дне, по которым весной и в ливни kloкотал ручей, а теперь было сухо. В воздухе витали запахи прелых листьев, грибницы, разнотравья. Отовсюду глядели фиолетовые, с краснинкой, ягоды кизила, алые — шиповника, синие — терна. Они словно зазывали: «Собери нас! Собери нас! Не проходи мимо!»

Витя забыл о городе невдалеке, за горой, о своих друзьях, оставленных на поляне, забыл, кто он и зачем здесь. Так хорошо было бродить одному в диком лесу, слыша свои шаги, разговаривая сам с собой. Даже можно крикнуть, и горы ответят эхом, словно обрадуются живому голосу, не то что Нина безразлично: «Да? Ты так думаешь?» Ну их, девчонок! Какой от них прок? Одни недоразумения.

Солнце проглядывало сквозь деревья уже низкое, предвечернее, надо было возвращаться, но покидать дивное место не хотелось. Что если задержаться на час, на два, чтобы компания, собравшись домой, обнаружила его отсутствие и переполошилась? При этом любопытно было бы невидимкой поприисутствовать, посмотреть, как будут реагировать девчонки. Сильно ли их взбудоражит таинственное исчезновение Вити и кого сильнее? Наверное, Альбина испугается не на шутку:

«Куда он делся? Давно нет. Как бы с ним чего-нибудь не случилось! Что же вы стоите? Надо искать».

«Ты думаешь?» — сузит голубые глаза Нина.

«Не поднимайте панику раньше времени, — холодно скажет Алла. — Среди уёрок не пропал, а тут куда денется? Сейчас заявится».

Витя долго шел незнакомой дорогой, рясную грушу не встретил, как и других примет, потянулся сплошной орешник. Ветки хлестали по лицу, одежда цеплялась за сучья, идти становилось нелегко, а лещине не видно было конца и края. Витя забеспокоился: правильно ли выбрал дорогу, не уклонился ли в сторону? Он готов был уже закричать, зааукать, когда вдруг вышел на белынь, увидел заброшенный сад и Нину на дереве, упи-

сывающую за обе щеки сливы, с облегчением вытер потный лоб рукавом рубашки. Странно, что Нина не выразила ни малейшего беспокойства по поводу долгого отсутствия Вити, засмеялась и спросила:

— Хочешь?

— Потряси ветку.

Нина потрясла, и на Витю посыпался, ударяя по голове, по плечам, град крупных черносливин. Он подбирал их и ел.

— А наши далеко?

— Рядом, за лощинкой.

— Что же ты одна? Надо позвать ребят, набрать слив домой.

— Уже набрали. Полные корзины... Отойди в сторону, я спрыгну.

— Прыгай. Я подхватчу. — Витя вытянул навстречу руки.

— Нет, нет, я сама! Отойди!

— Да прыгай же! Чего ты боишься?

Поколебавшись, Нина спрыгнула. Витя поймал ее, и оба едва не повалились на землю. Витя крепко обхватил Нину и поцеловал в сладкие красные губы. Она отстранилась, упираясь руками ему в грудь.

— Как тебе не стыдно, Виктор! — Усмехнулась, покачала головой. — Недавно меня провожал один знакомый и возле дома ни с того, ни с сего обнял и поцеловал, как ты. Ну, я и вlepила ему пощечину. Долго будет помнить.

Неудивительно, что ребят тянуло обнять, поцеловать или просто ущипнуть эту пышку, и Виктор, ловя ее с дерева, не без трепета ощутил скользнувшее под платьем гладкое тело. Он оправился от смущения, видя, что Нина не рассердилась.

— Кто же это был? Женя?

— Нет.

— Вот как! А я считал, что вы с Женей не разлей вода.

— С чего ты взял? Женя ходит к нам, как родственник. Не будешь же его выпроваживать?

— А в кино?

— Возьмет билеты, пригласит. Не обижать ведь парня?

— А если я тебя приглашу. По-родственному. Не откажешься?

— Хватит тебе дурить. Пошли! Все собрались, нас ждут.

— Нет, подожди. Как же так? Я считал, что вы с Женей скоро пожени-
тесь.

— Ну и ну! Парень, конечно, он хороший, добрый, честный. Ничего не скажешь про него дурного.

— Так в чем дело?

— Ни в чем. Мы давно дружим, ходим в кино, на танцы, он у нас часто бывает. Но соседи всегда говорили мне: «Женя тебе не пара: маленький, худенький, а ты вон какая красавица!» Однажды я проводила его за порог и говорю: «Больше не приходи». Он побледнел, ничего не сказал. Поздно вечером слышу стук в окно. А дождь, ветер. Вглядываюсь в темноту: человек на земле лежит. Мы с мамой накинули платки на голову,

выбежали, а это Женя. Пьяный. Выпил сразу три стакана вина, а ведь ты знаешь — он даже в компании никогда не пьет...

— Значит, вы дружите только по-родственному?

— А ну тебя, Витька! Пошли быстрее.

2

Что с ним стряслось, он и сам не знал: Нина не выходила из головы. Он обязательно должен был видеть ее каждый день, все сильнее заболел этим душевным беспокойством и ничего не мог поделать с собой. Ему уже мерещилось, что ненароком Нину украдут или отобьют, если она не будет рядом. И будто ослеп, не видя равнодушия девушки: она не противилась ухаживанию, но и не бросалась Вите на шею, вела себя действительно по-родственному.

Возвращаясь со свидания, он перебирал в памяти подробности их отношений, каждое слово, каждый жест. «Надо было не так отвечать, когда она расспрашивала про трудовую колонию. Вот если бы я рассказал о том-то и о том-то, получилось бы интересно и даже смешно. Ах, как я сразу не сообразил! И почему не обернул все в шутку, когда она заговорила о некоторых несносных ухажерах, а принял на свой счет и покраснел?» — досадовал Витя, заново все осмысливая и переживая. Взгляд, походка Нины стояли перед его глазами, даже стук каблучков ее туфель отчетливо звучал в ушах, и он несколько раз живо оглядывался, не идет ли следом Нина? Но нет, она уже была не та привязчивая собачонка, как в детстве, готовая следовать за Витей куда угодно, опрометью бежавшая к нему при одном звуке его голоса.

Нина заменила прежнюю миражную подругу, с которой он странствовал по свету. Как именинник подарков, ждал он той минуты, когда в доме водворится тишина, и он в постели, отвернувшись к стене, в полудреме сможет вообразить невиданные страны, невиданных людей, невиданные приключения. К нему словно вернулись грезы детства. Что это были за мечтания! Корабль выбрасывало на необитаемый остров, где они с Ниной обосновывались, как Робинзон Крузо с Пятницей, или путешествовали с неграми-носильщиками по Центральной Африке, и Витя не раз жертвовал своей жизнью (разумеется, оставаясь невредимым), спасая свою подругу от хищников и тех самых людоедов, которые чуть было не съели Пятницу. Черные силы то и дело разлучали их, но Витя снова и снова вырывал Нину из коварных рук. Приключениям не было конца, каждую ночь они повторялись с новыми вариациями, причем отношения между влюбленными были самые чистые, даже поцеловаться они себе позволяли очень редко. Фантазируя, Витя наделил Нину такими добродетелями, сделал ее такой «стерильной», что теперь, случайно с нею встретившись, не смог бы из себя выдавить слова от страха и смущения. И вдруг вместе возвращаются с базара. Витя очень разволновался, желая предстать перед де-

вушкой в лучшем свете, и все болтал, болтал, пока не обнаружил, что стоит возле ее дома.

Распрощались неловко, на полуслове:

— Ну, пока.

— Пока.

Больше он не знал, что сказать.

А в один вечер ему повезло: Нина была на танцах. Витя кивнул: «Пойдем?» Она молча положила ему на плечо руку и до конца терпела все его невероятные па. С какой же радостью она оставила партнера, услышав голос матери, которая принесла ей ужин в маленькой корзиночке и звала к себе на скамейку. Многие заботливые мамы приходили к танцплощадке покормить своих проголодавшихся детей, никак не решаясь выпустить свои чада из-под родительского крылышка хоть на один вечер. Милые, наивные мамы и папы!

Целую неделю Витя не видел подругу. Мог бы, конечно, подойти к ее дому, вызвать на улицу, но смелости не хватало. Не видя Нину, он постоянно думал о ней, воображал, как случайно встретит, что скажет.

Все произойдет так же, как в последний раз, она будет возвращаться с базара, Витя догонит и теперь уже непринужденно возьмет из рук корзину и скажет что-нибудь такое смешное, что ей станет с ним весело и хорошо. Что бы такое придумать?.. Ладно, без подготовки лучше. И вот они уже возле дома.

«Нина, я хочу тебе сказать...» (Произнести слово «люблю» Вите труднее, чем преодолеть Маркотхский перевал, но и без него объяснения быть не могло).

«Не надо, не надо, дорогой. — Видя замешательство друга, Нина крепко сожмет ему руку. — Я знаю, что ты хочешь сказать. Я давно это чувствую. Я твоя... навеки!»

От этих слов перехватывало дух, Витя словно бы проваливался в тартарары.

Детские отношения уже не вернешь, а как надо вести себя по-взрослому, Витя не знал. Сделать девушке подарок или пригласить в ресторан, по примеру других кавалеров, он не мог из-за безденежья. Не станешь же кланчить десятку или две у родителей? Купить билет в кино, куда ни шло, да только для такой импозантной девушки, как Нина, это представлялось, в понятии Вити, по-нищенски. Хотелось, очень хотелось чем-то удивить и порадовать своенравную подругу, а больше показать, что он уже взрослый, самостоятельный мужчина.

Был день рождения мамы. Отчим подарил ей духи в красной коробке, внутри обтянутой шелком, с подушечкой. Эта коробка на туалетном столике стояла непочатая вторую неделю, и каждый раз Витя глядел на нее с завистью к отчиму: когда же он сам сможет делать такие красивые подарки?

Минула еще неделя, а мама не притрагивалась к духам, и Витя решил, что она, пожалуй, обойдется без них, сунул коробку в карман и айда к Ни-

не. Узнав про Витину любовь, мама без сомнения простит ему непорядочный поступок, а отчим купит другие духи, Витя же проймает Нину дорогим подарком. И верно, она рассматривала духи в растерянности, словно не веря, что это ей, и тихо сказала:

— У меня никогда таких не было. Очень редкие духи. Где ты их достал?

— По знакомству, — небрежно уронил Витя, как будто ему ничего не стоило преподнести Нине и автомобиль.

— Хочешь, сегодня никуда не пойдем, проведем вечер у нас дома?

— Конечно! — с радостью согласился Витя.

В то время не столько «покупали», сколько «доставали» и говорили не «продают», а «дают». Погоня за ценными товарами — признак заметного улучшения жизни, и Витя это вполне ощущал на себе, отправляясь на свидание в шевиотовом темно-синем костюме и черных лаковых туфлях. Гардероб его теперь мало чем уступал гардеробу взрослого мужчины: мама ничего не жалела для единственного любимого сына, правда, карманными деньгами не очень баловала.

Этот вечер из всех был самым приятным. Танцевали под патефон, пили чай с блинами. Витя чувствовал благосклонность молодой хозяйки, ловил на себе ее внимательные взгляды, как отголоски давней детской преданности. «Не вернется ли прошлое?» — тешил себя надеждой Витя. Домой он пришел счастливый, застал Женю, наговорил ему всякой восторженной чепухи, не замечая грусти и рассеянности на лице друга.

— Ты знаешь, она сказала, что из меня получится отличный партнер. В субботу мы идем на танцы в горсад. Айда с нами!

— В субботу?

— Ну да! Хочешь, я тебе покажу па «с выходом»?

— Потом как-нибудь...

— Как же насчет субботы?

— Вряд ли смогу.

— Почему?.. Впрочем, как сам знаешь, — не настаивал Витя, сообразив, что третий будет лишний.

Посидев немного, Женя заторопился и распрощался. Странно, но Витя не брал в расчет то, что его друг тоже любит Нину. И в голову Вите не приходило, как может относиться Женя к тому, кто ухаживает за его девушкой. Наверняка ревнует и уж, конечно, не разделяет телячьих восторгов соперника. А Вите почему-то казалось, что Женя ужасно доволен его влюбленностью, что ему ужасно приятно слышать, как Нина танцевала с Витей весь вечер новое аргентинское танго, и они здорово разучили сложное па «с выходом».

До чего же смирен и застенчив Женя. На его месте другой порвал бы всякие отношения с соперником или нагрубил, а то и надавал тумаков.

О духах никто ни слова, может быть, мама еще нехватила или вовсе о них забыла, на что Витя особенно уповал. Со спокойной душой он лег в постель.

— Это же надо! Мои духи отнес Нине. А того не знает, что подарки не передариваются! — Это был голос мамы, Витя слышал его сквозь утренний полусон, не понимая, снится ему или на самом деле об исчезновении духов уже стало всем в доме известно.

— Жених! Еще молоко на губах не обсохло! — Это уже голос бабушки, и теперь не было сомнения, что разговор происходил наяву. Витя притворился спящим. А мама и бабушка судачили на все лады, словно зная, что он слышит... От кого им стало все известно? Скорее всего рассказала Нинина мама, встретив на базаре бабушку.

Витя выбрал момент, когда женщины покинули кухню, схватил краюху хлеба, пару помидоров — и в окно на улицу. Весь день он пробыл в мастерской, помогал Жене чинить велосипеды и примусы, вместе обедали, а вечером отправились в кино. За это время лишь раз обмолвились о Нине.

— Не собираешься к Лукьяннковым? — спросил Женя намеренно равнодушно, хотя на душе скребли кошки, о чем догадывался Витя, и тоже отвечал безразличным голосом:

— Да нет.

— Сходим?

— Сегодня не хочу.

— Ты же пригласил ее на танцы. И меня звал.

— Как-нибудь в другой раз.

— А подведешь девушку?

— Она, наверное, сама уже передумала.

Потом заговорили о школе. Витя в дневную идти не хотел, пропустив год, за который сильно вырос, обогнал своих сверстников, и намеревался поступить в вечернюю, так называемую школу рабочей молодежи, в которой учился Женя.

— А днем чем будешь заниматься? — любопытствовал Женя.

— Не решил пока. Может, пойду куда-нибудь работать.

— Поступай к нам. Триста — четыреста хрустиков в месяц всегда будешь иметь.

Такая сумма представлялась Вите огромной, освобождала от родительской опеки и давала возможность... жениться на Нине. Как он не подумал об этом раньше! Здравое рассудить, на что бы они жили в браке? На родительские средства? Наверняка Нина давно это поняла и оттого была так равнодушна к Вите.

Кино не смотрелось, в саду не гулялось, то одна, то другая девушка напоминала Нину. Витя робел: как она отнеслась к его мальчишеской выходке с духами? Оскорбилась? Посмеялась?

Два дня он мучился, не ходил к ней, на третий не выдержал и по дороге на море в компании уличных ребят, поравнявшись с домом Лукьяннковых, попросил бегавшего во дворе мальчика позвать Нину, самому не хватило духу. Она поразила его какой-то новой своей красотой, одетая в

летний, с отложным воротником, костюм, такая недоступная, такая далекая, что Витя едва не заплакал от своего ничтожества.

— Приходила твоя мама и забрала духи, — сказала Нина как о чем-то несущественном, но понимая, что ранит Витю в самое сердце, и оно, это уже давно разбитое сердце, оборвалось, полетело в тартарары.

Витя не знал, что делать — идти на море или остаться с Ниной. Лучше бы идти, но, привороженный красотой своей подруги, не двигался с места. Под сердитым взглядом Нины, как от заклинаний злого волшебника, он превратился в собачку, которую хозяин пинает ногой, гонит от себя, бросает в нее камни, а она не уходит. Отбежит, сядет поодаль, выжидая, и как только хозяин пойдет дальше, снова семенит за ним. Вот так неожиданно поменялись их роли.

— Что же ты стоишь? Догоняй ребят! — сказала, как отбрила, Нина.

— Раздумал. Не пойду на море. А ты куда собралась?

— К знакомым... на именины.

— А мне нельзя?

— Что? На именины с тобой? Нет, нет. Ты этих людей не знаешь. До свидания!

Она словно испугалась, что Витя увяжется следом. А он еще долго топтался возле дома, прячась за деревья, пытаясь увидеть Нину, но не увидел: намеренно ушла другим ходом, зная о его собачьей преданности.

* * *

Хватаясь обеими руками за перила, Женя легко побежал вверх по спиральной лестнице, и вот он уже на мостике парашютной вышки, и вот уже инструктор затгивает на нем заплечные ремни, и вот он уже летит вниз навстречу охам и ахам девчонок. Чуть пружиня ногами, приземляется, быстро сбрасывает ремни. Ему это все равно, что Вите прыгнуть с мола вниз головой — одно удовольствие!

Женя посматривает вверх, куда поплыл, уменьшаясь в размерах, пестрый купол парашюта.

— Еще попробовать, что ли?

— Не страшно? — с ехидцей спрашивает Лешка.

— А что тут страшного? Давай и ты!

Лешка мнется, хитровато улыбается.

— Вон Ляма хочет прыгнуть, — тотчас подставляет вместо себя друга. — Он собирается в авиационное училище.

— А ты думаешь, не прыгну? — легко попадает на удочку Витя, заметив, что к их разговору прислушивается Нина. — Айда на пару!

— Я потом, — увиливает Лешка.

С земли до мостика, кажется, рукой подать. Витя бежит по лестнице следом за Женей, стараясь не отстать, не осрамиться перед девушками. Но Женя на парашютной вышке, как белка на дереве, за ним не угнаться. На третьем витке Витя сдал, перешел на шаг, а еще через два ему почудилось, что карабкается по отвесной скале, того и гляди оступишься, загу-

дишь вниз. Ноги подкашиваются, — не ноги, а вата. Женя уже на мостике, а Витя осилил лишь половину лестницы. Наконец добрался. Такое ощущение, будто стоит на краю обрыва бездонной пропасти или на шатких строительных лесах — качнешь мостик, и он рухнет.

Витя замер как вкопанный, боится сделать шаг. Какой там шаг! Сдвинуть с места ногу. Будто пригвоздили к доске, не оторвешь. Инструктор застегивает ремни, тщательно прилаживает, поправляет, пробует на прочность, и жертва парашютного спорта послушно клонится туда, куда потянут. Руки болтаются, как веревки.

Все готово. Можно прыгать. Бог ты мой, как далеко земля! И люди внизу сплюснутые, маленькие, наподобие лилипутов. А море шире вдвое, и город, как на ладони, хорошо видны улица и дом, где живет Витя. Он вообразил, как сейчас оторвется от мостика и полетит вниз, — внутри тоскливо заныло. На земле представлял воздушный прыжок легким, приятным, а все обернулось ужасным испытанием, точно он поднялся не на парашютную вышку, а на эшафот, и инструктор, опутавший его ремнями — палач.

— Что же ты? Прыгай! — Это Женя за спиной.

— Не задерживайте очередь, молодой человек! — Это инструктор.

— Сейчас... одну минуту. — Витя, натянутый, как тетива, силится сделать рывок вперед, но ноги оловянные. Еще делает рывок, но никак не сдвинется с места, точно уперся в стену.

А снизу, от земли, как из преисподней:

— Прыгай! Прыгай!

И Вите кажется, что кричат не барклаевские девчонки и мальчишки, а черти, нетерпеливо ожидая, когда он рухнет со своей верхатуры, чтобы тут же схватить и бросить в котел с кипящей смолой.

— Прыгай! Прыгай! — несется снизу. Там Нина, там Алла, Альбина, Алешка, греки подбадривают, машут кепками и косынками.

А Витя только подумает, что один шаг — и он в воздухе, дух перехватывает, мостик уходит из-под ног... Витя летит... Нет, пятится, судорожно хватается руками за перила.

Снизу доносятся вздохи разочарования или это чудится перепуганному насмерть парашютисту.

— Эх ты! — укоризненно говорит Женя.

— Вы будете прыгать или нет? — Это снова инструктор.

— Я не буду... — Витя едва шевелит бледными губами и безвольно опускает руки, а инструктор уже расстегивает, сдергивает ремни, сердито ворчит.

Тут же в ремни облачается Женя и беззаботно, как на веселую прогулку, шагает с мостика, за ним надувается пузырем полосатый, разноцветный парашют.

Убитый горем Витя спускается с вышки, никого не видит и ничего не слышит. В голове — туман. Из парка компания отправляется к морю. Витя плетется последний, чувствуя отчуждение друзей, которые, правда, из

скромности молчат, не злословят, но от этого не легче. Так опозориться перед Ниной! Он уже готов, дай она согласие, прыгнуть с вышки вниз головой даже без парашюта.

На берегу Витя раздевается и входит в воду, как приговоренный к самоубийству древний римлянин, ни на кого не смотрит, легко, с прихлопыванием выбрасывает вперед руки и удаляется в море. Один. Один на один со своими безотрадными мыслями. Остался позади буюк — граница дозволенного плавания и на берегу уже не различить лица людей. А Витя все плывет и плывет, то вразмашку, то по-лягушачьи, одна голова наружу, устанет, перевернется на спину и — снова вперед, в открытое море. Пусть он плохой парашютист, зато в воде с ним никто не сравнится, любому из мальчишек слабо так далеко заплывать, а Жене и подавно: до сих пор барахтается по-собачьи, смешно смотреть.

Берег открылся во всю длину залива, стал виден Мыс-хако с Медведь-горою в густых лесах, действительно похожей на спящего горбатого зверя. Люди превратились в серые пятнышки. Наверное, до берега километра полтора, не меньше. Витя ложится на спину, отдыхает. Под ним зеленовато-темная бездна — страшно подумать, какая глубина! И он гонит от себя пугающие мысли, старается отвлечься. Это как на висячем мосту через пропасть: нельзя смотреть вниз — закружится голова. Сколько раз, бывало, беспечно плывешь, струйки приятно обтекают тело, завихряются на спине. Под тобою и вокруг — вода и вода, поддерживает, не дает утонуть? — плыви хоть до Геленджика! И невзначай, заглянув в холодную глубину, остро ощущаешь беспомощность и одиночество. Куда ни брошишь взгляд — беззвучная, безответная водная пустыня, подернутая сероголубой вуалью, и что за ней — бог весть! Мелькнуло что-то белое. Или это померещилось? Что бы ни появилось в глубине, тотчас привлекает внимание. Уже чудится: где-то близко ходит неведомый морской зверь, того и гляди утянет на дно.

Витя знает, что ему ничего не угрожает: хищных акул или другого какого-либо опасного зверя в Черном море нет, разве только шаловливые безобидные дельфины да морские коты, величиной не больше сковороды, с острыми, раздвоенными, как ножницы, хвостами. О нападении котов на человека больше басен, чем правды. И все же чем черт не шутит! Бабушка рассказывала, как однажды в бухту заплывало чудище и гудело, и выло всю ночь. Какое оно было, это чудище, никто не разглядел в темноте, а скорее всего бабушка припугнула маленького Витю, чтобы далеко не заплывал. Как бы там ни было, но страх уже подстегивает хлыстом, гонит к берегу. Время от времени Витя окунает голову и с опаской разглядывает под собой воду. Слабеют руки, ноги тяжелеют, а до берега еще далеко, кажется, не плывешь, а барахтаешься на месте.

— Эй, Лешка! Женья! — кричит Витя, подбадривая себя. — Эй, вы, слышите-е-е!

С такого расстояния трудно разглядеть, обернулся ли кто на его призыв. Витя прислушивается. Берег молчит.

— Слышите-е-е! Слышите-е-е!

— Судорога-а! — кричит Витя. И действительно: левую ногу потянуло, свело в колене. Он ложится на спину, боясь шевельнуться: а вдруг еще и правую сведет! Осторожно работает руками, стараясь не делать резких движений. Будто и правая нога уже отказывает. Говорят, на этот случай моряки цепляют на трусах английскую булавку. Стоит уколоть онемевшее место, и судорогу как рукой снимает. Но булавки у Вити нет, и это прибавляет страху. Руки тяжело шлепают по воде, обрякшее тело тянет вниз, чуть наружу голова, лишь бы глотнуть воздуха.

— Судорога! Тону! — орет Витя что есть мочи, и на берегу зашевелились, обернулись к морю, смотрят и не поймут: шутит он или на самом деле тонет.

— Правда, тону! — кричит отчаянно Витя, а ему верят и не верят, посмотрят — плывет — и снова судачат о чем-то своем. Конечно, им невдомек, из каких побуждений так далеко заплыл опростоволосившийся парашютист, верно, полагают, что для собственного удовольствия.

Каждый взмах стоит Вите неимоверных усилий, руки точно опутаны веревками. Он поминутно, приняв вертикальное положение, окунается, ищет дна, и вот что-то нащупывает ногами. Трава! Подводный риф, обросший жесткими водорослями. Еще два-три взмаха, и под Витей надежная опора. Он стоит по горло в воде, никак не отдышится, фыркает. Теперь не страшно. Отсюда до берега — один бросок.

— Ну что с тобой стряслось? Чего ты дурачишься? — спрашивает Женя, подходя к кромке берега, когда Витя, покачиваясь, припадая на обе ноги и опираясь на колени руками, выбирается на сушу в обвисших трусах, с посиневшими губами и заслнявленным ртом: наглотался соленой воды.

Вите хочется рассказать, как егохватила судорога, как он едва не захлебнулся, но молчит: пусть думают, что и впрямь дурачился.

— Одевайся побыстрее. Идем домой!

Витя подхватывает одежду, рысцой бежит за скалу.

Нина и Алла взялись за руки и, подтягивая друг друга, взбираются наверх. Обе заняты интересным разговором. Нина даже не обернулась, не подбодрила улыбкой, когда Витя полуживой выходил из воды. А ведь ради нее, только ради нее он заплыл так далеко, как никто из барклаевских ребят никогда не заплывал!

3

Витя потерял покой, и ведь как чудно: понимал все эти уловки, отговорки, хитрости, но почему-то позволял себя обманывать, почему-то не возмущался, не порывал с Ниной, которая явно тяготилась им, делалась равнодушной, чужой. Причину такой перемены Витя до конца не мог понять и написал ей длинное письмо, настойчиво прося ответить, испытывает ли она к нему какое-либо чувство, хоть маленькое?

Письмо намеревался бросить в почтовый ящик, но передумал, понес сам и чуть не вернулся с полдороги: и стыдно, и боязно, и ноги не слушаются, сделались ватными, как на парашютной вышке. В сильном волнении он пересек замощенный плоским камнем двор, остановился в замешательстве перед знакомой до царапин дверью: открывать, не открывать, словно блудный сын после многих лет странствий, не зная, как отнесутся к нему обитатели дома. Семья Лукьяненьковых занимала когда-то частный, а сейчас коммунальный дом, вернее, две комнаты в нем. Отец и мать, люди простые, гостеприимные, были всегда рады Вите, дальнему родственнику. Отец работал на бойне, любил выпить, как все мясники, мать занималась по дому. Витя помнил, как в голодовку бабушка приносила с бойни в ведре кровь, которую жарила на сковороде с чесноком. Получалось вкусное сытное блюдо. Лукьяненьковы жили открыто, хлебосольно, не скардничали, не тряслись над кошельком, как в иных семьях, и детей не держали в ежовых рукавицах. Прийти к ним можно было в любое время, хоть в полночь — откроют дверь.

— Дома Нина? — спросил Витя тетю Шуру, переступая порог.

— Дома, дома. Заходи, кавалер!

Тетя Шура стряпала на кухне, бросила на Витю насмешливый взгляд и вылила на сковородку жидкое тесто из половника: пекла блины. Шипение постного масла, чад наполнили кухню, вселив в Витю надежду, правда, крайне слабую, на угощение, на танцы под патефон и улыбку Нины, как в тот памятный единственный веселый вечер.

Витя прошел в зал. Нина куда-то собиралась, игриво вертелась перед зеркалом, а Витя чувствовал себя придавленно, смотрел затравленным волком, хотя и понимал, что такое настроение никак не подходит для объяснения в любви.

— Куда направляешься? — спросил он ревниво.

— К подруге.

— Опять на именины?

— Нет, по одному важному делу.

Витя заподозрил обман и жаждал разоблачения во что бы то ни стало. Не идет ли она на свидание с дядей Костей, который в последнее время за ней увивался, не добившись расположения у Аллы?

— К какой подруге? — последовал угрюмый вопрос.

— Ты ее не знаешь, живет на горе, — ответила Нина беззаботно.

«Обманывает! — распалялся Витя ревностью и мстительным желанием уличить в неправде. — Стоп, стоп, да ведь на горе живет дядя Костя. Это она к нему! Точно. Надо задержать, не пустить!»

— В такую жару тащиться на гору. С ума можно сойти, — изрек Витя, кривя губы.

— Какая жара? Я сейчас только со двора. Нормальная погода.

— Пойдем лучше в кино или на танцы.

— Я тебе ясным языком сказала: иду к подруге по делу!

— Так я тебе и поверил!

— Что?.. Ну, знаешь, это уж слишком!

Витя в самом деле зашел слишком далеко и с ужасом подумал, что не вернет, а, напротив, еще дальше оттолкнет от себя Нину, и поспешил исправиться:

— Извини, Нинок, я погорячился.

— Извиняю, Витек, — в тон насмешливо. Нет, она не грубила, улыбалась, была внешне вежлива и предупредительна, как хозяйка с гостем, которому не очень рада, но которого вынуждена принимать, чтобы соблюсти этикет. Это видел, понимал Витя и все же искал в ее взгляде памятную по детским годам преданность, вызывавшую тогда лишь досаду. Как бы он хотел сейчас увидеть перед собой ту Нину! Увы, теперь все было наоборот: «Кино? Ах, сегодня не могу... Танцы? Фи, надоели!» Конечно, поет с чужого голоса. Но кто тот неизвестный, с кем строптивая красавица несомненно и предупредительна, и восторженна. Витя уже готов был силой повернуть ее к себе лицом, посмотреть в ее глаза такой нестерпимой, притягательной голубизны, да боялся встретить отчужденный, холодный взгляд.

Наедине, казалось, он смог бы найти с несговорчивой подругой «общий» язык, но почему-то всегда при их встречах присутствовал кто-нибудь посторонний, скорей всего Нина преднамеренно так устраивала. Лишь урывками Вите удавалось остаться без свидетелей, как сейчас.

— Вот... почитай, — решился наконец отдать письмо.

— Что это?

— Излияние моих сердечных мук, — пытался острить он.

— Что за причуда! Разве словами нельзя сказать?

Нина расправила свернутый трубкой лист из ученической тетради, присела на диван, нахмурила брови, вчитываясь. Витя сел возле круглого стола посреди зала и в ожидании нетерпеливо тербил бахрому тяжелой скатерти.

Нина молчала, что-то обдумывала, потом встала с дивана, положила лист на стол, поглядела на бледного Витю и участливо сказала:

— Что я тебе отвечу? Ты только не обижайся (при этих словах у Вити сердце ушло в пятки), пойми... Больше года тебя не было, за это время много утекло воды, и мы сильно переменились. Ты же ведешь себя так, словно мы только вчера расстались.

— В чем же перемена? — У Вити заговорила гордость оскорбленного в самых глубоких чувствах влюбленного. Он ждал не такого ответа на свое откровенное письмо.

— А в том, что в нашем классе мне понравился один мальчик.

— Кто?

— Зачем тебе знать? Вообще смешно получилось...

— Смешно? — удивился Витя, не понимая, как об этом можно говорить легкомысленно, взял свое письмо на столе и машинально оторвал от него клочок, другой. Нина проследила за нервными движениями его рук и сказала:

— Ты меня правильно поймешь, Витя, если я тебе все расскажу по порядку. Я должна рассказать, чтобы у тебя не осталось никакого сомнения на этот счет. Рассказать?

— Рассказывай... — И, досадуя, продолжал рвать на клочки письмо, от которого уже осталось меньше половины, а на столе выросла рыхлая горка бумаги. Слушая, он с горечью убеждался, что Нина скорее всего исповедуется, как попу в церкви, а не влюбленному.

— Да, смешно. Я, как Татьяна Ларина, написала ему письмо и положила в парту. Почерк старалась изменить, но он все равно узнал и отнесся к моему посланию безучастно. Тогда я настрочила записку, свернула трубкой, вложила в ручку и передала по ряду (он сидел от меня парты через три). Повертел ручку, пожал плечами и вернул: «Это не моя». Я от досады обгрызла ногти на пальцах, не зная, как быть... В конце концов он понял, что нравится мне, что я хочу с ним дружить. Но тут Альбина открыла секрет: мой любимый ходит на танцы с девчонкой, которая на год старше его и учится в другой школе. Я очень расстроилась и сказала ему: она или я, пусть выбирает!

«Просто теряюсь, — ответил он то ли всерьез, то ли издеваясь надо мной. — Алла мне нравится (а это была Алла с вашей улицы), и ты нравишься, но ты только наполовину».

«Ах, вот как! Тогда и дружи со своей полной красавицей, а меня оставь в покое!»

На этом месте рассказа (уже прикончив свое письмо), Витя с надеждой, что для него еще не все потеряно, поднял на Нину глаза:

— Кто же это все-таки? Ахмет?

— Не гадай! Слушай дальше... Мы перестали разговаривать, и так продолжалось до летних каникул. После экзаменов наш класс уехал в Анапу, в трудовой лагерь, жили в палатках, работали на виноградниках, окучивали кусты. Вставали в пять утра и до одиннадцати — на плантациях. Аппетит зверский. Съедали за обедом по огромной миске гречневой каши. Потом — на море. Купались, загорали. Было очень здорово... Он командовал нашим отрядом. Мы помирились, правда, дружба не налаживалась. Каждый день он писал Алле письма, но от нее не получал и мучился. «Не страдай. Она тебя не забыла. Напишет», — сказала я однажды с подковыркой, ревнуя.

«Если бы ты знала, как с ней трудно, — пожаловался он. — Очень капризная. Сколько раз, бывало, назначит свидание и не придет. А я, как истукан, торчу по два-три часа у какого-нибудь фонаря. Что-нибудь ей скажешь, а она поймет по-другому или притворится, что поняла этак, а не так, и ходит надутая...»

Девчонки не хотели, чтобы я с «ним» дружила, зная об Алле, выслеживали нас, дулись на меня, упрекали, не разговаривали. Но я не сдавалась. Часто мы уходили далеко от лагеря по берегу моря, собирали ракушки, диковинные камешки, болтали о том, о сем. А то и просто сидели на песчаной дюне, любясь синим простором.

«Он» мне все больше нравился. У него была привычка: говорит о серьезном, а на губах усмешка, и в глазах плутовская искорка, словно хочет тебя обмануть, при этом как бы втягивал щеки и прищмокивал. На самом деле был честен, правдив, сдержан в своих чувствах и тоски не нагонял. Возьмет меня за руку и потянет к морю: «Пойдем укроемся волной!» Выглянет из палатки: «Подержи полу, присвети луной!»

Нина так живо обрисовала Витиного соперника, что он надеялся узнать его в ком-нибудь из знакомых, но никого похожего так и не припомнил.

— Однажды он положил мне на плечо руку (и до этого клал). Но теперь обнял и поцеловал. Я тоже его поцеловала. Было так приятно, так хорошо на душе. Но я тотчас строго сказала (он даже испугался):

«У тебя есть девушка, а ты целуешь меня! Вернемся домой, и ты ее станешь целовать?»

«Нет. Больше с нею не буду встречаться».

«Все равно на наши поцелуи табу!»

«Как хочешь. Только не оставляй меня».

Нина опустила глаза, охваченная приятными воспоминаниями, и продолжала:

— Недавно я плыла пароходом мимо Анапы, стоянка была часа три. Я съездила на место нашего палаточного городка и все живо представила. Это не забудется никогда!

Только сейчас, по ходу рассказа (что понял Витя по ее восторженным глазам) Нина осознала значительность пережитого, словно наконец-то осилила долго не дававшийся барьер. Ей это стоило немало мук, страшного душевного напряжения, из которого она вышла просветленная и обогащенная важным опытом в человеческих отношениях. Откровенничая перед Витей, она как бы еще раз анализировала свои поступки и убеждалась: да, это был не ложный шаг с ее стороны! Витя завидовал сопернику и страдал от того, что не был на его месте, хотя мог быть. Должен быть! А оказался лишь оселком, на котором Нина оттачивала свои чувства.

— За лето мы очень сдружились, — безжалостно продолжала она. — Он обещал больше не встречаться с Аллой, в то же время нет-нет и вспоминал ее, а перед самым отъездом из лагеря сказал:

«У Аллы через неделю день рождения. Неудобно не сделать ей подарок».

На автобусной станции он купил коробку конфет и долго писал приветствие на обратной стороне. Я не стерпела:

«Знай! Если встретишься с Аллой, то между нами все будет кончено».

«Нет-нет! — заверил он. — Я pošлю конфеты по почте».

Вернулись домой. И что же? Вскоре девчонки передали мне, что видели его с Аллой.

«Это правда?» — спросила я при встрече.

«Правда. Я не мог иначе. Я тебе сейчас все объясню...»

Я не стала слушать, ушла. Мы рассорились, казалось, навсегда. Осень, зиму, хотя и учились в одном классе и виделись каждый день, не разговаривали. Он делал попытки к примирению. Часто я ловила на себе его взгляды. Подопрет рукой щеку, облокотится на парту и весь урок не спускает с меня глаз. Просто неприятно. Подружки передавали, что он им жалуется: «Не замечает меня Нина. Совсем загордилась». Я рассердилась, подошла к нему и нагрубила:

«Ты ведешь себя, как болтливая баба! Оставь меня в покое! Между нами все кончено!»

Альбина была с ним в хороших отношениях, с одной улицы, чуть ли не соседи, и пыталась нас помирить...

— Кто же он? Кто? — воскликнул Витя в страшной обиде. Надо же, перед ним откровенничали, как перед посторонним человеком, и вроде бы даже ждали от него сочувствия...

— Подожди. Не перебивай! — воскликнула Нина, никак не реагируя на его эмоции, с таким видом, будто вовсе не адресуясь к Вите, а вся в своих любовных переживаниях. — Альбина прожужжала мне уши о страданиях молодого Вертера, стала между нами посредником. Она всячески выгораживала его, расписывала положительные качества и прочее и прочее, а когда тебе настойчиво внушают что-нибудь, то все равно, как ни противься, непременно склонят на свою сторону, если не совсем, то наполовину обязательно... Наступили летние каникулы, восьмилетка осталась позади, многие прощались со школой. Альбина мне передала: «Он страшно расстроен, все бормочет, как больной: «Неужели она и в этот день не помирится со мной?» — «Правда, Нина, хватит тебе мучить человека!» Альбина пеклась, конечно, о другом, боялась, что я отобью у нее Женю, который стал в это время за мной ухаживать. Я-то ее хорошо понимала... А он мне вовсе не разонравился. За этот год он и росту прибавил, и статью никому из ребят не уступал в классе. На верхней губе запустились усики, прорезался басок. И внешне похорошел, и первым был в учебе: готовился в морское училище. Я сказала Альбине шутя: «На балу пойду танцевать с ним лишь после третьего приглашения. Так и передай!» Он не три, а двадцать три раза приглашал меня. Теперь мое упрямство выглядит не очень умно, ведь мне самой не хотелось с ним ссориться... Дружба все-таки не наладилась, может быть, по причине не от нас зависящей. Я вместе с Альбиной сдавала в педагогический техникум, но меня постигла неудача на экзаменах, да и родители отговаривали, хотели, чтобы я закончила среднюю школу. За лето мы встречались всего два-три, не больше. Помню последнее свидание. Он что-то рассказывал забавное и вдруг смолк, загрустил.

«Что с тобой? Неприятность какая-нибудь? Не приняли в морское училище?» — спросила я.

«Нет, тут все хорошо. Другое меня огорчает. Мы переезжаем жить в Одесскую область, там маме в наследство достался дом, а здесь ты зна-

ешь, какая квартира — одна комната. Завтра устраиваю для ребят прощальный вечер. Придешь?»

«Не знаю. Не могу точно обещать».

«Хочешь, зайду за тобой?»

«Заходи, но вряд ли я смогу».

«Да будь же ты в конце концов человеком! — рассердился он. — Приходи! Я буду ждать. Очень!»

Он никогда у нас дома не был, наверное, стеснялся, но мама знала о нашей не очень ладной дружбе. Когда я ей сказала о приглашении на прощальный вечер, она настояла, чтобы я пошла. Он играл в любительском джазе, и все его друзья явились с музыкальными инструментами. Гости не скучали. Комнату оставили, вышли во двор. Народу собралось — яблоку негде упасть. Ему было не до меня, так, во всяком случае, мне показалось, потому что за весь вечер мы не посидели вместе и десяти минут. Я обиделась, хотела уйти, но между нами осталось что-то недоговоренное, непонятое. Мы с Альбиной удалились в комнату, взяли баян. Альбина растягивала мехи, а я на ладах, как на пианино, наигрывала мелодию и вполголоса пела. Вошел он, подсел, стал подпевать, и я повеселела.

«Будешь писать письма?» — спросил он.

«Буду».

Но, по правде сказать, не надеялась на прочность нашей дружбы. Только подумаю: морское училище в Одессе, дом там же, от меня за тысячу километров — какая тут может быть дружба? За год много воды утечет, рассудила я, и в одном письме попросила его устраивать жизнь по собственному усмотрению, меня забыть. Тотчас пришел ответ. Он заверял, что любит одну меня, что разлука лишь сильнее убедила его в этом.

Я уехала в дом отдыха под Туапсе и на танцах познакомилась с одним молодым человеком. Он здорово водил, был обходителен, остроумен и... довольно-таки развязен. Я этой развязности поначалу не замечала, увлеклась танцами, прогулками в горы, была очарована тихой осенней погодой, настроение мое перекликалось с тем, какое было под Анапой, в трудовом лагере. На третий или на четвертый день, провожая меня с танцев в дом отдыха, молодой человек повел себя очень свободно. Это ему я влепила пощечину за поцелуй. Рассердилась страшно, а он усмехнулся:

«Кошечка, ты что-то сильно ломаешься. Мне не нравится».

Я решила оставить этого донжуана. Но на следующий вечер он снова подошел ко мне, расшаркался, попросил извинения, сказал, что принял меня за другую. В общем, мы помирились и снова вместе танцевали, только я попросила меня не провожать. Я поняла, что настоящее — это Анапа, а здесь один дым.

Утром достала из чемодана его последнее письмо, в котором он заверял меня в своей любви, вырезала эти слова ножницами, наклеила на чистый лист и написала: «Если это так, то я тебя буду ждать!» Зимой, в последний год учебы, я увлеклась литературой, много читала, редко ходила гулять, старых подруг и тех позабыла. Часто писала ему, рассказывала о

школьных успехах и неудачах, в каждом письме подтверждая свою любовь. Не умолчала и о том, как за мной ухаживал Женя, как я ходила с ним в кино, на танцы, но не больше. И он простил. А на днях стук в дверь. Открываю. На пороге — морячок, коротко подстриженный, лицо знакомое и незнакомое. Он молчит, и я онемела, пошла зачем-то в комнату, с полдороги вернулась:

«Прости, не знаю, что со мной... Здравствуй! Заходи. Как же ты изменился!»

«Здравствуй», — сказал он как-то глухо. Получилось очень неловко. Я не так представляла нашу встречу, думала, что мы бросимся друг к другу в объятия, а вышло скованно, ненатурально. Правда, за столом мы разговаривались, но нам не хватало откровенности. «Как учеба в морском училище?» — «А как твоя в школе?» — дальше этого мы не пошли. Ему надо было к родственникам в Станичку. Условились встретиться вечером в парке. Но и вечером все как-то не то, натянуто, сухо...

Витя слушал уже без ревности (настолько увлекся рассказом), находил немало темных сторон в поведении «таинственного незнакомца», о которых не умолчала и сама Нина, может быть, преднамеренно их подчеркивала, и это оставляло еще какую-то надежду. Иначе, зачем так подробно ей расписывать нескладные отношения? Но, может быть, задалась целью проверить на Вите, на его впечатлении, прочность своих чувств?

— Я вернулась домой в прескверном настроении. До сих пор была вольной птицей, а тут будто подрезали мне крылья или посадили в клетку. Я приходила на свидание, как на отбывание тяжелой повинности. Мы встречались, как враги, делающие вежливую мину при плохой игре. «Бог мой, что же это такое? — задавала я не раз себе вопрос. — Наша дружба разваливается, как не скрепленная раствором стена. Кто в этом виноват — он или я? Неужели год, всего один год сделал нас совершенно чужими?» Наверно, о том же думал и он. Глаза его делались скучными, взгляд все чаще застыл в отчаянии.

Я решила без обиняков сказать, что некстати рыжему мужику вороной конь, пора нам расстаться. С таким намерением ждала его в этот вечер дома, отказавшись идти на танцы. Раздался стук в дверь. Открываю. Он не один. С ним наш общий школьный товарищ. Я облегченно вздохнула, надеясь, что «третий лишний» скрасит тягостный вечер. Он был необычно рад встрече со школьным товарищем, которого давно не видел. Пошли воспоминания, шутки, смех. Его словно подменили, куда делась замкнутость — сыпал остротами, играл на баяне, пел! И все наладилось, мы как бы вернулись к нашим школьным годам, к прежним простым сердечным отношениям.

Заканчивался его отпуск, и уже страшно было подумать о расставании, а тут и мне надо было уезжать пионервожатой в лагерь. Он не хотел отпускать, даже обиделся. Но ничего не поделаешь — пришлось расстаться раньше срока. Возвратившись в училище, он так отдался занятиям, что получил еще один короткий отпуск в виде поощрения, и я с нетерпением

ждала его приезда. Считала дни, ходила, как дурная, и все боялась: а вдруг провинится и в отпуске откажут? Какой-нибудь стук, я вздрагиваю, бегу к двери. Подружка-соседка стала замечать за мной что-то неладное и спросила об этом. Я с утра была сама не своя.

«У меня должен быть гость. Вот и волнуюсь».

«Он» приедет?»

«Да».

«Но ты же говорила: еще через неделю?»

«Он приедет раньше».

В библиотеке, отбирая книги для пионерлагеря, я сидела, как на иголках, не выдержала и со всех ног пустилась домой. Подхожу, гляжу — у ворот он. Я вскрикнула и повисла у него на шее. Минут десять мы кружились в объятьях. Вот когда я поняла, что люблю его, только его одного... Ты прав, Витя, я спешу не к подруге, а к нему в Станичку на свидание... Извини за все. Прощай!

— В конце концов, ты мне скажешь, кто он? — спросил Витя подавленно, уже ни на что не надеясь и в конце концов смирившись со своей участью отвергнутого.

— А разве я не сказала? — этак наивно-извинительно. — Костя... Но не дядя Костя, а «тихий» Костя, друг твоего детства. Помнишь его?

Витя не застал семью Костика, переехавшую в Одесскую область, но живо припомнил скромного, непритязательного, тихого мальчика, его отца-старьевщика, сухонькую маму, маленькую, чистенькую комнатку, игрушки в углу, всегда аккуратно сложенные, подшитые тряпочками обложки книжек и даже затхлый привкус манной каши из залежавшейся крупы. Неужели об этом Костике поведала ему Нина взволнованную повесть? Как мог стать для нее героем тихоня и скромник?

Витя сгреб со стола ворох изорванной бумаги — своего любовного письма, и на улице, разжав кулак, бросил вверх. Ветер подхватил клочки, развеял, разнес по воздуху, как снежные хлопья. Прощайте, бессонные ночи, благородные порывы души, светлые надежды! От Витиной любви, как от этого письма, ничего не осталось. Он старался успокоить себя: все не так плохо, как кажется, и подумал: «Ничего, ничего, дружище! Это на пользу. Когда-нибудь пригодится!» Сколько уже раз сокровенная фраза служила ему отдушинкой, палочкой-выручалочкой, когда он попадал впросак или в какую-нибудь невероятную ситуацию. Ведь он собирается стать писателем, а для этого нужно всего испробовать: и сладкого, и горького, и кислого. Вите в самом деле полегчало при мысли о своем важном творческом будущем, только, увы, ненадолго.

Прямо от Нины он направился в мастерскую к Жене и все ему рассказал, зная, как для него это важно, но не предполагал, какое произведет сильное впечатление. Женя работать уже не мог, отпросился у мастера и

вместе с Витей отправился бродить по городу. Домой не хотелось, тянуло куда-нибудь подальше от мест, растрavляющих душу, и оба, не уговариваясь, пришли на вокзал.

Витя наконец понял, что его друг переживает так же болезненно, как он сам. Вид совершенно потерянный: куда Витя ведет его, туда покорно и плетется. Обычно после работы Женя переодевался в чистый костюм, приводил себя в порядок в мастерской, но теперь умыться забыл и вышел на улицу с залапанными грязными руками носом и ухом. Они завернули к ближайшему туалету, и Женя умылся, благо, на раковине нашелся обмылок.

— Такая тоска, что уехал бы из города куда глаза глядят! — говорил Витя, пока друг плескался под краном, а потом вытирался носовым платком и выжимал из него воду.

— А куда?

— Мало ли городов! — Витя намекал на недавние свои странствия и большую осведомленность по этой части.

— Деньги нужны на билеты, а у меня в кармане одна пятерка, — посоветовал Женя.

— Зачем деньги? Я тебя провезу вокруг света, как жюль-верновский путешественник с гривенником в кармане.

На широкой открытой веранде, выдававшейся к перрону, грянул духовой оркестр. Так издавна провожали московский пассажирский поезд. Вокзал приобрел праздничный вид. По перрону прогуливались уезжающие и провожающие, просто публика, привлеченная музыкой и возможностью себя показать и на людей посмотреть.

Витя и Женя вышли на веранду, разглядывая сверху суету возле вагонов. Публика была одета нарядно. Те, кому предстояла приятная дальняя дорога, новые впечатления, были веселы, оживлены, но кое у кого блестели на глазах слезы, опять же не горестные, а легкие слезы прощания, которые тут же сменялись улыбкой.

Витя заметил двух лейтенантов, затянутых ремнями, в сине-голубой форме летчиков. Недавно в армии ввели новые звания. Портреты генералов публиковались в газетах и привлекали внимание ребят. До сих пор слово «генерал» ассоциировалось с белогвардейцами, но вот снова вернулось в армию. У публики новоиспеченные лейтенанты вызывали любопытство, и те немного рисовались, посмеивались, крепкие, молодые, в сдвинутых набекрень пилотках с голубой окантовкой, с маленькими серебряными пропеллерами и красными кубарями на петлицах — залюбуешься!

Витя сам мечтал пойти в военные летчики, доказать и друзьям, и себе, что воздушный океан в конце концов покорится ему так же, как водный, недавно подал документы, но врачебная комиссия забраковала по зрению. Он и не предполагал, что от усиленного чтения книг разовьется близорукость. Врач выписал очки, и Витя иногда их надевал, больше для «ученого» вида, чем по необходимости.

Куда едут летчики? Из отпуска в часть, а, может быть, на какую-нибудь войну? Не случилось такого года, месяца, когда бы молчали пушки, обязательно где-нибудь шли бои. Еще не рассеялся пороховой дым в Абиссинии, на которую напала Италия, как загревели бои в Испании, и на Серебряковской улице, у витрины с картой Пиренейского полуострова, утыканной красными и синими флажками, отмечавшими положение правительственных войск и интервентов, всегда толпился народ. Вслед за испанскими событиями газеты принесли весть о вторжении Японии в Северный и Центральный Китай, совсем недавно Германия захватила Австрию и сосредоточила войска на польской границе. Каждое утро, покупая «Черноморский рабочий» в киоске, Витя раскрывал газету прежде всего на четвертой международной странице.

Ближе и ближе война придвигалась к границам России, «в воздухе пахнет грозой», как убеждала одна популярная песня, и Витя, поглядывая на военных летчиков, расхаживающих в ногу по перрону, задумывался, а кем он должен стать, какому делу посвятить себя? Бродяжничество потеряло смысл, напомнило сегодня о себе, как отрывка давно съеденного обеда. Наверное, о том же подумал Женя. Прозвенел третий удар в медный колокол, и поезд медленно поплыл вдоль перрона, сопровождаемый прощальными возгласами и военной музыкой. Один гражданин в пенсне что-то недосказал, вспомнил, побежал за вагонами, жестикулируя и крича своей уезжающей супруге, которая выглядывала в окно и прощально махала рукой... Друзья вышли на привокзальную площадь совсем в другом настроении, с каким пришли сюда.

— Ну его! Никуда не поеду. Надо десятилетку кончать, — сказал Витя. — В летное меня не приняли, буду поступать в институт.

— Это дело! Возраст у тебя позволяет еще учиться, — поддержал его Женя. — Я бы тоже поступил в институт, да в армию забирают.

Витя не раз спрашивал себя, поумнел он или остался с прежними представлениями о жизни, какие у него были, предположим, в прошлом году или даже пять лет назад. То казалось, ничто не изменилось, то вроде бы круг представлений намного расширился. Но разве и тогда, пять лет назад, он не знал того, что знает сейчас? Пожалуй, и тогда был несколько не глупее. И все-таки что-то с ним произошло. Впервые он задумался, кто он, зачем явился в этот мир и что должен сделать? А Нина, Лешка, Ахмет, дядя Костя — что они за люди? Какую роль играют в его судьбе? Что они значат для него? А он для них?

Как Витя ни ломал голову, но определенного вывода не сделал, кроме того, что еще повзрослел. Подошел к полке с книгами и стал доставать одну за другой, вспоминая, о чем они и какая из них больше всего понравилась. Рассматривал, листал, пробежал несколько строк — нет, не то, и возвращал на место. Совсем недавно они увлекали, будили мысли, а теперь не вызывали никаких ответных чувств, были далеки от той жизни, которую вел Витя, и не отвечали на вопросы, которые его волновали. Он взял с полки скромный зеленый томик, неизвестно как попавший сюда,

скорее всего принес и забыл кто-то из знакомых ребят. До сих пор Витя избегал зеленого томика, как чересчур умного друга, который одним своим ученым видом нагонял скуку. Сел на кровать, прочитал первую страницу — легко, без принуждения. Прочитал главу, вторую. Прилег и — не сомкнул глаз до утра. Закончил читать, взглянул в окно — солнце! Это было так необычно, так непонятно — осилить в один присест философскую книгу! И что удивительно — спать не хотелось и после того, как читать уже было нечего. Спать не давали мысли, вызванные зеленым томиком.

Витя умылся, оделся, пошел в центр. Солнце ярко светило, сновали люди, подводы, машины, все обычно. Но Витя смотрел на родной город другими глазами, словно до сих пор брел по лесной чащобе, теряя надежду когда-либо из нее выбраться, и вдруг вышел на белынь. Книга эта была Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Вслед за тем он прочитал объемистый труд англичанина Бокля, доказывавшего влияние географической среды на психологию народов, несколько книг Гегеля и Канта, удививших простотой изложения, ясностью мысли, чего он никак не ожидал.

Ленин раньше казался страшно сложным, недоступным, таким бы и остался надолго, если бы Вите в руки не попала его работа «Материализм и эмпириокритицизм», захватившая полемиической взволнованностью. Автор спорил, страстно доказывал инакомыслящим свою правоту.

Почти все эти имена были известны по учебнику обществоведения, но предмет преподавался до того скучно, наукообразно, учитель словно боялся сказать лишнее слово помимо напечатанного, что Витя с трудом высиживал урок, ничего не запоминая. Бывало, вызубрит домашнее задание, расскажет, если вызовут к доске, и тут же забудет.

А теперь и учебник не казался «талмудом», кое-что в нем прояснилось.

Витя очень увлекся философией, читал все подряд, без какой-либо системы, с одним сильным желанием разглядеть мир, в котором жил. Он уже знал такое, о чем и не догадывались его друзья, но заговорить с ними на философские темы не решался, боясь прослыть «умником». А потребность поделиться мыслями, вызванными чтением, появлялась чаще и чаще. Но с кем? Кто его правильно поймет? Лешка? Ахмет? Греки? Витя и не предполагал, как трудно найти достойного собеседника.

С одним парнем он быстро сошелся, но крепкой дружбы не получилось, что-то помешало, возможно то, что Сергей Зовицкий был моложе. Он жил на Октябрьской площади, где устраивались городские митинги и парады, в каменной водонапорной башне, которая уже давно не действовала и была превращена в квартиру. Витя не раз бывал в гостях у Сергея, поднимаясь по винтовой лестнице, как на маяк. Комнаты непривычно полукруглые, смотришь в окно, и вся бухта, как на ладони, и город под тобой.

Сергей был ловок, подвижен, отличался прямоот суждений, учился на «пятерки» и постоянно выбирался старостой класса. Все девчонки влюблялись в белокурого, с тонкими чертами лица первончика и первомника. Он был из тех увлекающихся, деятельных ребят, которые все что-то мастерят в кружках Дома пионеров — макеты кораблей, планеров, самолетов. Они не витают в облаках, мечты их практические, но и не лишенные романтики. Комната Зовицкого пестрела географическими картами и литографиями с изображением льдов, белых медведей, собачьих упряжек, обледенелых кораблей. Среди них привлекали внимание улыбающийся Амундсен с меховой шапкой в руке возле собачьей упряжки и Седов на палубе «Св. Фоки». Сергей очень гордился этими фотографиями. На этажерке, забитой научно-популярной литературой, стоял макет парусной шхуны, а под ним на полу — эскимосские пимы из оленьих шкур, подаренные полярником, родным дядей.

Одевался он по-спортивному: зимою носил летный кожаный шлем, плотно обтягивающий голову, короткую куртку, стянутую на талии, и вместо обычного школьного ранца — военную полевую сумку, всегда раздутую напиханными в нее учебниками и любимыми книгами. Витю Сергей поражал начитанностью, не верилось, что в юной голове можно вместить столько разного из истории научных открытий, освоении Арктики и Антарктики. Но он не был похож на тех «заученных», рассеянных и неряшливых, которые по забывчивости ищут шапку, уже надетую на голову.

Зовицкий уверенно вступал в жизнь, хорошо знал свое место в ней, тогда как Витя был далеко не удовлетворен собой, всегда опаздывал, не только в гости или кино, куда он опаздывал большей частью потому, что не любил ждать, как некоторые беспокойные люди, приезжая на вокзал за час до отхода поезда (такие люди, как он замечал, вроде бы спешили, а на самом деле прожигали много времени без пользы), опаздывал он в жизни. На два года позже своих сверстников заканчивал школу — опоздание непростительное и постыдное, опаздывал в познании истин человеческого общежития, встречал однолеток, которые знали больше его, и в этом он видел чуть ли не свою умственную отсталость (тех, кто знал меньше, большинство, он не брал в расчет, завидуя тем, кто его обогнал). Отчего это происходило — от лени или каких-нибудь иных причин, или от всего понемногу — Витя не мог точно объяснить, но опоздание постоянно висело над ним, как дамоклов меч.

Прав был дядя, говоря, что он ведет бессмысленный образ жизни, хватает и за то, и за это, и еще не определил своего настоящего призвания. Он хотел сочинять повести и все, что попадалось на глаза о литературном мастерстве — статьи, исследования, высказывания писателей — жадно прочитывал, надеясь раскрыть какой-то незнакомый ему секрет творчества. Но вот беда: писательской должности ни в одном учреждении города не нашлось, надо было приобретать другую специальность, которая обеспечивала бы заработок на жизнь. Кем же стать?

Об этом он как-то заговорил с Зовицким, встретив его на улице. Тот удивленно приподнял темные брови, красиво разнившиеся с русым чубом.

— За тебя никто не решит! Главное — не бездельничать. По-настоящему человек живет тогда, когда не хватает времени. Пока! Спешу.

Он откинул назад набитую до отказа книгами потертую полевую сумку и, помахивая в руке летным кожаным шлемом, тоже изрядно поношенным, бодро зашагал дальше. Ему можно было лишь позавидовать. «Я-то знаю, кем буду, и добыю своего!» — говорил он всем своим напористым видом.

* * *

В то время произошло одно событие, глубоко всколыхнувшее душу Вити и пусть косвенно, но повлиявшее на его дальнейшую судьбу. Мама с отчимом переехали на работу в станицу Вешенскую и на лето взяли сына к себе.

Станица Вешенская — деревянно-саманная, камышовая, с плетнями вдоль песчаных улиц, ничем не примечательная, разве только старинным зеленоглавым собором на площади, каких, впрочем, много на Руси, — обычная казачья станица. Но присутствие в ней писателя Шолохова, его всемирная слава как бы вдохнули в Вешенскую душу, возвысили и опотизировали.

Станица раскинулась по левому, в этом месте угористому берегу, в излучине реки. Еще до революции казаки на окраине посадили красный бор — преграду степным суховеям. В сосняке устраивали праздники, скачки. На ипподром садились самолеты. А противоположная сторона реки — низменная, пойменная, в непролазных зарослях ивняка, тополей, ольхи. Берег почти до самых Базков — песчаный, «пляжный». Места красивые, величаво-спокойные, не очень броские, не очень яркие, и Витю, черноморца, привыкшего к синим далям, жаркому солнцу, горным перевалам, чинарам и кизилу, поначалу разочаровали. Увы, природа поскуднее, жизнь посуровее, но ведь это были шолоховские места!

Стояло жаркое лето 38-го года. Уже тогда имя Шолохова, автора трех книг «Тихого Дона» и первой книги «Поднятой целины», гремело на всю страну. Вскоре молодой писатель закончил и последнюю, четвертую книгу эпопеи. «Правда» ежедневно отводила ей целые полосы, печатая главу за главой. Такой широкой публикации художественных произведений прежде, да и потом в этой газете не случалось.

В станице был театр казачьей молодежи, пожалуй, единственный в своем роде, в нем ставились инсценировки из «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Самым популярным актером был исполнитель роли деда Щукаря. Послушать его побасенки ходили по несколько раз, монологи Щукаря заучивали наизусть, меткие речения ходили как пословицы. Уже ставилась опера Дзержинского «Тихий Дон», и песни из нее передавались по радио, звучали с патефонных пластинок, распевались народом. Все

донское делалось модным. Люди как бы открыли для себя незнакомое племя, с которым жили бок о бок, но которое плохо знали или вовсе не знали. И первооткрывателем был Шолохов.

Приехал Витя в Вешки под большим впечатлением произведений писателя. Знакомства, прогулки, разговоры с вешенцами были овеяны романтикой «Тихого Дона» и «Поднятой целины», чуть ли не в каждом жителе он видел Григория Мелехова, Аксинью, Давыдова, деда Щукаря, а однажды ему посчастливилось встретиться с... Лушкой.

В то лето песок слоем лежал на подоконниках, хрустел на зубах. Было очень жарко, настоящий вар, но рядом плескался о берег Дон, и Витя день-деньской пропадал на реке. Солнце медленно сгорало за лесом, тени пропали, но было еще светло. На той стороне, под откосом, два казака купали лошадей, голые верхом въезжали в реку. Сизая дымка стлалась над водой — гладкой, будто полированной. На пляже, с двумя грибками и киоском, уже закрытым, кое-где оставались люди. С наплывного моста сошла молодая казачка в сарафане, сбросила его через голову — ноль внимания на пляжников — и в чем мать родила, скрестив на груди руки, плюхнулась в воду. Витя ошеломленно смотрел на «Лушку», пока она бултыхалась в реке, а потом, все так же держа на груди руки, вышла на берег, схватила с песка сарафан и, повернувшись спиной (по спине катились капли воды), оделась, бросила на парня косой взгляд, точно хотела сказать: «Ну чего zenки вылупил?» — и ушла... Вечером в театре Витя смотрел сцены из «Поднятой целины». Актеры очень верно, возможно, не без «консультаций» Шолохова, передавали своеобразие местной речи и образа жизни. Позже Витя доводилось по радио слышать театрализованные отрывки из «Тихого Дона» в исполнении знаменитых московских артистов. Но их чистое литературное произношение напоминало выкошенную, без цветов и запахов, лесную елань. Что если бы «Тихий Дон» был написан таким языком? Он стал бы заурядным романом. По дороге из театра Витя догнал девушку в белом. Это была «Лушка». Она тоже узнала очевидца ее рискованного купания в реке и ухмыльнулась:

— А, москаленок!

— Почему москаленок? — удивился Витя: приехал с Черного моря, на севере дальше Вешенской не был. Может быть, оттого, что в красных сапожках, белобрыс, и на улице мальчишки дразнили его «сметаной»? «Лушка» не ответила и вдруг предложила покататься на каюке.

— Прямо сейчас?

— Отчего не сейчас? При луне... красиво.

Они спустились к Дону. В половодье река прорывала левый берег, и талая вода заполняла пойменный лес. Паводок спадал, но образовывался залив, ендова, называемая здесь «Прорвой». И вот они уже плывут по ендове. Гребла «Лушка». Деревья тонули в воде, и пойменный лес, чудилось, куда-то уплывал. Было тихо, даже собака не взбреднет. В окне мансарды шолоховского дома светился огонек. Витя думал о Шолохове. До сих пор не видел его ни разу, хотя уже недели полторы жил в станице, и

дом его стоял напротив шолоховского, ошелеванного фризowymi досками, с надстройкой, мансардой, голубятней посреди двора, и обнесенного высоким забором. Дом и забор были выкрашены в зеленый цвет. Отчим каждый день бывал за зеленым забором, хорошо знал Шолохова и однажды сказал Вите:

— Давай покажу твою тетрадку Михаилу Александровичу!

При одной мысли, что знаменитый писатель будет читать несовершенные вирши шестнадцатилетнего поэта, Витю бросило в холодный пот, и он наотрез отказался.

В Вешенской прочитал «Поднятую целину». Роман ошеломил яркостью красок, необычно живыми характерами. События, описанные в книге, происходили на его памяти. Он жил в городе, но почти вся родня — в кубанских станицах и хуторах, и отголоски коренных преобразований в деревне, те типы людей, та обстановка были понятны и близки. Витя живо представлял героев книги — шептунского деда Щукаря, преданных революции Давыдова и Нагульнова, любвеобильную Лушку. Они воспринимались, как хорошо знакомые люди, живущие где-то рядом. Наверное, поэтому и Шолохов казался очень знакомым, почти родным человеком. Подойди, заговори с ним, и он тебя поймет, не отмахнется, примет живое участие в твоей судьбе. Это юношеское наивное представление о Шолохове определяло все его намерения и поступки в то время. Незвестно, как бы Шолохов отнесся к тому, если бы вот так, за здорово живешь, войти к нему в дом с какой-нибудь просьбой или просто, как к соседу, но была такая уверенность, будто он хорошо, давно знает белобрысого черноморского паренька, все его тайные мысли, задумки и чаяния, всю его недолгую жизнь.

Шолохов даже снился. Витя доверительно разговаривал с ним, читал свои стихи. Между прочим, снился не только Шолохов, но и Горький, и Николай Островский, и Фадеев, и Серафимович, чьими книгами тогда зачитывалась молодежь. Он радовался, что такие талантливые, замечательные люди его современники, все их знают и любят, что он живет рядом с ними, и большего от них ему ничего не надо.

Вот только завидовал или, пожалуй, больше удивлялся, когда читал роман «Поднятая целина». Он удивлялся, как все просто, понятно, впечатлительно и в то же время чувствуешь, какая юная рука писала и какая талантливая! Самородок, не тронутый ювелиром, грубый, весомый кусок золота. Именно в этой грубоватости, неприлизанности была вся прелесть шолоховской прозы. Каждая фраза оживала цветами, запахами, звуками. И открывался мир, словно уже где-то подсмотренный мельком, невзначай, а теперь, в книге, широко распахнутый перед тобой, населенный людьми, тоже словно где-то прежде встречавшимися мимоходом, а теперь вдруг ставшими очень близкими, и будто ты уже не с книгой в руке, а среди героев романа, радуешься, страдаешь, плачешь, смеешься вместе с ними, с волнением следишь за их судьбами, болееешь и переживаешь за

них. Вот так бы сам взял и написал о том, что видел и перестрадал, ведь, кажется, очень просто. Витя был уверен, что писал Шолохов с $\bar{B}=74$ оро, с большим подъемом и «Тихий Дон», и первую книгу «Поднятой целины», во всяком случае, быстрее, легче многих своих современников-писателей. Большой талант позволил ему повествовать увлекательно, образно, емко.

Витя смотрел на огонек в мансарде и силился представить, что сейчас делал Шолохов — писал, читал или балагурил в кругу домочадцев? «Балагур» как-то не укладывался в его сознании. К человеку с таким именем, такой славой никак не вязалось что-либо обыденное, домашнее. И Вите было непонятно, когда мать говорила, что вот сегодня Мария за что-то отчитывала непослушного Мишу, как бывает жена мужа. А о теще, скуповатой женщине, рассказывала с усмешкой:

— Чего ей не хватает, не понимаю! Наняла людей, посадила в пойме огород. Целый обоз загрузила всяким слетьем. Ну а Михаил перестрел этот обоз и велел ездовым развезти урожай по своим домам.

Думая о Шолохове, Витя совсем забыл про свою подругу в каюке, и она, видно, обиделась, загребла к берегу. К тому же, спрыгивая с лодки, не рассчитала, плюхнулась в воду, замочила платье, рассердилась и холодно распрощалась.

А Шолохова Витя встретил неожиданно, в знойный полдень следующего дня. Шел, пыля песком, в тапочках, легких парусиновых брюках, сетчатой майке, светловолосый, какой-то весь солнечный, и с любопытством смотрел в его сторону. Таким он показался близким, знакомым, точно Витя с ним уже и разговаривал и встречался не раз. Очень хотелось что-нибудь ему сказать, но язык одубенел и подошвы красных сапожек, казалось, прилипли к доскам крыльца. Так он ничего и не сказал, а Шолохов, не доходя до него метров десять, толкнул рукой калитку и зашел к себе во двор.

«Что он подумал, глядя на меня? — пытался угадать Витя. — Наверное, удивился белокрысому казачку в красных сапожках и подумал: откуда он взялся в Вешках? Нельзя ли его описать в каком-нибудь рассказе?»

Шолохов в то время нередко выходил на Соборную площадь к молодежи поиграть в волейбол, много рыбачил, охотился, был веселый, общительный и выглядел намного моложе своих тридцати трех лет. Что было бы, если бы Витя согласился отдать тетрадь на суд Шолохова? Принял бы он участие в его творческой судьбе? Помог бы избежать тех многих ошибок, которые делают молодые люди, пренебрежительно относясь к своим способностям, полагая, что все придет само собой?

Знаменитый сосед, хоть и занимал в душе Вити немалое место, не смог вытеснить «Лушку», настоящее имя которой было Марьянка. На другой день, придя на пляж, он заметил девушку в тени кустов краснотала. Сидела одна, сгребала песок, просыпала сквозь пальцы и задумчиво глядела вдаль, на Прорву, окаймленную кудрявым пойменным лесом, который, казалось, стоял в воде. Там маячило несколько рыбацких каюков и

вокруг было так же покойно, тихо, с угасающим меланхоличным закатом, как и давеча.

Похоже, Марьянка кого-то ждала. Вряд ли Витю. Но когда он подошел, весело воскликнула:

— А, москаленок! Где пропадал? Небось с Шолоховым беседовал? — И насмешливо скосила серые прищуренные глаза, тряхнула волнистыми волосами, спереди выгоревшими до белизны, провела по ним ладонью, приглаживая. И тон, и жест выражали расположение к москаленку. Все-таки не обиделась!

Только сейчас Витя разглядел, какие красивые русые волосы были у казачки, и отметил это, как еще одно ее достоинство.

— Почти угадала, — сказал он. — Видел Шолохова.

— О чем же вы гутарили?

— Поговорить не пришлось. Встретил Михаила Александровича у калитки. Представиться постеснялся.

— Ай, ай, какой стеснительный! По тебе не видно. Небось в тихом омуте черти водятся.

Витя давно отметил склонность казаков к шутке, балагурству, и эта черта в девушке ему нравилась. Он присел рядом с намерением исправиться за неудачное катание на лодке. Прочитать какое-нибудь свое стихотворение? Не глупо ли получится? Рассказать анекдот? Но остроумного ничего в голову не приходило, и он принялся, по примеру Марьянки, ворошить песок.

— А черноморский не такой — крупный и серый, — пустился он рассуждать ни с того ни с сего, словно о любопытной достопримечательности родного края.

— Я на море никогда не была, — сказала Марьянка заинтересованно.

— Приезжай в Новороссийск, посмотришь. Там наш дом. Видишь, я совсем не москаленок.

— Все равно москаленок, — возразила она, смеясь.

— Почему же?

— Не наших краев человек. Залетная птица.

Это прозвучало как пренебрежение, то ли как предупреждение: не зарывайся, а не то получишь от ворот поворот. Витя сделал вид, что плохо понял шутку с перчиком, встал, отряхнул с рук песок.

— Давай купаться. В Базках пропотел на велосипеде. Учился ездить.

В соседней станице, в трех километрах, работал брат отчима, тоже в «Центроспирте». У него и был велосипед.

— Ну и как? Научился?

— Все столбы и кусты перецеловал.

— То-то я гляжу: лицо поцарапано.

— А, ерунда. До свадьбы заживет. Давай купаться.

— Купайся. Я не стану.

— Отчего же? Давай и ты.

— Днем купались.

— То был день, а сейчас вечер.

Витя потянул Марьянку за руку, но она уперлась босыми ногами в песок, утонув по щиколотку, и вырвала руку. Что за упрямство? Витю вдруг осенило: на девушке, как и в прошлый раз, был лишь один сарафан. Тогда москаленка она не постеснялась, а теперь, при близком знакомстве, стыдилась так смело обнажаться. От такого предположения Витю охватило озорство, захотелось подурачиться. Как изящно тогда изгибалась девичья фигура, как матово блестела кожа после купанья! Скрестив на груди руками, она выходила из воды, точно русалка! Почему бы это не повторить? Не было сомнения она всегда пренебрегала купальником. Подол старательно натягивала на поджатые ноги, обхватив колени руками.

Витя подумал, что, применив силу, может обидеть девушку, которая была старше его, пожалуй, года на два. Он больше не настаивал, сбросил с себя одежды и в красных плавках, пошитых мамой уже здесь, в Вешенской, с разбега бухнулся в теплую, нагретую за день воду. Отплыл подальше от берега, где течение заметно усилилось и на глубине холодило ноги, замахал рукой, зовя Марьянку. Она лишь посмеивалась и не двигалась с места. Витя нырял, кувыркался по-дельфини, шлепал ногой по воде, как сом хвостом, плавал разными стилями, показывая казачке, на что способен черноморский москаленок. И та с любопытством следила за немимоверными выкрутасами, а когда Витя вышел на берег, стыдливо отвела глаза, но тайком проследила, как он с одеждой укрывлся в кустах краснотала.

Отношения с Марьянкой складывались совсем не так, как с Ниной в Новороссийске, проще. «Возьми под руку или обними, она не воспротивится», — подумал Витя.

В сумерках они вернулись в станицу. Из-за пойменного леса поднялась луна и посеребрила казачьи курени, зеленые купола собора и шолоховский дом с мансардой. В ней засветилось окно. Марьянка жила на окраине, в узком проулке. Крытый камышом курень (вообще-то столь «экзотически» вешенцы свои жилища не называли, а просто «хата», «дом») стоял в глубине двора, огороженного плетнями — обычное здешнее строение.

— До завтра! — сказала Марьянка, открывая калитку и торопясь.

— Куда же ты? Совсем? — запротестовал Витя, недовольный холодным расставанием. «Наверное, не хочет, чтобы родители увидели ее с москаленком», — заподозрил он. Пока они были вместе, он остерегался обидеть девушку неразумным поступком, а теперь подумал, что сглупил, может быть, она ждала как раз обратного и обиделась, как и тогда в лодке.

— Завтра уезжаю, — сказал он, пытаясь хоть чем-нибудь задержать девушку. — Да, уезжаю, но ненадолго. В Москву, в гости к дяде. С мамой, — добавил он и пожалел, что упомянул маму, заметив усмешку на губах Марьянки. Она оставила калитку, снисходительно протянула руку.

— Вернешься, расскажешь, как и что в Москве. Буду ждать. — И неожиданно прильнула, поцеловала в губы. Витя второпях неловко обнял девушку. Подол сарафана задрался. На Марьянке действительно не было ни купальника, ни какого-либо нижнего белья. Витя непроизвольно, вовсе не желая обидеть, дурашливо прыснул. Девушка ахнула, одернула подол, потом смущенно хихикнула и не грубо, но с силой обеими руками уперлась в грудь. Удержать ее в объятиях не удалось. Оторвалась, побежала к крыльцу, даже калитку за собой не прикрыла.

— Подожди! — отчаянно крикнул вслед Витя. Марьянка оглянулась и приставила палец к губам: тише, разбудишь домочадцев.

В станице ложились с петухами. Ни в одном доме не светились окна. Витя постоял у калитки в надежде, что девушка все-таки выйдет (еще горел на губах поцелуй, еще не прошло ощущение близости женского тела, впервые так нежно прильнувшего к нему), и не дождался. Свет Марьянка не зажигала, видно, легла в постель в темноте.

* * *

На станции Миллерово вешенцы едва успели на проходящий поезд, места достались плацкартные в душном вагоне. Затененные шторами окна создавали полумрак, но не прохладу, которой не было и на дух. Заняли верхнюю для Вити и нижнюю для мамы полки, и, когда устраивались — рассовывали вещи, стелились — пассажир-сосед, в старомодном чесучовом, с накладными карманами костюме и в роговых очках, принялся давать советы:

— Вы бы, мадам, попросили своего мужа поставить чемодан на антресоли. Там свободно.

Витя смутился: так неловко почувствовал себя в роли маминого мужа. И когда это он успел превратиться в дядю?

— Это не муж, это мой сын, — сказала мама, смеясь.

— Пардон, мадам, — поспешно извинился пассажир французского воспитания и поверх очков уставился на Витю, удивленно покачал головой. — Такая молодая и такой уже сын!

Мама действительно была молода в свои тридцать четыре года и очень красива, с огромными голубыми глазами. Витя только недавно осознал, какая у него импозантная родительница. Уже в гостях у дяди она проговорилась, что ею увлечен Шолохов. Вите снова, как и в поезде, стало неловко, хотя не раз ловил равнодушные взгляды мужчин на свою маму-красавицу.

Отношения между сыном и матерью были сдержанные, редко когда она ласково проведет ладонью по мягким кудрям сына, никогда по-матерински не приласкает. Как-то посетовала, что упустила воспитание сына, всецело доверившись бабушке. Витя тоже не спешил выказывать свою сыновью преданность, был скуп на нежности.

Однако сдержанность не переходила в отчужденность, как случается между детьми и родителями. Витя другой мамы не желал. И она любила

сына, ничего для него не жалела, потакала мальчишеским прихотям и никогда не наказывала. Она словно чувствовала вину в воспитании своего чада. Поездка в Москву должна была в какой-то степени восполнить родительское упущение.

После окончания института, получив диплом с отличием, дядя в числе пятерых преуспевших в учебе был отмечен Анастасом Микояном, видным государственным деятелем, курировавшим пищевкусовую промышленность. Все пятеро были оставлены в Москве. Дядя получил должность в наркомате и квартиру в новом доме по Дмитровскому шоссе, у самой Окружной железной дороги. Кирпичный четырехэтажный дом одиноко стоял среди деревянных дачных построек. В нем и поселились вешенские гости.

Витя нашел дядю по-прежнему деловым и серьезным. За обедом, поглощая на племянника, он говорил с ноткой назидательности:

— Немного подрос, и меня отдали в ученики к сапожнику. Мог бы всю жизнь тянуть лямку, чинить ботинки. Но я увидел другие возможности и пошел на рабфак, окончил техникум, потом институт...

Как понял Витя, племянник должен был твердо усвоить, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, что жить по дядиному — не с веревочной скакалкой прыгать по «классам».

Квартира была из двух отдельных комнат. Самую большую и светлую занимал дядя с семьей, вторая принадлежала одинокой женщине с овчаркой. Из широкого окна, куда с самого утра и до полудня заглядывало солнце, далеко просматривались окрестности. За железной дорогой — Ботанический сад, а по Нижне-Дмитровскому шоссе — Тимирязевка с зелеными опытными полями и зеркальными прудами.

Хотя и была одна комната, гости расположились по московским меркам не тесно. Малолетний Эдик, которым Витя потешался в кубанской станице, наряжая римским патрицием, лето проводил в Новороссийске, у родителей дядиной жены. Тетя Лида, дядина жена, миловидная женщина, несколько замкнутая, с поджатыми губами, была беременна вторым ребенком.

Взрослые располагались в комнате, а Вите стелили в довольно просторной прихожей на раскладушке в соседстве с овчаркой. К незнакомцу она быстро привыкла, наверное, посчитав, что ночью вдвоем охранять квартиру веселее. Но оба сторожа до утра спали беспробудно, благо бандиты в Москве давно перевелись.

Тетя Лида, находясь в декретном отпуске (по образованию агроном, работала в Тимирязевке), всецело посвятила себя заботе о муже: утром подглаживала ему галстук, рубашку, костюм, чистила обувь, снаряжая в наркомат. Вообще слыла рачительной домохозяйкой. Вите особенно понравилось, как она крестиком штопала носки, получалось красиво и прочно, потом он сам так же штопал, когда было некому.

— Лида, ну что это такое! — иногда капризничал дядя. — Третий день даешь мне одну и ту же рубашку! Сотрудники подумают, что в моем гардеробе всего-навсего одна рубашка.

— Меняю каждый день. Ты, верно, забыл, что купил три одинаковых, — возразила тетя Лида, но незамедлительно поменяла рубашку. Она уже жаловалась золовке на чрезмерную респектабельность, какую требовали от наркомовских чиновников. А дядю прочили в недалеком будущем торгпредом в одно балканское государство.

Пока же собственного лимузина у него не было, служебный тоже не полагался, и добираться до наркомата приходилось троллейбусом или автобусом с постоянным проездным билетом, обходившимся дешевле разовых. Дядя отличался бережливостью. Тетя Лида как-то заметила, что он не позволяет себе истратить рубль в буфете или столовой, питается только дома. Витя убедился, что и она сама, щепетильная и педантичная, зря копейки на ветер не выбросит. После магазина столбиком скрупулезно записывала в тетради расходы — название продукта и его цену, чтобы потом отчитаться перед мужем или чтобы не выйти за рамки семейного бюджета? Витя только гадал, спросить стеснялся.

На стол подавался хлеб черный и белый, нарезанный аккуратными ломтиками. На юге черного хлеба не знали, Витя впервые попробовал его в Москве и тоже отнес к статье бережливости. Столичная жизнь считалась дорогой, и этим можно было объяснить экономию на всем. К тому же дядя только-только обретал самостоятельность и положение на службе.

Поездка в Москву оставила в жизни Вити светлый след. Он был бесконечно благодарен маме и затаил в себе мечту, не очень отдаленную, когда станет взрослым, доставить ей не меньше удовольствия, вместе съездить в Ленинград, посмотреть Эрмитаж, а все дорожные хлопоты и расходы взять на себя.

В то же время из Москвы Витя вынес разнородные и пестрые впечатления, иной раз долго не мог прийти в себя. У него было невысокое мнение о собственной персоне, а тут сделал открытие, что нравится женщинам. Произошло это в неподходящей обстановке, объект симпатии чувствовал себя крайне неловко. Он ехал в трамвае, держась за поручень, а напротив жгучая брюнетка упорно не сводила с него глаз. Откровенный призывный взгляд привел Витю в смущение. Он залился краской и не на шутку рассердился: «Чего она уставилась? Люди уже обращают внимание». Казалось, сделай навстречу шаг, и брюнетка бросится в объятия. Но в трамвай набилось народу — не протиснуться. Витя потерял незнакомку из вида и облегченно вздохнул.

На остановке толпа повалила из трамвая. Витя и не заметил, как брюнетка очутилась рядом с ним и прижалась грудью (то ли была притиснута выходившими из вагона людьми). Она тут же сбежала на тротуар, а Витю словно пронзило током, он готов был броситься вдогонку, да дверь за-

хлопнулась, трамвай покатил дальше, и юноше осталось только гадать — преднамеренно или случайно прильнула к нему брюнетка?

А по дороге домой, в пригородном поезде, который тащила голосистая «кукушка», в набитом пассажирами вагоне сосед по лавке, неприятно-любезный тип, заговорил с Витей о том, о сем, потом погладил плечо, потом ногу, и остоленевший юноша, не ожидавший такого внимания к своей особе и со стороны мужчин, растерялся, онемел, не понимая, что от него хотят. Благо нужно было сходить на первой же остановке.

Неприятные штрихи в характере москвичей, хоть и сгладились другими, более яркими впечатлениями, все же накрепко врезались в память и добавили Вити житейского опыта.

Дядя по-прежнему не проявлял к племяннику особого интереса, да и сестра не очень занимала его, и Витя с мамой, позавтракав, на весь день отправлялись в центр, обедали на скорую руку котлетами, запеченными в тесте. К ним подавалась чашечка с кипятком и кубик концентрата, который быстро растворялся, издавая аппетитный запах куриного или говяжьего бульона. Закуски развозились в лотках на колесах круглолицыми голосистыми продавщицами.

Уже действовало метро, на станциях было свободно, говорили, что первых пассажиров даже зазывали, мало находилось охотников путешествовать под землей. Станции напоминали дворцы: мраморные колонны, мозаика, художественное стекло, бронзовые скульптуры. Все блестело и сияло. «Надо же загнать под землю столько мрамора и бронзы!» — удивился индусский коммерсант, которого дядя Леня знакомил с Москвой. Вешенцы полюбили новый вид транспорта и постоянно им пользовались, стараясь везде побывать, побольше увидеть.

После Третьяковской галереи, усталые, долго отдыхали в открытом кафе под тентом с маркизами на месте снесенного собора Казанской божьей матери. Отсюда открывался вид на Красную площадь. Витя представлял ее значительно шире, какой она казалась на открытках, заполненная демонстрантами и стройными армейскими шеренгами. Москва-река вообще разочаровала: мутная, узенькая, терявшаяся в лабиринте домов большого города. Черноморцу странно было видеть соревнования по плаванию у набережной Центрального парка культуры и отдыха.

Сильно всколыхнула Витино воображение Третьяковка (одно время он мечтал стать художником, да вскоре понял, что это не его призвание). В память врезалась огромная футуристская картина в подвале, где ей, наверное, и положено было висеть. Она изображала бабу в цветастом сарафане. У края подола торчал натуральный деревенский башмак с холявкой. В пестроте красок ничего нельзя было рассмотреть, бросался в глаза лишь один башмак. «Ну и художество! — дивился Витя. — Вот бы Марьянке показать. Смеялась бы до слез!» Казачка незримо сопровождала его по достопримечательным местам Москвы, и он надеялся по возвращении в Вешенскую поделиться с нею впечатлениями, взять на себя роль просветителя станичной девушки. Третьяковка укрепила у Вити чувство реализ-

ма. Он теперь признавал только классиков. С их полотен смотрела настоящая жизнь. А что давал душе башмак, прицепленный к подолу сарафана?

Где только не побывал Витя с мамой: в Останкино, бывшем дворце графа Шереметева, превращенном в музей; в театре недавно изобретенного стереокино — старинном особняке (вскоре снесенном), примыкавшем к новому помпезному зданию гостиницы «Москва». По залу летали птицы и прыгали с ветки на ветку обезьяны в фильме «Робинзон Крузо» по любимой Витей повести. Побывали вешенцы и в цирке на представлении популярного клоуна Карандаша. В летнем театре Центрального Дома Красной Армии смотрели утесовский концерт, начало которого омрачили две запыхавшиеся фигуры в шляпах и макинтошах с поднятыми воротниками. Они вбежали на сцену из зрительного зала и объявили, что Леонид Утесов не сможет участвовать в представлении, чем вызвали неимоверный гвалт. Но это оказался всего-навсего розыгрыш. Маэстро тут же явился с дирижерской палочкой, и его «веселые ребята» вечер напролет забавляли зрителей разными шуточками. Пел Утесов дуэтом с дочерью Эдит, худенькой, с тонким голоском, да и сам маэстро не блистал голосом. Видеть и слышать это было забавно. Прежде Витя знал артистов только по патефонным пластинкам.

У мамы было свое увлечение — магазины. Гардероб Вити пополнился двумя парами модельных туфель, черных и форсистых белых, модной рубашкой с галстуком, а на руке затакали кировские часы взамен «Павла Буре», еще до отъезда отданного отчиму, которому, оказывается, знаменитый мастер, поставщик часов царской семье, напоминал купеческое прошлое родителей. В магазинах все товары были добротнo сработанные, из натуральных материалов — никаких западных эрзацев.

Уже перед отъездом Витя один побывал в небольшом кинотеатре на Пятницкой, где перед сеансом в фойе, как было заведено, давался концерт народного хора. Русоволосые, розовощекие девушки, привезенные из сельского клуба (народное творчество поощрялось и бурно развивалось), стеснялись, робели. Их подбадривал юркий чернявый руководитель хора, то ли армянин, то ли еврей. Все равно его подопечные на какой-то ноте сбились, покраснели от смущения. Одну хористку Витя принял за вешенскую Марьянку, но, конечно, это была не она, просто похожа. Марьянка нет-нет и вспоминалась то на пляже в одежде Афродиты, то в сумерках у плетня в его объятиях. До встречи осталось уже немного времени, и Витя с нетерпением ждал этого дня, представляя, как будет рассказывать о Москве. Впечатлений не на один день!

В поезде, по мере приближения к Миллерово, казачка занимала его целиком, Шолохов отошел в тень. А едва путешественники, пересев в автобус и проехав почти двести километров по проселочным дорогам, вошли, наконец, усталые в дом, с припудренными лицами, как Витя заторпился на пляж. Мама его не задерживала, только попросила не опаздывать к ужину.

Спускаясь к наплывному мосту с обрывистого левого берега, Витя шарил глазами по кромке берега, разыскивая среди немногих купальщиков знакомую фигуру. Почему-то вбил себе в голову, что Марьянка ждет его на облюбованном месте, у кустов краснотала. Прошелся по берегу до поворота речной луки, и девушки не обнаружил, искупался, смыл дорожную пыль прихваченным из дому мылом: вода в Дону была мягкая, летом вешенцы банями не пользовались. Полежал с полчаса на песке, уже не таком горячем, как две недели назад (был конец августа). Марьянка все не появлялась. Огорченный Витя оделся и пошел в Базки, решив, что если по дороге не встретит казачку, то возьмет у брата отчима велосипед. Хотелось побыстрее научиться езде, подкатить к Марьянке, посадить на раму по примеру других кавалеров и прогуляться вдоль Дона от Базков до Вешек. Было бы здорово!

Дорога петляла между пойменным лесом и рекой и была пуста — ни прохожих, ни какого-либо транспорта. Поодаль на опушке расположилась компания парней и девчат. Доносился смех и визг. Казачки после купания дурачились. Совершенно голый чубатый красавец обнимал двух девчат в пестрых сарафанах, сидя между ними на бревне, а те похихикивали и отворачивались. Однако не очень смущались. И что Витю особенно поразило, так это узнанная в одной из казачек Марьянка, правда, видел только профиль, но несомненно ее. И сарафан ее — красно-синий. Он так был ошеломлен, что поспешно зашагал прочь.

В Базках энергично взялся осваивать велосипед, то и дело норовивший влететь в колючки, которыми были огорожены молодые деревца вдоль улицы. Марьянка не выходила из головы, увиденное на опушке казалось невероятным, и Витя уже сомневался, она ли это была? Не обозначился ли он так же, как в кинотеатре на Пятницкой, приняв хористку за Марьянку? А велосипед, как Витя не вертел рулем, утаскивал его с прямой дороги на всевозможные препятствия, пока не плюхнулся в какую-то заросшую бурьяном яму. Незадачливый ездок сильно ушибся, вернул велосипед хозяину и отправиться в Вешенскую пешком. На опушке леса он нашел лишь примятую траву да папиросные окурки. От разных предположений ныло на душе. Ведь обещала ждать и обманула. Ну как ее не назвать шолоховской Лушкой!

Затемно он добрался домой. Мама была встревожена долгим отсутствием сына и уже собиралась послать отчима на розыски, но, увидев живого и невредимого, успокоилась и усадила ужинать. На столе появились фаршированный перец, излюбленное блюдо семьи, вареники с творогом в сметане, компот и арбуз на выбор. По части кухни мама не знала себе равных, и Витя, несмотря на пережитые волнения, съел все. После арбуза, томимый жаждой, выпил и компот.

— Первое сентября не за горами. Пора собираться в Новороссийск, — напомнила мама, убирая посуду со стола, и добавила с укором: — За все лето так ни разу и не достал из чемодана учебники.

Витя промолчал: ум с сердцем был не в ладу.

— Пойду в театр, — сказал он, вставая из-за стола.

Мама посмотрела на сына разочарованно и не нашла ничего другого, как предложить денег на билет. Обычная ее фраза: «Денег тебе дать?» напомнила Вите, как сильно он зависел от родителей, как его самостоятельность сводил на нет пустой кошелек. Было обидно, мамина участливость раздражала.

— Не надо. У меня есть! — И вышел из дома. Как найти Марьянку? Сбежать к ней домой? Удобно ли будет? Наверняка вызовет нездоровое любопытство домочадцев: кто такой? Зачем понадобилась Марьянка, когда спать пора? Поискать возле театра? Там сегодня какая-то постановка.

Площадь пустовала, ни одной людини. Витя покрутился, поглазел по сторонам, хотел было пойти в театр, где уже шло представление, но не тянуло, и побрел без цели вдоль плетней чужих дворов и тут-то увидел свою пассию: куда-то спешила, наряженная и надушенная. Не иначе как на свидание.

— Никак москаленок! Долго гостил у дяди! — приветствовала она, узнав Витю, но не очень радостно, будто даже разочарованная встречей. Не виделись всего-то две недели, а изменилась: озабоченная, нетерпеливая, подала руку и тут же отдернула, не собираясь задерживаться, потом как бы одумалась, улыбнулась, видно, из опасения дурно выглядеть.

— Как там Москва? Как дядя? Хорошо принял?

Такая быстрая смена настроения омрачила Витю.

— Да шумит, — сказал он без охоты, а ведь как готовился поразить воображение Марьянки своими впечатлениями от столицы!

— Видел тебя сегодня днем на Дону!

— Что же не окликнул?

— Занята была.

— Чем это?

Марьянка насторожилась. И вдруг рассмеялась:

— На елане под Базками? Да? Помню прохожего. Еще подумала, не москаленок ли? Так это ты был? Почему не завернул к нам? Ясно дело: голого Гришку испугался... Тьфу, противно вспомнить, как он выкобенивался!

— По тебе не было видно, что противно. Ты сейчас куда торопилась, не к Гришке ли?

— Ой, какой ревнивый москаленок!

— Меня звать Виктор! — воскликнул он, горячась, задетый не столько «москаленком», сколько фальшиво-веселым тоном подружки, всем ее легкомысленным поведением. Только подруга ли она?

Он представил Марьянку в объятиях дуралея Гришки, известного в станице беспутного чубатого красавца и, верно, не вырывалась бы из его объятий так отчаянно, как из рук москаленка. И что особенно забавно: брошенная ею шутка в адрес Вити: «В тихом омуте черти водятся» подходила больше к лицу самой шутнице.

— Витя-Витек, не раздувай огонек! Пойдем к Дону, посидим на берегу, погутаим, — ласково-извинительно заговорила Марьянка, явно отдавая предпочтение москаленку. — Ты же в Москве был, стал настоящий москаленок, чего обижаться? — Марьянка взяла Витю под руку. — Пойдем, расскажешь, как гостевал у дяди, что видел интересного в Москве...

— Никуда я не пойду! — Витя высвободил руку.

— Сердишься?

— Сержусь.

— Ну как знаешь...

— Беги, куда направлялась, — безжалостно бросил он против своей воли. Ведь не хотел отпускать Марьянку. Сколько о ней передумал, как ждал встречи!

Девушка озадаченно посмотрела на юного строптивца, по лицу ее прошла тень, словно принимала какое-то крутое решение, и наигранно-задорно воскликнула:

— А и побегу! Какой ты кавалер? Птица залетная.

— Зачем же обещала ждать?

— Просто так. Интересно было погутаить с москаленком. — И независимо-пренебрежительно, точь-в-точь шолоховская Лушка, повела плечами: — Прощевай!

Витя, негодуя, смотрел ей вслед в смешанных чувствах, то гордый тем, что не унизился, отверг неверную казачку, то жалея, что не вернул. Догнать, вернуть? И зашагал домой.

Дома еще не ложились спать. Отчим был у Шолохова, принимавшего каких-то московских друзей. По сообщению мамы туда затребовали ящик водки. Павел Иванович вернулся поздно, навеселе, заглянул в комнату пасынка, читавшего книгу в постели, и уставился на него влюбленными глазами.

— Говорил о тебе Михаилу Александровичу. Давай завтра пойдем к нему вместе. Покажешь свою тетрадь.

— Утро вечера мудренее, — буркнул Витя, не отрываясь от чтения.

— Ну, ну, задавака... — проворчал недовольный отчим и плотно прикрыл за собою дверь.

Показать Шолохову тетрадь Витя так и не решился, видел в своих стихах много огрехов и боялся опростоволоситься. В последний день августа он уехал в родной черноморский город, чтобы успеть к занятиям в школе. Но душа осталась в Вешенской, и он собирался на следующее лето снова побывать здесь и уже тогда обязательно показать тетрадь Шолохову.

Теперь он, не колеблясь, мог твердо сказать практичному другу Сергею Зовицкому, какую жизненную цель ставить перед собой — дух захватывает! Взрослеющего Витю она влекла так же страстно, как в детстве Африка.

— Выскочила замуж, специальности никакой, домохозяйкой думает прожить, что ли? Она недоучка, он военный курсант — что за семья? В наше время без образования никак нельзя... Что же ты не приходишь в библиотеку? Или уже забросил философию? — выстрочила Альбина, близоруко щура на Витю глаза.

Алла тоже пренебрежительно отозвалась о замужестве Нины, но в ее словах было, пожалуй, больше зависти:

— Обвела она вас с Женей вокруг пальца!

Как ни обидно, ни больно было, но Витя не застрелился и никуда не уехал. Неверная казачка тоже вскоре забылась.

Он вступил в лучшую пору своей жизни и, твердо решив стать писателем, увлекался то театром, то охотой, то футболом и уже две недели отвалился в постели с воспалением надкостной оболочки после удара бутсом по ноге крайнего нападающего.

Над кроватью в его комнате висела трехзарядная берданка и кривой аджарский нож, а шкаф и этажерка, хотя и потесненные серьезной литературой, были по-прежнему забиты дешевыми изданиями романов Майна-Рида, Фенимора Купера, Кэрвуда, с которыми было жаль расстаться, как с добрыми старыми друзьями, требующими не столько общения с ними, сколько дани уважения. И Африка отнюдь не потеряла интереса, а приобрела символическое значение: достичь ее берегов для Вити теперь значило осуществить самые заветные мечты.

В морском порту на приколе стояла килевая лодка с мачтой и выразительным названием «Аллигатор», на которой Витя совершал прогулки далеко в открытое море и рыбачил. Он мог, набрав в легкие побольше воздуха, до трех минут сидеть на дне, уцепившись руками за скалу, наблюдая радужный подводный мир. Вон скользнула над водорослями полосатая несъедобная зеленчушка, про которую мальчишки острили: «Сматывай катушки, клюют зеленчушки». А вон ярко раскрашенный, как елочная игрушка, морской петух в расщелине скалы. Увидев Витю, он с неохотой уплыл в глубину. А вон, почти сливаясь с серой окраской дна, притаился бычок, кажется, можно прихлопнуть ладонью, но только сделаешь движение, как, взметнув мутное облачко песка, бычок юркнет под камень. Водоросли, то зеленые, пузырчатые (схватишь рукою, и вверх чередой побегут бусинки воздуха), то бурые, жесткие, то скользкие, как плесень. Ими покрыты покатые бетонные волнорезы — «склизкие». Сядешь на волнорез — и, как на салазках с горки, бабах в воду! После шторма прибрежный песок сплошь покрыт морской травой, солнце ее высушивает, а женщины набивают матрацы. Хорошо спать на таком матраце: упруго похрустывает, пахнет йодом и еще чем-то свежим, морским... Будто на ниточке повис в воде конек, не иначе как сбегал с шахматной доски. Конек зашевелил крючковатым хвостиком и поплыл дальше. А медузы, словно вывалившийся из тарелок студень, висят над головой, у самой поверхности воды. Купаясь, мальчишки запускают ими друг в друга, как снежками. А это

что на песке? Черное, круглое, с острым раздвоенным хвостом-пилой? Морской кот! Пулей со дна наверх, к берегу.

«Морской кот! Морской кот!»

Купальщики врассыпную.

Витя по-прежнему любил и море, и походы по каменистым тропинкам за Маркотхский перевал, к вековым чинарам, или к горным озерам Абрау-Дюрсо, или в Широкую балку, куда надо продираться сквозь заросли терна, кизила, шиповника и держидерева. В просвете ущелья тонкой полоской проглядывает спокойное открытое море. Ничего не видно на нем, даже рыбацкого паруса. Безграничная синева да впаянный в нее алмаз солнца! Тело Вити исцарапано колючими ветками, выгоревшие волосы разлетаются, лезут в глаза, когда он летит по тропинке вниз, к берегу. Под ногами трещит, крошится камень-трескун. То здесь, то там он выступает над землею белыми слоями, и плоский осколок его, запущенный с берега, долго чертит «блинчики» на воде.

Как ни странно, Витя сошелся на короткой ноге с дядей Костей, до сих пор холостяком: вместе поступили в девятый класс вечерней школы. Дядя Костя держал козу, сам ее доил, а работал в мастерской по вулканизации камер, найдя это дело прибыльнее цирюльного. Встречая Витю, всегда дружески улыбался, звал к себе в гости, не обижаясь за «дяденьку» и «папашу». Витя у него бывал в мастерской, которая располагалась во дворе, в кирпичной пристройке к большому жилому дому.

Цементный пол, политый из лейки — в широких мокрых разводах, дверь — настежь. Приятно было входить сюда рано утром. Солнечные пятна, отражаясь от воды в чане, метались по стене, как в каюте парохода, и зайчиками прыгали по спинам и головам людей, расхаживающих по мастерской. В несуетной работе вулканизаторщиков было что-то домашнее. Не раз Витя наблюдал, как мастер, облокотившись на верстак, не спеша отхлебывал из бутылки молоко, полученное за вредность производства бесплатно, и между глотками давал советы Косте, который возился возле верстака. Там что-то шипело и валил дым, как из-под утюга, забытого хозяйкой на гладильной доске. Иногда наждачной бумагой Витя зачищал на камерах проколы, помогая вулканизаторщикам.

Он еще находился на иждивении родителей, а дядя Костя всегда был при деньгах, мог запросто пригласить девушку в театр или даже в «Прибой», популярный в городе ресторан, где выступал цыган, исполнитель модных песенок. Все ходили смотреть на цыгана, и Витя с Костей как-то вечером заняли столик, заказав бутылку пива на двоих, к большому неудовольствию официанта.

Тонкий, высокий и черный цыган чего только не выделял с барабаном и разными побрякушками, которыми был окружен! А когда он вставал и пел, весь изгибаясь и размахивая барабанными палочками, казалось, что беснуется шаман. Пел цыган старинные романсы, шотландскую застольную, любимую моряками, но главным номером были «Журавли», которых он всегда исполнял на «бис».

В ресторан Витя попал впервые, и все здесь для него было необычно: и цыган, уже охрипший, и морячок в тельняшке, и пышноволосая дама в шляпе с павлиньим пером рядом с ним, и дружные греки, занимавшие несколько составленных столиков (наверное, по случаю какого-то семейного торжества), и четверо развязных сверстников; они очень хотели казаться взрослыми и поэтому выглядели желторотыми юнцами. Перед Витей словно расселись за столом действующие лица интересной постановки. Сейчас режиссер даст сигнал, и начнется захватывающий спектакль. Начался он с того, что один из желторотиков, подойдя к столу, уставился на Витю мутными глазами:

— Эй ты, сметана, выйдем из ресторана! Поговорим.

— Привет, дорогуша!

Это Костя протянул желторотому пятерню, и тот, подумав, подал свою худую руку, но тут же присел и искривился от железного рукопожатия. Желторотик покорно проследовал за Костей к оставленным друзьям и больше не проявлял желания «говорить», только сердито поглядывал на Витю. Но этот персонаж его уже больше не интересовал...

Надежный друг был дядя Костя, хоть и пижон. С возрастом он остепенился, потянулся к домашнему очагу, собирался жениться. И была на примете невеста, но не знал, как подступиться: очень молода. Имя скрывал, как Витя не допытывался. «Придет время — скажу и попрошу помощи. Не откажешь?» Вон где собака зарыта, вон, оказывается, почему Костя искал дружеского расположения Вити. Паренька это покорило, и он с издевкой спросил: «Хотите использовать меня в роли свата?» — «Скорее напарника», — последовал загадочный ответ.

Друзей-ровесников уже никого не осталось. Лешка, не перейдя в девятый класс, бросил школу, куда-то исчез, не иначе снова отправился странствовать по свету. Ахмет редко встречался, живя на другом конце города. Со дня на день должен был уйти в армию Женья.

Родные, забрав бабушку, отправились на заработки, теперь уже в другую станицу, с намерением в скором времени продать дом в Новороссийске и купить в Ростове. В этом городе Витя был «проездом», беспризорником. В магазине на перекрестке больших шумных улиц с трамваями, в гирляндах электрических огней, он купил ситный хлебец, показавшийся ему необычно вкусным. И еще раз побывал в Ростове, вскоре после возвращения из трудовой колонии. Вместе с мамой он проехал на троллейбусе, только что заменившем трамвай, от вокзала до Нахичеванского рынка по главной улице с огромными витринами магазинов, с просторными площадями, на одной из которых возвышался, похожий на исполинский трактор, новый драматический театр. Витю поразили на его фронте очень динамичные горельефы батальных сцен Гражданской войны. Повозки, орудия, люди, кони — все перемешалось, перепуталось в битве не на жизнь, а на смерть. Дон и сам Ростов были как раз местом таких схваток, впечатлительно описанных в романе Шолохова.

Мама повела его по магазинам (была зима, настоящий снег, настоящий мороз, хватающий за уши, не то что норд-ост да слякоть на Черноморском побережье), купила ему бобриковое пальто с каракулевым воротником, в котором он выглядел совсем большим, хотя еще и беспаспортным. В гастрономе с веселым названием «Три поросенка» они ели горячие пончики с кремом, присыпанные сахарной пудрой, каких до сих пор Витя не ел. Ростов ему понравился, он не прочь был сюда переехать.

Пока же остался в доме один, получая от родных два раза в месяц денежные переводы и письма, в которых мама неизменно спрашивала: как здоровье? Как дом? Вите это надоело, и он ответил: «Дом цел, правда, во дворе сгорел сарай и засохло абрикосовое дерево. А так все хорошо. Крыша цела, правда, норд-ост сорвал железную кровлю на веранде. А так все хорошо. Мебель в чистоте и порядке, правда, в зале рухнул потолок, развалил гардероб и сломал стол. А так все хорошо. Здоровье крепкое, настроение бодрое, правда, попал под машину и сломал три ребра. А так все хорошо...»

Рано утром, когда Витя был еще в постели, пришла тетя Шура, Нинина мама — крадучись, осторожно переступила порог, подозрительно поглядела на Витю. Он тоже смотрел на нее в недоумении, приподнявшись на локте.

— Здравствуй, Витя, — вкрадчиво сказала тетя Шура.

— Здравствуйте, — тихо проговорил Витя.

— Как ты живешь один? Как дом? — она заглянула в зал, подняла глаза к потолку. — Не болеешь?

— Нет.

— А голова как?

— Что голова?

— Не болит?

— Ничего у меня не болит. Здоров, как бык!

Витя не любил жаловаться даже тогда, когда ему было худо, напротив, старался ни перед кем не ударить лицом в грязь, а то и прихвастнуть благополучием. Поэтому дотошные расспросы тети Шуры его рассердили:

— Что случилось, в конце концов?

Тетя Шура показала письмо, в котором мама тревожилась за Витю, просила родственницу навестить его и узнать, в чем дело. Витя вспомнил свое последнее послание на манер популярной песенки: «Все хорошо, прекрасная маркиза» и рассмеялся. Тетя Шура тоже развеселилась, узнав, как сын подшутил над чересчур заботливыми родителями.

Одному было совсем неплохо. Обеды он не готовил, питался в столовых. Завтракал в павильоне вод горячими пирожками с мясом, запивая их газировкой. Потом брал в соседнем киоске свежую газету и тут же, не отходя, просматривал сообщение о международных событиях.

Кто-то ловко выхватил у Вити из рук пирожок. Он вздрогнул и обернулся. Здоровенный пес с добычей во рту уходил прочь — спокойно, не

поджимая хвост, как будто взял по праву ему принадлежащее. Потом Витя не раз наблюдал, как этот пес на Серебряковской улице, бесшумно подкрадываясь к зазевавшимся прохожим, выхватывал из рук, из сумок и корзин съестное, считая ниже своего достоинства просить подавание. Забавный пес! Он напоминал некоторые европейские государства, действующие точно так же: как ни в чем не бывало, без оглядки, проглатывали своих соседей.

Свернув газету трубкой, парень прогуливался по набережной и заходил к дяде Тиме, вернее, дедушке, так как он приходился братом Витиной бабушки, но был моложе, почему Витя и называл его «дядей».

Почти у самого моря, в одноэтажном старом доме дядя Тима занимал крохотную комнатку и застекленную веранду, не то прихожую, дверь которой выходила прямо на площадь крытого рыбного рынка, жил с нескладной, высокой и тощей супругой Мусей, как ее звали все родственники. Дядя Тима в противоположность жене был красиво сложен (Витя, моясь с ним в бане, восхищался загорелым мускулистым телом с красно-синими наколками якорей и русалок на груди и руках), характера покладистого, спокойного, в то время как тетя Муся была и шумлива, и беспокойна. Еще издали услышав ее неприятный крикливый голос, Витя остановился в нерешительности: заходить или повернуть назад? Дядя Тима увидел его и энергично замахал рукой, словно зовя на помощь.

С приходом гостя тетя Муся унялась, лишь время от времени раздражалась негромкой бранью чисто местного происхождения: «По потылице бы тебе надавать... Чтоб тебе на том свете икалось...» На огромной чугунной сковороде она «тушила» барабульку, приправляя ее луком и помидорами. Дядя Тима только что вернулся с рыбалки. В круглой плетеной корзине, прикрытой обрывком старой сети, серебрилась разная черноморская рыба: скумбрия, лобан, ставрида и вскидывалась еще живая плоская камбала.

— Сейчас завтракать будем, — сказал дядя Тима, усаживая Витю за стол, очень довольный его приходом и стараясь подольше задержать.

— Я уже позавтракал.

— Ну что ты там завтракал? Пирожки с ливером? Знаю, как одному жить. Все на скорую руку. А мы тебя тушеной барабулькой угостим. Мать, скоро управисься?

— Скоро, скоро, сиди уж! — огрызнулась тетя Муся.

От барабульки трудно было отказаться: такой духмяный пар исходил от сковороды, когда хозяйка приоткрывала крышку, чтобы поширить столовым ножом, не дать рыбе пригореть.

— Я бы тебя накормила, я бы тебе показала, как в домино играть, не будь гостя!.. Куда же это годится! — заголосила она, обращаясь к Вите, приглашая в свидетели и судьи. — Вот полюбуйся на своего дедушку, половина волос на голове седых, а он ведет себя, как мальчишка...

— Будет, будет тебе, Муся, — слабо протестовал дядя Тима.

— Нет, расскажу, всем расскажу, до председателя горсовета дойду, а прикрою ваше босяцкое заведение!

Тетя Муся имела в виду комнату настольных игр при ресторане «Прибой», куда собирались по вечерам любители домино и бильярда. Витя слышал, что играют там не просто так, а на деньги и довольно крупные суммы, конечно, тайно.

— Вот полюбуйся, полюбуйся на своего деда! — не унималась тетя Муся. — Кабана в домино проиграл! Что вытворяет, а? Я кормила, выхаживала целый год, а он за здорово живешь в один вечер... Ну, на что это похоже? Что за азарт такой?

Дядя Тима смущенно опустил глаза, не перечая супруге.

— От этой трескотни у меня голова разболелась, — пожаловался он после завтрака. — Пойдем проветримся?

Витя охотно согласился, чувствуя себя в гостях невольным заложником.

— Какой бы придумать предлог?.. Скажу, что лодку надо починить. — Дядя Тима встал из-за стола и снял с вешалки пиджак.

— Ты куда? Опять играть? — всполошилась тетя Муся, готовая вырвать из рук мужа поношенную, порывевшую на солнце рабочую одежду.

— Сказал тебе, больше не буду! Лодку надо починить. Витя вот поможет.

Тетя Муся недоверчиво покачала головой, но препятствовать не стала.

— Смотри, чтоб ноги твоей в этом борделе больше не было!

Визгливый голос ее сопровождал мужчин чуть ли не до причала, где стояла плоскодонка, густо просмоленная, с застоявшейся на дне невычерпанной водой. Рыбак порой ходил на ней за рыбой до Кабардинки, далеко за мол. Сели. Дядя Тима закурил свою трубку с головой Мефистофеля, и Витя вдохнул аромат дорогого турецкого табака, каким баловал себя старый моряк. Неудобно было расспрашивать, что произошло в ресторане «Прибой», но дядя Тима сам заговорил:

— Верно, проиграл кабана! Сам не знаю как... Муся прибежала, такой трамтарарам устроила, разогнала всех доминошников... Ну, и бой-баба!

Он виновато посмотрел на Витю:

— Дурак я старый, вовремя не учился. Мне бы теперь корабли океанские водить, над лоциями голову ломать, а не за игорным столом с костями!

Он перевел взгляд на синий залив, на горы в сизой дымке, вспомнил боевую свою юность.

— Молодец ты, Виктор, что бартыжать бросил, взялся за ум. Я уж, грешным делом, думал: пропадет парень не за понюх табаку. Учись! У меня не было такой возможности с винтовкой за спиной, так ты выходи в люди!

Дядя Тима глубоко затянулся и выпустил изо рта густой табачный дым, было видно, что мучился, казнился, осуждая свой дурной поступок.

— До чего азарт доводит! Ах, дурак старый, дурак старый...

Не все вязалось в представлении Вити о герое Гражданской войны, красно-зеленом партизане с его образом жизни и поведением. У дяди Тима был родной старший брат Борис, белогвардейский офицер. И когда Новороссийском владели белые, Борис укрывал своего младшего брата, красно-зеленого партизана. А когда вступили в город красные, Тима прятал Бориса. Ранней весной, вместе с остатками добровольческой армии, Борис эмигрировал за границу, и с тех пор родные потеряли его след. Много лет спустя Витя узнал, что он поселился в Болгарии, взял в жены молодую болгарку, а от первой умершей русской жены дочь жила в Англии и якобы прославилась там, как непревзойденная летчица-ас. Странно разметала по свету русские семьи революция и Гражданская война.

— А как удирали белые? Паника была большая? — допытывался Витя, страшно интересуясь военным прошлым родного города. Дядя Тима все посасывал трубку и хмурился. Видно, тербил душу проигрыш в домино — не до воспоминаний.

— Как, как... На пароходах, а кто не смог, по берегу в сторону Гелленджика верхом или на подводах, надеялись добраться до турецкой границы. Но красно-зеленые их перехватили. Ух, сколько положили из пулеметов, все больше казаков!

Мама тоже рассказывала, как удирали белые, но по-своему. На железнодорожной станции набились составы беженцев. Дворяночки нечесанные, немые, беспомощные, брошенные прислужкой, жили в вагонах и выменивали свои наряды, драгоценности, мебель на продукты. Мама с подружками тоже ходила на торг. В доме до сих пор сохранилось венское кресло-качалка и несколько мягких стульев от мебельного гарнитура дворянской усадьбы.

— Наверное, снова будет война. В газетах только о ней и пишут, — проговорил Витя, развертывая «Черноморский рабочий».

— Почитай! — попросил дядя Тима, выбивая трубку о борт своей плоскодонки, но тут же достал кисет с табаком. Все еще никак не мог успокоиться, переживал свое унижение перед женой. Слушал внимательно, молча, без реплик, дымя и поглядывая вдаль.

— Что ж, еще повоюем, коли доведется, — сказал просто, как «покурим», когда Витя закончил читать международную страницу.

Дядя Тима, казалось, знал какую-то тайну про войну, о которой Витя лишь догадывался.

— А страшно было в Гражданскую? — спросил он.

— Страшно — не то слово. Воевать всегда страшно. Не страшно плясать да песни петь.

— Ну, а когда шли на смерть, знали, за что?

— Опять же не то слово! Когда идут на смерть, думают о смерти и ни о чем больше.

— Да?... Ну, а ваш брат Борис... за белых воевал. Почему?

— Это его надо спросить. Офицером он стал на войне, в экспедиционном корпусе во Франции. А до армии такой же был голодранец, как я, и какая муха его укусила, бог знает! Испугался, что за белых стоял, что придется держать ответ, но скорей всего, как щепка, в потоке эмигрантов был унесен за границу. Этого я точно не знаю. А человек был душевный, русский... Странное дело! — загадочно добавил дядя Тима, что-то вспомнив, и в раздумье засосал трубку. Табак, разгораясь, потрескивал, как дрова в костре.

— О чем вы? — заинтересовался Витя.

— Да недавно на базаре встретил знакомого человека, как бы не белогвардейского офицера. Увидел меня и сделал вид, что не знает, побыстрей, побыстрей в толпу и скрылся. Значит, совесть не чиста. А я хотел его о брате расспросить... Много еще осталось недобитой сволочи, притаилась, выжидает, авось старое вернется, — вдруг зло заключил он.

Вите хотелось попытаться об отце, которого дядя Тима хорошо знал, и которого родственники считали «отрезанным ломтем», но почему-то было неловко, словно отец тоже принадлежал к «недобитой сволочи». Что он за человек? Воевал, по слухам, и за белых и за красных, во время нэпа развил бурную торговлю... какую сторону возьмет, доведись снова война?

Витя становился в тупик перед сложностью человеческого общежития, открывал такие дебри, сквозь которые с трудом продирался. Вдруг пропало ощущение узкого круга семьи, друзей, улицы, непритязательных желаний, уносившихся не дальше родного города. Мир распахнулся в необозримости стран и народов, даже Черноморье теперь выглядело незначительной областью, а Витя словно превратился в неприкаянную собачонку, неизвестно для чего появившуюся на свет божий. Ах, какие тоску и одиночество он испытывал в этот миг прозрения, как хотел бы вернуться к прежним понятиям и представлениям. Но нет, новое чувство вламывалось в его душу, как вор, лишая дорогих привязанностей. Они уже казались до того наивными, детскими, что стыдно было подумать.

* * *

С осени повелось по вечерам собираться в маленьком, с палисадником, домике дяди Кости, допоздна обсуждать вести из Западной Европы. Обойдет ли война стороной Россию?.. Германия вторглась в Польшу и разгромила ее в две недели, потеряв всего четырнадцать танков и ни одного самолета. Все были поражены небоеспособностью в прошлом воинственной польской армии. Объясняли это плохим вооружением: генералы бросали против немецких танков, считая их фанерными... конницу. Кое-где поляки дрались геройски, отчаянно, чувствуя безысходность своего положения в железных клещах. Беженцы тысячами переходили границу, и Россия, как писали газеты, «протянула руку братской помощи народам Западной Украины и Западной Белоруссии», Красная Армия вступила во Львов и Брест.

— Как же так? — вопрошал Костя, разводя руками. — Мы везде говорим и пишем: «Своей земли ни пяди не отдадим, но и чужой не хотим!»

Поднаторев по части политики в газетах, Витя убедительно, как ему казалось, доказывал, почему это произошло, и однажды они проспорили до рассвета. Витя бегал по комнате, горячась, не понимая, почему его доводы, ясные как божий день, Костя отвергает и переиначивает на свой лад. Он был сдержан, хладнокровен, не перебивал, давал высказаться противнику до конца и неожиданно ставил его в тупик каверзным вопросом, ловил на слове, на неточном выражении, чем Витя немало грешил.

— А как ты думаешь, победят немцы или нет, если пойдут войной на Россию? — вдруг спросил он Женю, мало принимавшего участия в полемике. Больше слушал. Женя не успел открыть рта, как Витя, с молоком матери впитавший убеждение, что Россия непобедима, воскликнул:

— Конечно, нет!

— А какие самые высокие люди на свете? — вроде бы невпопад подбрасывал дурацкие вопросы Костя, но на самом деле с умыслом.

— Конечно, русские!

— А вот и нет — немцы!

Витя посмотрел на Женю, ожидая его поддержки (своим нейтралитетом он занимал положение негласного судьи, к которому время от времени апеллировали обе стороны). Женя пожал плечами. По правде сказать, Витя сам точно не знал, но был уверен, что русские самые сильные, самые смелые, а значит, и самые рослые люди.

Вот так наивно и по-юношески страстно они спорили, не уступая один другому, вскакивая с мест, размахивая руками в густом табачном дыму: дядя Костя много курил. Витя тоже пристрастился к табаку. Да и как не закуришь в такой схватке, когда готов разбиться в лепешку, но доказать свою правоту? Витя отстаивал ее без уловок и ухищрений — искренне, с завидной для противника убежденностью, которая родилась в спорах, пожалуй, еще с отчимом и окончательно окрепла в теперешней полемике. Он отчаянно стоял на своем, и чем чаще слышал голос сомнения, чем он был яростнее, чем больше дядя Костя находил уязвимых мест в его позиции, тем упорнее отстаивал ее, хотя порой не хватало аргументов и приходилось прибегать к ходульным выражениям, почерпнутым из газет.

По дороге домой Витя диву давался:

— Что он за человек, никак не пойму!

— Я его тоже не пойму, — отвечал Женя, озадаченный неприязнью Кости ко всему советскому.

После одной такой словесной схватки, припозднившись, Витя и Женя заночевали у хозяина, который в ужин напоил их густым приторно-сладким козьим молоком. Было уже холодно, но печь Костя не топил. Витя зяб под тонким одеялом, за всю ночь, наверное, не проспал и трех часов, часто просыпаясь. Он слышал, как на заре хозяин доил козу за стеной, в хлеве, как долго с кем-то разговаривал возле калитки, как, вернувшись в дом, раздул очаг, загремел чугунками.

— Эй, философы, поднимайтесь завтракать! — крикнул он, заглянув в комнату.

Ребята уже одевались. Умывшись, они пришли на кухню и увидели за столом грузноватого человека с небольшими приветливыми серыми глазами, а на вешалке его парусиновый картуз с грязноватыми запотинами.

— Какие же они философы... Орлы! — воскликнул мужчина, поднимаясь со стула. — Будем знакомы. Клеменко Сергей Прохорович.

Ребята пожали протянутую пухловатую руку, назвали свои имена и подсели к столу, в то время как Костя вывалил прямо на клеенку гору парующей картошки в мундирах, охватив чугунок тряпкой за бока, потом поставил миску крутосваренных гусиных, вдвое крупнее куриных яиц, бросил вязанку чеснока и достал из погреба бутылку рислинга, зубами вытащил пробку.

Сергей Прохорович довольным взглядом окинул стол, взял из миски гусиное яйцо, восхищенно повертел в руке:

— Одним можно наестся! Пища простая, крестьянская, зато здоровая, по душе русскому человеку! — Он стукнул яйцо об угол стола, очистил, положил себе на тарелку и поднял стакан с вином.

— По русскому обычаю выпьем за знакомство!.. Костя мне рассказывал про ваши споры. Да, ребяташки, запахло порохом. Вы-то не знаете, что такое война, а я всю германскую и Гражданскую прошел... Немец сейчас сила, попрет — затрещит Россия!

Сергей Прохорович с заметным удовольствием произносил слова «русский», «Россия», словно опасаясь, что слушатели усомнятся в его истинно русском происхождении, и подтверждал это своей широкой натурой, открытым простым лицом, чистосердечием. Он словно сожалел инородцам и суржикам, не способным подняться до самосознания русского человека. И хотя сейчас его окружали не вполне русские люди (если заглянуть в генеалогию каждого), он желал и у них возбудить великорусскую гордость.

Такое поведение Сергея Прохоровича несколько озадачивало ребят, но в общем он им нравился, и когда зашел разговор о грозящей опасности со стороны Германии, Витя, чувствуя знакомое по прежним спорам волнение, самоуверенно выпалил заученную газетную фразу:

— Будем громить врага на его собственной земле!

— Дай бог, дай бог... — пробормотал Сергей Прохорович.

— А вы раньше панаму носили? — вдруг вспомнил Витя встречу в Абрау-Дюрсо.

Сергей Прохорович усмехнулся:

— Носил. Было время. Не отрицаю.

— В Абрау-Дюрсо ночью приходили к нашему костру, уху ели.

— И это не отрицаю. Память у тебя, парень, позавидуешь. Но и у меня не хуже. Помню тебя хорошо. Подожди, да ты не сын ли Дмитрия Андреевича Озерка?

— Сын.

— Я и смотрю — вылитый отец! Дмитрия Андреевича давно знаю, с гражданской, и обязан ему многим... Ты погляди — никак не ожидал встретить отпрыска Дмитрия Андреевича!.. Давно видел отца?

— Давно. Еще маленьким.

— Это плохо.

— Он же разведен с мамой! — почему-то захотелось Вите оправдать отца, которого в семье, сколько он помнил, хаяли.

— Помогает?

— Да помогает...

В прошлом году, в свое шестнадцатилетие, Витя получил денежный перевод, немалую для него сумму, растерялся, не понимая, откуда привалило такое богатство. Оказалось, прислал отец. Столько свободных денег Витя никогда не имел и долго прикидывал, на что их употребить. Купил наручные часы знаменитой марки «Павел Буре».

Отец в письме просил сообщить, в чем Витя нуждается — поможет, хотя самому трудно, уже трое ребят.

Витя в ответном письме поблагодарил за деньги, сказал, на что потратил, и просил больше не высылать: живет он хорошо, ни в чем не нуждается.

— Буду на Украине, увижу Дмитрия Андреевича, расскажу, какой у него вырос сын. Герой!.. Была у меня встреча с твоим отцом, давненько уже. Я тогда мирошником на мельнице работал...

— А говорили — писатель.

— Писатель? Когда я так говорил? — Сергей Прохорович с любопытством посмотрел на Витю.

— Тогда же, в Абрау-Дюрсо. Вроде бы автор книги «Джек Восьмеркин — американец».

Сергей Прохорович расхохотался:

— Неужели я так сказал? Пошутил, наверное. Я, Виктор, все могу: и токарем, и пекарем. Вот только сочинительством не занимался. А «Джека Восьмеркина — американца» читал, занимательная книжонка... Будешь писать отцу, упомяни Сергея Прохоровича Клеменко, обязанного ему многим еще с Гражданской войны. Пропиши, что в долгу не останусь, при случае отблагодарю. Правда, пугливый стал Дмитрий Андреевич после нэпа... Хо-хо-хо! Вспомнил один потешный эпизод на мельнице. Ну да ладно, это к делу не относится...

При основании черноморского города, сто лет назад, его заселили белорусы и украинцы, детвора преобладала белоголовая и голубоглазая. Как все жители Новороссии, Витя считал себя русским, но и об Украине, родине предков, всегда думал с теплотой и знал, что будет там не чужой, когда приедет к отцу, звавшему его в каждом письме.

Витя про себя посмеивался над Лешкиной фантазией о подрыве цементного завода диверсантом в панаме. Сергей Прохорович производил впечатление добряка, совсем не похожего на шпиона, но какие они, шпионы, на самом деле Витя тоже не знал, если только не брать во внимание

увиденных в кино. А шпионов и других «врагов народа», как тогда говорили, показывали чуть ли не в каждой кинокартине. «Скорей всего тот самый белогвардейский офицер, которого встретил дядя Тима на базаре», — предположил Витя. Это выглядело достовернее шпиона, он хотел тотчас же бежать к бывшему партизану, охваченный жаждой разоблачения, но вскоре посчитал свое рвение нелепым.

И все же интуиция не обманула его, как он уже неоднократно убеждался в этом, вовсе не обделенный чутьем в понимании чужих душ. Редко первое впечатление о человеке не оправдывалось, и он, бывало, горько сожалел, когда разум приводил к ложному заключению.

Проводив взглядом ребят, Сергей Прохорович достал из кармана сложенную гармошкой половинку газеты, кожаный, похожий на кузнечный мех, кисет и принялся крутить козью ножку, отказавшись от дорогих папирос «Пушки», предложенных Костей.

— Я лучше своей, кременчугской махорки. От легкого табака один кашель... Да, Костя, друзья у тебя идейно подкованные. Небось, комсомольцы?

— Комсомольцы.

— Новое советское поколение. Под твою дудку такие не запляшут, а ты можешь неприятностей нажить.

— Я и сам вижу.

— Будь осторожен. — Сергей Прохорович чередой выпустил к потолку колечки дыма и смотрел строго, почти сердито. Добродушия как не было на его лице. За столом теперь сидел угрюмый, недовольный жизнью человек.

— Ох, ох-о... — протянул он тяжко. — Когда уже можно будет вздохнуть свободно? Дождусь ли я этого дня?

...И в тревоге, в мучительных раздумьях над жизнью, в ожидании каких-то больших событий, и вместе с тем по-юношески безмятежно проходили осенние дни 1939 года.

Нину Витя давно не видел, первая любовь, всегда неудачная, по народной примете, забывалась и лишь раз напомнила о себе. Было это еще летом. После пляжа с компанией, зайдя в павильон вод, Витя поймал на себе пристальный взгляд. Обернулся. Нина! Но какая? С выпяченным животом и грязно-рыжими мятежинами по всему лицу, сильно подурневшая. Она так и потянулась к барклаевцам, и в глазах зависть, сожаление: ей уже не гулять беззаботно и весело, как им, юным и свободным.

6

В школе рабочей молодежи Арутюна Ивановича окрестили Кенафом. В нем было что-то от старой гимназии: говорил ученикам «нута-с» и, садясь за стол, раскрывал классный журнал торжественно, словно священник Евангелие. Витя подозревал, что он кому-то подражает и вне школы держится проще. На Арутюне Ивановиче был вздутый на коленях и вы-

тертый до блеска на локтях темный костюм и сорочка сомнительной белизны, выделялся один только галстук в красную полоску. И в ярком галстуке, и в нарочитой торжественности Арутюна Ивановича была какая-то театральность, хотя преподавал он скучный предмет — экономическую географию.

Сегодня он вызвал дядю Костю к доске отвечать домашнее задание — про Индию, такую таинственную, заманчивую в приключенческих книгах и такую будничную на уроках Арутюна Ивановича. Учитель расставлял в журнале свои загадочные крестики и птички, а Костя обернулся к классу, испуганно завертел руками: «Ни бельмеса!» Зашелестели страницы учебников, и по комнате разнесся шепот, — разве только мертвец не услышал бы его! Арутюн Иванович прикрыл журнал и поверх очков взглянул на Костю.

— Нуте-с, молодой человек, я вас слушаю-с!

Дядя Костя — красавец, с постоянным сиреневым румянцем на смуглых, подпушенных «бакенами» щеках — виновато улыбнулся. Его улыбка могла очаровать и разжалобить любого, даже самого черствого человека. «Видите, какой я красивый. Будьте ко мне снисходительны!» — умоляли Костины карие глаза. На девушек это производило впечатление, на учителя — нет.

— Нуте-с, нуте-с!

Дядя Костя сделал кокетливое движение, словно хотел расшаркаться. Кто-то хихикнул. Арутюн Иванович укоризненно покачал головой.

— Я же вам рассказывал на прошлой неделе. Ке... ке...

Костя, весь подавшись вперед, повторяя:

— Ке... ке...

— ...наф! — закончил Арутюн Иванович.

— Кенаф! — бодро подхватил незадачливый ученик.

— И еще?

— И еще...

— Кен... кен...

— Кен... кен... — тянул Витин друг.

— ...дырь!

— Кендырь! — последовало радостное восклицание, словно произошло научное открытие мирового значения. — Кенаф и кендырь!

— Вы-ше-названные лубяные культуры... — продолжал Арутюн Иванович, с надеждой глядя на Костю, но тот снова будто набрал в рот воды, и учитель, безнадежно вздохнув, скороговоркой закончил: — ... идут на изготовление пеньки, канатов, упаковочной ткани, рыболовных снастей. Кенаф — это знаменитая бомбейская пенька, в таре из нее перевозят половину товаров мира. Надо знать, молодой человек. Просто несимпатично (это слово Арутюн Иванович тоже часто употреблял). Садитесь!

Что поделаешь? Хотя и стыдно было за дядю Костю, но экономическая география и Витю давно перестала интересовать. В младших классах Арутюн Иванович рассказывал про африканские джунгли, миражи в пус-

тыне Сахара, воинственных туарегов, про великую авантюру Колумба, кругосветное путешествие Кука и белое безмолвие Антарктиды. А теперь только и слышно: кенаф, пенька, деловая древесина. Рассказывал скучно, редко пробуждал интерес у великовозрастных учеников, да и то больше своим взбудораженным видом. Наверное, ему самому не очень-то нравилась экономическая география, и он старался как-то оживить занятие. Примерно к середине урока этого скромного человека нельзя было узнать: бегал по классу, как хищник в клетке, тыкал линейкой в полушария географической карты, будто кинжалом, и линейка, свистя, сгибалась дугою и не раз уже ломалась. Глядя на Арутюна Ивановича, Витя пытался представить его мстительным джигитом в черной бурке на горячем скакуне в горах Армении, но из этого ничего не получалось: в Арутюне Ивановиче было больше, пожалуй, жалкого, чем грозного. Учителя вечерней школы, преподававшие по совместительству, вели занятия, как говорится, «галопом по Европам». Арутюн Иванович, человек в летах, к концу урока уставал. Вот и теперь, закончив объяснение, он сел на стул, тяжело дыша, вытер потное лицо носовым платком и открыл классный журнал, потом передумал, отложил его в сторону и посмотрел на своих подопечных дружки, как бы прося извинения и сочувствия.

— Есть предложение... Кхе... кхе... — Арутюн Иванович все еще не мог отдышаться и прикладывал к красному лицу платок, как промокашку. — Есть предложение организовать в школе драмкружок. Желающие могут записаться.

Драмкружок? Вот это да! Класс сразу ожил.

— Запишите меня! — выкрикнул, не переводя духа, дядя Костя, по-видимому, надеясь хоть как-нибудь сгладить свой позорный провал у доски.

— А вы? — уставился на Витю Арутюн Иванович, да так, точно из-за него загорелся этот сыр-бор.

Занятия в драмкружке Витю не привлекали, и он не знал, что ответить.

В четырнадцать лет, как-то глядя в зеркало, он обнаружил, что некрасив, и очень огорчился. Представление о красоте тогда у него складывалось по ковбойским книгам. Герои там были с орлиными носами и черными пронизательными глазами. А на Витю из зеркала смотрели маленькие серые глазки, нос торчал картошкой, да к тому же еще был искривлен. Больше всего огорчал нос. Витя всячески пытался его исправить: массажировал, вытягивал, вжимал внутрь крылья ноздрей до побеления, но все напрасно.

Другое дело — Костя. Он точно сошел со страниц романа Фенимора Купера и наверняка годился на роль героя пьесы. Непонятно, почему Арутюн Иванович к нему равнодушен, а Витю настойчиво приглашает в драмкружок?

Наверное, чувствовал «театральную жилку». Витя вспомнил, что один раз выступал. Молодые рабочие ремонтных мастерских зачислили его в

инструментальный оркестр, где не хватало ударника. Это были первые выборы в Верховный Совет после всенародного принятия Конституции. От приморского города баллотировался известный летчик Коккинаки. В то время как Чкалов впервые перелетел через Северный полюс в Америку, Коккинаки поднялся выше всех в небо.

На западной окраине города, в Трапезунде, лепились одна к другой мазанки с плоскими крышами. В них жили греки. Трапезунд предполагалось сровнять с землей, а греков переселить в новые дома. Коккинаки говорил о больших преобразованиях в стране и о том, что придет время, когда человек завоюет стратосферу и вырвется в космос. После его речи несыгранный оркестр на удивление дружно грянул: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...»

Витя бил по барабану и выстукивал на кастаньетах, почти не сбиваясь, чему сам не верил: прежде даже в руки не брал этих инструментов. Теперь же вообразил себя чуть ли не цыганом из «Прибоя», искусство которого казалось ему недостижимым. «Чем черт не шутит, может, из меня получится такой же знаменитый музыкант», — думал он тщеславно. Праздничная шумная толпа, фокстроты и танго, улыбки девушек, будто не отрывавших глаз от барабанщика, и распитое за кулисами вино — такое было впервые в жизни!..

— Ну что — записать в драмкружок? — настойчиво повторил Арутюн Иванович.

Витя пожал плечами.

— А что я там буду делать?

— Играть главного героя, если хотите. Данные для этого у вас есть.

«С моим-то носом? Смеется он или всерьез?» — эту загадку Витя решал всю неделю, подолгу вертясь перед зеркалом. Фигура вообще-то неплохая, и силой не обижен, на пляже Ахмет не без зависти заметил: «Тебе бы боксировать или штангу поднимать». Да и нос на общем фоне не очень выделяется, если не присматриваться. Играть на сцене главного героя! Почему не попробовать?

В то время, наверное, не он один обижался на девчонок, ставивших ребят в неловкое положение. Случалось это на танцплощадках. Выберет Витя какую-нибудь, подойдет к ней через весь зал, расшаркается, а она: «Что-то неохота». Или, глазом не моргнув: «Нет!» Чем же он не подошел, спрашивается? И что за труд минут пять пошаркать по залу? Так нет же, ей легче человека обидеть. Стоит Витя как истукан и не знает, что делать. Пригласить соседку? Она тоже может отказать, что обычно и бывало. Иной раз обойдет напрасно весь зал. Хоть сбегай с танцплощадки! Между прочим, с одной чопорной девицей произошел потешный случай, только Витя открыл рот, как она грубо оборвала: «Перестаньте сказать!»

— Ах, перестаньте сказать! — смеясь, подхватил Витя. — Ах, перестаньте сказать! Ах, перестаньте сказать! — разнес он нелепое сочетание слов по залу, негаданно-нежданно подхваченное танцорами, а потом и

всей молодежью города. Где только Витя не слышал — и на рынке, и в магазинах, и в кино по разному поводу: «Ах, перестаньте сказать!»

«Теперь увидят меня девчонки на сцене, — тщеславно подумал Витя, — умрут от досады: кого отвергали!» — Он подошел к Арутюну Ивановичу и записался в драмкружок.

Его примеру последовал и дядя Костя.

— Знаешь, — признался он Вите, когда они шли из школы домой, — хочу одной девчонке понравиться. Я тебе говорил о ней. Гордячка страшная! Но перед артистом, думаю, не устоит.

— Забавно, — усмехнулся Витя. — Намерения у нас с тобой, выходит, одинаковые.

— Она и тебе нравится?

— Кто?

— Эта девчонка.

— Какая девчонка? На кого ты все время намекаешь?

— Ну Алла, что живет на вашей улице.

Костя угадал наобум. Алла действительно нравилась Вите, но он стеснялся сказать ей об этом, считая, что любовь к Нине, пусть и неудачная, ставила его вне каких-либо отношений с Аллой, кроме товарищеских.

Всякий раз, заметив тонкую легкую фигуру, он останавливался и провожал замороженными глазами. Подойти, предложить Алле дружбу Вите даже не приходило в голову. Она казалась необыкновенной, чуть ли не с другой планеты. И вот почему. Лишенный слуха, Витя каким-то образом иной раз обретал его: как уже упоминалось, он играл в инструментальном оркестре на выборах, а до этого вместе с Аллой разучил популярную в то время песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза...». Пели ее под патефон. Бесцветный Витин голос вдруг прорезался баском. Все находили дуэт забавным и, и как только в особняке Чепурченковых собиралась компания, хозяйку настойчиво просили исполнения. Алла теперь садилась за пианино, а Витя облокачивался на крышку и закатывал глаза к потолку, как именитый певец. Недавно с удивлением обнаружил в себе еще одно достоинство: прежде совершенно непонятная классическая музыка стала ему нравиться.

Проходя мимо особняка, он услышал из раскрытого окна фортепьянную пьесу и, неожиданно захваченный навевавшим ею чувством, остановился. Сквозь кружевную занавеску можно было разглядеть в глубине комнаты Аллу у пианино. Витя зашел за дерево, боясь, как бы его не заметили. Вихрь незнакомых звуков вызвал в его душе страстное желание куда-то мчаться, что-то делать необыкновенное, слышать отовсюду голоса: «Он герой!»

Бравурная мелодия сменилась легкой, лирической. Сильный девичий голос вырвался из окна и понесся по Барклаевской улице. Витя заморожено притих. «Откуда взялся этот талант? Давно ли гоняла с уличными мальчишками лапту?..» — думал он, затаив дыхание. И вот узнал, что в Аллу влюбился Костя.

— Слушай, Виктор, ты мне друг?

— Конечно!

— Тогда помоги, а?

— В чем?

— Намекни Алле, что ее любит один парень, что он весь исстрадался, ну и еще что-нибудь такое сердцещипательное, ты это умеешь.

Вите ничего не оставалось, как пообещать. То, что он боялся сказать Алле о себе, оказалось просто по отношению к другому. «Если здраво рассудить, — думал он, — Алла ничуть не лучше и не хуже своих подруг, которые только и знают, что судачат о кавалерах. И она несомненно мечтает о «принце». Интересно, как отнесется к предложению Кости?» Витя удивился смелости, с какой заговорил с Аллой на щепетильную тему. Она в первую минуту растерялась и покраснела, может быть, не ожидая увидеть Витю в роли свата, а может быть, ее больше интересовал сам Витя, нежели Костя?

Она свысока, не скрывая насмешки, взглянула на негаданного посредника:

— Кто же этот молодой человек?

— Костя... Наш общий любимец, — не удержался, приправил перчиком Витя.

Он усердствовал для друга, а в душе проклинал себя за то, что свои чувства держал за семью замками.

Вечером он увидел ее с Костей в городском саду. Сидели на лавочке, ели мороженое, и Костя неловко вытирал Алле липкие пальцы своим носовым платком, при этом у него было такое деловитое лицо, словно с клоком пакли в руке колдовал над автомобильной крышкой.

На другой день, зайдя в мастерскую, Витя услышал болтовню о вчерашнем вечере с такими подробностями, что покраснел и выбежал вон. «Зачем он врал, бахвалился перед друзьями?» — негодовал радатель чужого счастья.

Прошло около недели. Встретив Аллу на улице, Витя был удивлен ее видом: лицо осунулось, потускнело. «Влюбилась!» — похолодел он. Оказывается, его подшефные рассорились. Но вот что удивительно: отчего же Алла так переживала? Это никак не вязалось с ее самолюбивым характером.

Костя уже представлялся одним из тех сердцеедов с масленными глазами и невероятными бакенбардами, которые наводняют городские парки. Не без тщеславия этот ловелас претендовал на роль Подколесина в «Женитьбе», но Арутюн Иванович заглавную роль отдал Вите, а ему предложил Кочкарева, да и то скрепя сердце. Витин друг очень хотел играть на сцене, но на репетициях, вместо того чтобы говорить нормальным человеческим голосом и держаться просто, тарасил глаза и орал как одержимый, при этом лицо у него оставалось каменным.

В тот вечер он был особенно туп. Ходил как замороженный, говорил с такой расстановкой, так тянул, будто заново овладевал языком, и Витя не

мог под него подладиться, поминутно сбивался. Медлительность никак не вязалась с ролью разбитного Кочкарева. Арутюн Иванович то и дело останавливал репетицию, и Витя мысленно окрестил своего друга дубиной, увальнем, недотепой. «В кого она только влюбилась!» — негодовал он, не понимая вкусов Аллы, которая обошла вниманием куда более содержательного паря (разумеется, он имел в виду себя).

В перерыве неудавшийся «Кочкарев» подошел к Вите с убитым видом.

— Мы поссорились, — сказал он, комкая в руке носовой платок.

— Знаю. — И Витя чуть было не крикнул: «Иди, попроси у нее прощения! Она не меньше тебя переживает!», но был сам не в своей тарелке. Что же у них произошло?

— У тебя есть возможность помириться, — сказал он уныло. — Алла расспрашивала про тебя, хотела видеть.

— Да ну?

Костя без колебаний поверил и сразу повеселел, вытер вспотевшие руки носовым платком и швырнул его в угол, точно паклю. Витя невольно рассмеялся. Костя тоже громко захохотал, поднял с пола носовой платок и сунул в карман.

Зазвенел звонок, началась репетиция, и Костю нельзя было узнать: вошел в роль, и у него получалось все лучше и лучше, что очень удивляло Арутюна Ивановича. А у Вити, напротив, настроение испортилось. Он стал рассеян, вял, и Арутюн Иванович сердился:

— Не годится! Не симпатично! Что с вами, молодой человек? Вы пришли к девушке, увлекаетесь, она вам нравится, но вы тюфяк, лентяй, передержанный холостяк, для вас превыше всего свобода, как вы ее понимаете. Нуте-с, повторим...

Арутюн Иванович, неутомимый Кенаф, то подбадривал Витю кивком головы, то стучал по столу линейкой.

«Я тюфяк. Я тюфяк... Выходит, мы с дядей Костей меняемся ролями, — думал Витя мрачно. — Надо взять себя в руки. Стоп, поворот на сто восемьдесят градусов!» — он закрыл глаза и собрал всю свою волю в кулак.

— А на роль невесты я пригласил девушку из дневной школы, — сказал Арутюн Иванович в перерыве. В своем классе он перебрал всех учениц, и ни одна не подошла, так что пока репетировали без невесты. Заменял ее кто-нибудь из ребят, чаще всего Костя, дурашливо улыбаясь, когда Витя обращался к нему с нежными словами. Его очень заинтересовало, кого выбрал Арутюн Иванович, и как же он был поражен, увидев Аллу. Она вошла в класс в голубом коротком платье, подпоясанная блестящим узким пояском, чуть смутилась, губы ее шевельнулись, едва слышно произнесла: «Здравствуйте...» Костя ответил ей глуповато-радостной улыбкой.

Роль свою Алла знала хорошо, быстро преодолела неловкость и держалась непринужденно. Костю словно не замечала. Худенькая, легкая,

она совсем не подходила, как казалось Вите, на роль купчихи, он не понимал вкуса Арутюна Ивановича, но был рад часто видеть Аллу, играть в одной пьесе, да еще ее жениха. Скованность как рукой сняло.

— Вот это уже лучше, — похвалил Арутюн Иванович и щелкнул пальцами, довольный. — Из всех наших актеров самый талантливый вы, молодой человек. Только не зазнавайтесь.

Витя был польщен, даже покраснел. Было приятно это слышать вдвойне в присутствии Аллы, которая недоуменно произнесла: «Да?» и многозначительно, с оттенком зависти, посмотрела на новоиспеченный талант.

Недели через полторы Арутюн Иванович торжественно заявил:

— Пора вам примерить фрак и цилиндры!

Актерам тоже не терпелось: до спектакля, который предполагалось поставить в учительском техникуме, где был лучший в городе актовый зал, оставалось совсем немного времени. С запиской Арутюна Ивановича в кармане Витя поехал на ту сторону бухты, в клуб цементников, обладавший богатой костюмерной. С ним увязалась Алла, обычно для таких дел тяжелая на подъем. «Неспроста», — приободрился Витя.

Как в казематы средневекового замка, они спустились в полуосвещенный сводчатый подвал. Проходы были завалены рухлядью: обшарпанные кресла, стулья без спинок и сидений, продавленные диваны с выскочившими пружинами. По стенам, на стеллажах — фрак и цилиндры, красно-зеленые мундиры, пожелтевшие от времени кружевные юбки и корсеты, ридикюли из заплесневелой, позеленевшей кожи. Похоже, сюда свезли жалкие остатки помещичьих гардеробов, опустошенных гражданской войной. В беспорядке свалены декорации. Витя удивился убогости обстановки, в которой приходилось играть актерам: марля, парусина, картон, кое-как намалеванная на холсте украинская хата, сбитый из фанеры ствол дерева, слепленная из папье-маше безрукая Венера. Непонятно, каким образом все это создавало красочное зрелище.

Алла примерила кружевную юбку, надев ее поверх своего платья, потом чепчик, потом серебристые туфли. Она вертелась перед зеркалом и все спрашивала:

— Идет? Похожа на купчиху?

— Скорее на рязанскую бабу, — съязвил Витя некстати, вовсе не желая обидеть девушку. К подобным колкостям он часто прибегал, злясь на Аллу за непонимание простых истин, как ему казалось, и эта раздражительность вызывалась, конечно, ревностью.

Алла обиделась, но ненадолго. Она была в восторге от костюмерной и готова была весь день примерять это тряпье. Удивительно, до чего же у людей разные представления об одних и тех же вещах. И тут Витя сделал открытие. До сих пор он считал, что окружающие его люди не могут мыслить иначе, чем он, и горячился, доказывал, недоумевал, когда с ним не соглашались. Ведь так было ясно, что он прав. Но вот живой пример по-

ведения Аллы в костюмерной. То же самое во взгляде на любовь. Алла наверняка относилась к этому предмету не столь возвышенно, как Витя.

На обратном пути в катере, обложившись узлами, они уселись на корме.

— Ветер холодный, — поежилась, и Витя отдал ей пиджак, мучительно придумывая что-нибудь умное или смешное, чтобы как-то поддержать беседу. Как назло, ничего путного в голову не шло. И Алла выжидательно молчала — хоть бы взглядом подбодрила!

В тучах зарылись вершины гор, берег быстро удалялся. Темный лес в ущельях, уменьшаясь в размерах, стал похож на клочковатый мех вывернутой наизнанку старой шубы. Дул норд-ост, и соленые брызги, взвихрясь у носа катера, обдавали дождем пассажиров, долетали до кормы. Погода сырая, и на душе смутно, и Витя, глядя в холодную морскую глубину, в каком-то отчаянии сказал:

— А что у вас с Костей? До сих пор не помирились?

Костя был для него непроницаем. Витя никак не мог понять, умный он или глупый, но догадывался, что личность довольно-таки заурядная. Однако доказать это Алле не мог. Он пытался вызвать своего нового друга на откровенный разговор, услышать его мнение о нашумевшем фильме или зачитанном до корки романе. Костя неопределенно улыбался, снисходительно слушал и не шел ни на какие призывы: вытянуть из него хотя бы «да» или «нет» было невозможно (политические споры они давно уже оставили), и получалось, что Витя оказывался краснобаем, задирой, а Костя умным человеком.

От своего бессилия ревнивец горячился, кипел негодованием и выглядел по меньшей мере странно, пока однажды не понял, что если и дальше будет так себя вести, то от него отвернутся все друзья. Горячность его была никому непонятна, возбуждала ропот недовольства, что было как раз на руку Косте, как считал Витя. Но он во что бы то ни стало хотел раскрыть перед Аллой несостоятельность ее кавалера.

Особенно вызывало досаду то, что сам Костя не обижался на Витю или не подавал вида, по-прежнему считая его своим другом, был всегда вежлив, внимателен.

Что же Алла?

— Костя меня совершенно не интересует, — сказала она холодно.

Вите очень хотелось в это поверить! И очень хотелось узнать, из-за чего произошла ссора, да как-то неудобно было об этом расспрашивать. Возрадовался ли он, так легко вернув Аллу? Да и вернул ли? Какое-то сомнение закралось в его душу. И тут в голову пришла счастливая мысль: Алла ни для кого, она только для себя и еще, может быть, для искусства, вон какие рулады льются из окон особняка: распевается, тренирует голос. Музыка прежде всего. А с Костей просто играет в любовь. Так и Витя должен вести себя. Главное в жизни не любовь, пришел он вдруг к парадоксальному выводу, а цель! Ей-то он отдаст всего себя. По правде говоря, Алла ему не очень нравилась из-за своего высокомерия, точнее, нрави-

лась не как девушка (девушки вообще после Нины не могли нравиться), а как человек, влюбленный в искусство, имеющий цель! И Витя вовсе не из ревности пытался раскрыть ей глаза на Костю. Уязвляло то, что такая умная девушка могла дружить с такой посредственностью. Словом, Витя выбрался из ужасной путаницы мыслей, осаждавших его в последнее время, и легко вздохнул.

Катер пришвартовался к пристани. Вода, хлюпая, выплескивалась на бетонные ступеньки. Высоко поднимая ноги, Алла перешагивала лужи, держа в охалке свои узлы. Купчиха почему-то представлялась толстой, приземистой, курносой, а теперь Витя увидел ее и такой, какой была Алла — поджарой и заносчивой. «Пожалуй, Арутюн Иванович не ошибся в выборе», — подумал он, выходя из катера с чемоданом и огромным узлом. На ум пришло насмешливое изречение, не совсем ясное для юного возраста: «Все девушки хороши, но откуда берутся плохие жены?» Витя попытался представить Аллу в замужестве, обремененную заботами семейной жизни, быстро потерявшей горделивый девичий лоск, как, например, беременная Нина. Что-то не получалось. По-прежнему была бы капризна, несговорчива...

В костюмерной актеры набрали столько разного барахла, что с трудом донесли до школы, а потом и половины не использовали в спектакле.

* * *

В тот день вечером Витя увидел Аллу у своего дома на скамейке и решил, что она пришла по какому-нибудь делу от Арутюна Ивановича.

— Нет, просто посмотреть, как ты живешь, — сказала она с улыбкой. — Арутюн Иванович говорит: чтобы хорошо играть на сцене, мы должны лучше понимать друг друга.

— Ну, заходи.

Она с любопытством оглядела Витину комнату, потрогала некоторые вещи руками, как бы желая удостовериться в их прочности или ценности. Ей понравился глиняный медвежонок почти в натуральную величину с отверстием в темени, в которое наливали вино. За праздничным столом бабушка, поглаживая медвежонка, обычно говорила: «В каких подвалах побывал? Каких вин добывал?» И гости смеялись и подставляли стаканы под струйку вина, бежавшую изо рта медвежонка. Когда Витя маленьким чересчур шалил, бабушка высовывала медвежонка из комода, пугая: «Го-го-го... А ну кто здесь балуется? А подайте-ка шалуна ко мне в берлогу!» Витя забирался в угол и замирал. Этот рассказ позабавил Аллу.

— Неужели мы были маленькими? И ведь совсем недавно!.. А какая чудесная раковина!

Она прижала ее к уху, похожую на большой вареник, какие на скорую руку лепила все та же строгая и милая бабушка, и послушала вечный шум прибоя, потом села на подставку для ног перед этажеркой, забитой книгами, и, рассеянно перелистывая страницы какого-то приключенческого романа, сказала:

— А у тебя тут недурно. Я представляла иначе.
Как именно, она не объяснила.
— Мне пора. Проводишь?
— Пойдем попозже. Как стемнеет.
— Зачем же темноты ждать?
— Неудобно. Что скажут соседи?
— Эге, а я думала, что ты трусишка только на парашютной вышке.
Пойдем. И возьми меня под руку. Иначе ты не мужчина.

На улице, по обыкновению, сидели на скамейках у своих домов бабки и тетки, лузгали семечки, точили ляды. Взять Аллу под руку Витя все же не осмелился. В то время ему часто снилось, что босой, в одних трусах, а то и голый он бежит через весь город домой. На пляже, шая, мальчишки зарывали чью-нибудь одежду в песок и потом потешались над своей жертвой. Витя тоже попадал в подобные переpleты. Чувство стыда не проходило даже после того, как он просыпался... Что-то похожее испытывал и сейчас, шествуя с Аллой на виду у всей улицы. Вслед им старушка-соседка завистливо вздохнула:

— Вот и жених уже, а давно ли бегал без штанов.

Алла засмеялась, а Витя готов был провалиться сквозь землю. Они повернули за угол, сделали большой круг и подошли к дому Аллы в сумерках. Витя видел лицо девушки, ее улыбку, поблескивающие глаза, как сквозь вуаль.

— Постоим. — Алла прислонилась к дереву.

Сердце у Вити колотилось так, точно вот-вот сиганет через пропасть где-нибудь в горах. Но обнять и поцеловать девушку не хватало духу.

— Зайдем во двор, — сказала она, потихоньку открыла калитку, стала под стеной дома и как бы невзначай положила голову ему на плечо. Витя робко поцеловал, еще и еще... Сколько длились объятья и поцелуи? Кажется, вечность. Вот тебе и холодность, вот тебе и строптивость! Алла изнемогала. И Витя мучился, терялся, не ведал, как поступить. Поднялась луна, на улице посветлело. В распахнутую калитку виднелось поодаль что-то серое, вроде большого камня.

— Пойдем туда, — предложил Витя. Алла покачала головой. Не понимая, что с ним стряслось, он все твердил об этом камне, словно на нем свет клином сошелся, словно больше нечего сказать.

— Туда я не пойду, — упрячилась Алла.

— Но почему же? То камень или бревно?

Она вдруг отстранилась и, опустив голову, ничего не сказав, пошла во двор. Витя остался у ворот — неприкаянный и озадаченный.

— Алла, подожди! Куда же ты? — кинулся он было вслед, но в доме хлопнула дверь... Рассердилась? За что?

* * *

Патефон, подарок родителей ко дню рождения Вити, побывал за Маркотхским перевалом, в Широкой балке и даже на дне моря. Сейчас он вер-

тел такую же, как сам, истертую, треснувшую пластинку: «...солнце с мо... солнце с мо... (Костя легким щелчком подтолкнул мембрану) ...морем проща-алось...»

— «В этот час ты призналась, что нет любви!» — опережая пластинку, с воодушевлением пропел великовозрастный кавалер и, подхватив Аллу, усиленно зашаркал туфлями по полу.

На Алле — праздничное платье, повязанное фартуком. Она накрывает на стол, но успевает и потанцевать, легко кружится по комнате, немного откинувшись назад и смежив глаза. Губы чуть подкрашены, лицо, наверное, первый раз в жизни напудрено. Она стала совсем другой, почти незнакомой. И такая нравилась Вите еще больше.

А у ребят свои интересы: кто сколько отвалил за костюм, какие крепче папиросы — «Пальмира» или «Пушки»... Здорово все повзрослели за этот год!

За столом Витя сел рядом с Аллой. На коленях у него — бутылка рислинга. Осенью на базаре его наливают в стаканы из дубовых бочек, как нарзан или квас. Витя встал, поднял вверх бутылку: «Друзья, за успех «Женитьбы!» И, неловко повернувшись, видит на полу уже острые осколки и вокруг ног большую светлую лужу. Охи и ахи. Чей-то смех.

— Это к счастью.

Алла подобрала праздничное платье и присела на корточки, собирая осколки на поднос.

— Помоги же!

Это Вите. Взгляд сердитый, чужой. Витя идет в коридор, находит тряпку, неумело вытирает пол. Хотя и виноват, чувствует себя обиженным: задела бесцеремонность, с какой Алла командовала им. За столом уже пили шампанское. Десять тяжелых бутылок Витя принес в заплечном мешке из Абрау-Дюрсо. Стоит ли сердиться из-за дешевого рислинга?

Пробки летят в потолок, шипит в стаканах золотое Аи, стреляет бисерками капель. Снова весело. Костя накрутил на голову полотенце, как чалму, надел турецкий халат, который предназначался для Подколесина. Ему чертовски шел этот костюм, особенно белая чалма — ни дать ни взять богдыхан. Соперничать с ним Витя не мог, только завидовал и мучился от сознания своей неполноценности. Презрение к нему так откровенно выражалось в глазах Аллы, когда он возился под столом с тряпкой! А Костя усиленно ухаживал за девушкой. Тут не то, что на сцене: к месту была знаменитая улыбка, и белая чалма красиво оттеняла сиреневый румянец. Костя так рисовался, столько проявлял внимания к Алле, что Витя совсем приуныл. И вот когда чья-то веселая прибаутка отвлекала гостей, Костя наклонился к девушке и поцеловал. Алла не оттолкнула нахала, даже не рассердилась, а все зарделась от смущения, но больше от удовольствия. А этот богдыхан, этот ловелас, может быть, час назад обнимал другую! Вите захотелось закричать в отчаянии на весь дом, он вскочил со стула и убежал в другую комнату, ничком упал на диван. Ко всему прочему на него сильно подействовало вино. Слезы текли сами собой. Он пла-

кал оттого, что остался непонятым, что еще одна любовь, о которой он мечтал столько ночей, не сбылась.

— Алла говорит, что Виктор ей нравится, — слышалось шушуканье девчонок за дверью, — но что это за кавалер: на иждивении родителей!

Стыдно было вернуться к столу. Друзья, смеясь, все-таки приволокли его и усадили, а кто-то шепнул на ухо:

— Среди талантливых тоже встречаются подленькие души. Не отчаивайся, друг!

К дяде Косте Витя не испытывал ненависти, виня одну Алла, а она смотрела на него спокойно, будто ничего и не случилось.

* * *

Арутюн Иванович выглядывал из суфлерской будки потный и красный. Его шепот, казалось, должен был разноситься по всему залу, как подсказки в классе, но по лицам зрителей этого не видно. Они увлеченно следят за ходом спектакля. Последние дни перед премьерой Арутюн Иванович забегался и жаловался, что совсем обезножил. Помимо репетиций он хлопотал о костюмах, которые пришлось перешивать, не раз ездил в техникум к тамошнему художнику насчет декораций, все что-то утрясал, кого-то уговаривал, проявляя при этом столько настойчивости и энергии, что Витя не понимал, почему он преподает скучную экономическую географию, а не работает в театре. Может быть, в молодости он и был актером или собирался им стать, но что-то помешало, не потрафило, или он просто-напросто до самозабвения любил сцену, как иные коллекционирование почтовых марок или разведение аквариумных рыбок? Таких людей называют чудаками, скорее всего те, кто палец о палец не ударит больше положенного на работе и оберегает свою персону от «лишних» волнений и забот, как женщина лицо от морщин. Витя придерживался другого мнения. Жизнь приобретала смысл, делалась светлей и привлекательней, когда в человеке обнаруживались устремленность, дух подвижничества. Арутюн Иванович мог увлечь за собой даже равнодушных. Ему была пятьдесят, но каждый двадцатилетний наверняка позавидовал бы его романтическому настрою и темпераменту. «Чудаками» почему-то богаты небольшие города, каким был тогда Новороссийск. Или просто они здесь на виду? Как подчас молодым людям в годы нащупывания жизненных троп не хватает Арутюнов Ивановичей!

За кулисами Алла все хотела заговорить с Витей, но он избегал ее, и только на сцене от этого уже нельзя было уйти. Они не то играли, не то по-настоящему объяснялись. У Вити было какое-то дурное состояние, он с опаской подсаживался к невесте, говорил невпопад, и от волнения по спине бегали мурашки и зудело в деснах, точно после ледяной воды. Наверное, он выглядел очень смешным. Алла отворачивалась, прыскала в платок, что по ходу действия пьесы вовсе не предусматривалось, и он шептал ей на ухо: «Не дури, завалимся». Она вела себя так, как будто у них могли быть прежние отношения... А зал покатывался со смеху, гре-

мели аплодисменты. Зрителям больше всего понравилась сцена объяснения Подколесина с невестой. И когда незадачливый жених, боясь помолвки, выпрыгнул в окно, то попал прямо в объятия Арутюна Ивановича, который вылез из суфлерской будки и кричал во весь голос, забыв, что его могут услышать в зале:

— Чудесно! Симпатично! Вы талант! Обязательно поступайте в театральное училище! Я вам дам рекомендацию!

Это слышала, конечно, Алла, но Витя даже не взглянул на нее, ушел переодеваться.

Выходя из техникума, он встретил Сергея Зовицкого, совсем не предполагая, что тот был на спектакле. Сколько они не виделись? Пожалуй, около года. Словно свежий ветерок овеял душу Виктора, так он был рад молодому другу, которого считал равным себе, хотя разница в возрасте у них была заметна.

Здороваясь, Сергей усмехнулся и незнакомо-погрубевшим голосом сказал:

— Скоморошничаешь, а я думал — в летчики подался. Как же насчет военного училища?

— А как насчет Северного полюса? — в тон ему подковырнул Витя, но Сергей, отвергнув словесную дуэль, стал серьезно излагать последние сведения о покорении царства льдов. Было видно, что увлечение его не преходящее, каким было у Виктора путешествие в Африку, а основательное, профессиональное.

Они еще минут десять шли до перекрестка, подшучивая друг над другом, остря, как было принято между ними, однако Виктор заметил, что за иронией Зовицкого проглядывала доброжелательность, что и он был рад этой встрече. Потом доходившие до Вити вести об одержимом «североморце» вызывали сожаление, что они не сошлись ближе. Зовицкий мог бы стать другом на всю жизнь. Так бывает часто с людьми: найдя, не доводят, а потерявши, плачут.

На другой день с двумя одноклассниками он отвез костюмы в клуб цементников, и в затхлом подвале, среди старых вещей, неожиданно для себя сделал новое открытие: загадочная Алла и его муки от еще одной неразделенной любви похожи на спектакль, а действительность — вот она, театральная костюмерная, где подлинная ценность вещей откровенно обнажена.

* * *

Витина комната была обставлена так, что, впервые попав в нее, можно было подумать, что живет здесь если не путешественник, то заядлый охотник. Правда, из берданки, которая висела над кроватью, не было сделано и десятка выстрелов, а добыча не стоила и сотой доли расходов, ушедших на приобретение охотничьих атрибутов.

Собираясь на отстрел перепелов, Витя то и дело просыпался, смотрел в окно, боясь прозевать зорьку. Почему-то решил, что завел часы, но они

остановились на половине двенадцатого. Сон пропал. Он встал, оделся и зашагал под гору, к зарослям терна и орешника. Высокая луна была в туманном кольце, незряче смотрели на улицу окна домов. Город был объят глубоким сном. Вот и окраина. Впереди темнел кустарник, а на востоке до сих пор никаких признаков рассвета. Бродить ночью в лесу, по глухим щелям радости мало. Витя лег на дно каменистой канавы, промытой дождевыми ручьями, и увидел над собою густую россыпь звезд. Прямо в лицо ему смотрела полная луна с отчетливо обозначенными горами, таинственная в своей немоте и близости.

В детстве он любил спать в телеге с сеном посреди двора у товарища, отец которого был извозчиком. Сено он застилал домотканым рядном и, если ночи были прохладные, давал ребятам овчинный тулуп. Хорошо забраться под этот широченный тулуп с мягким козлиным воротником и, лежа на спине, во все глаза смотреть на звезды, такие крупные, близкие, словно они тоже видели двух мальчишек и подмигивали им: «Спите себе спокойно, мы постережем вас». Ночной воздух был свеж, приятно пахло сеном и овчиной.

Непостижимо таинственными представлялись Вите падающие звезды, прочеркивающие голубой след на небе, туманности Млечного Пути и пятна на луне — по бабушкиному утверждению, окаменевшие Каин и поднятый им на вилах брат Авель. Бабушка говорила, что легенда о братьях описана в толстой книге с черным, как ночное небо, переплетом, с замысловатой вязью старославянских букв и застарелым запахом бумаги. Книга, принадлежавшая еще прадеду, до сих пор валялась в пыльном чулане, и бабушка предостерегала: если прочтешь до конца, сойдешь с ума. Мало веря в легенду о Каине, Витя верил в предостережение бабушки и, может быть, поэтому так и не прочитал книгу.

Небо, хоть и было необъяснимым, казалось мирным и добрым. В загадочной симметрии, по какому-то закону небесной механики, над телегой висели ковши Большой и Малой Медведиц. За несколько часов, пока ребята смотрели на небо, звезды заметно переместились к горизонту, и, впервые заметив это движение миров, они притихли, оцепенели, словно открыли великую тайну Вселенной.

«А за Большой Медведицей еще звезды. И так без конца», — сказал Витин товарищ.

«Как без конца?»

«Так. Видишь, вон и вон, будто туман. Это тоже звезды. Дальние».

«А за ними что?»

«Опять звезды».

«Ну а за теми звездами?»

«Тоже звезды».

«Конец где-то же есть. Не может быть, чтобы без конца!»

Воображение Вити никак не могло постичь бесконечности Вселенной. На Земле всему есть начало и конец, можно представить начало и конец самой Земли, но как представить бесконечность Вселенной?

Проснувшись под утро в телеге, Витя обнаружил ковш Большой Медведицы завалившимся к горизонту. И все звезды уже помельчали и поблекли, а на востоке пролегла светлая полоска, с моря тянуло холодком, тулуп намок от росы, и тепло нагретого места казалось еще уютнее. Он накрылся с головой и снова уснул.

И вот теперь, лежа в каменистой канаве, пытаясь постичь бесконечность мироздания, Витя подумал, что и его собственная жизнь схожа с этой безбрежной далью: за звездами новые звезды. Стоит ли отчаиваться?

Уже рассветало. Он поднялся и зашагал к лесу; до полдня бродил по горам, продираясь сквозь терн, кизил, орешник и подстрелил всего трех перепелов. Они болтались на боку в удавках, подвешенные за головки, жирные, с черными крапинками по рыжим перьям. Охотников прибавлялось с каждым часом, и такая поднялась пальба, что Витя стал опасаться, как бы ему не всадили в спину заряд дробы, и поспешил выбраться из кустов на дорогу к городу. Осмотревшись, он обнаружил в удавках одни перепелиные головы. Расстроенный, пришел домой.

В почтовом ящике лежало письмо от родных. Вите скоро предстояло навсегда покинуть приморский город. Он решил во что бы то ни стало сдавать в военное училище, может быть, еще раз попытать счастья в авиационное, чтобы преодолеть страх высоты, доказать своим друзьям, но прежде всего самому себе, что на парашютной вышке произошло недоразумение. Встретив Аллу на улице, он сказал, что уезжает.

— Когда?

— Точно не знаю, может быть, на этой неделе. Приходи вечером на танцы.

— Ладно.

Но не пришла. Витя неприкаянно бродил по залам клуба, несколько раз спускался в раздевалку, надеясь встретить Аллу. Встретил Костю, который крепко, по-дружески пожал его руку:

— Надо устроить прощальную пирушку.

В школе, узнав, что Витя уезжает, Арутюн Иванович наставлял:

— Обязательно поступай в театральное училище!

Ах, Арутюн Иванович, милый Кенаф, до театра ли сейчас?

* * *

Старая этажерка, сделанная еще дедом из кизилевых, обожженных прутьев, забитая книгами — сколько раздумий, волнений, радостей пережил подле нее Витя! Сейчас он стоял в смятении, рассматривая скромную, но дорогую ему библиотеку, клал руку то на одну, то на другую книгу и тут же отнимал. Нет, книги молчали на мучительный, беспокойный вопрос: почему он зачастую не находил взаимопонимания среди своих знакомых и друзей?

Безответная любовь к Нине, коварность донской казачки, холодность Аллы, казалось, были следствием этого. Даже его юмористическое письмо к маме получило совершенно иное, чем он ожидал, толкование. А бес-

конечные споры с дядей Костей! Ни по одному пункту они не сошлись. Витя натолкнулся на совершенно противоположные, чем у него, взгляды на жизнь, на политику.

Порою его переполняла радость от хорошей книги или удачи в стихосложении, порою восхищала красотой природа, но как редко он находил отклик на свои чувства среди друзей! Почему? Что разделяло его с ними и что объединяло? Он ждал большего понимания, чем то, которое было между ними.

Вите делалось не по себе от этого открытия. Лицо выражало смятение и тоску, как у Иисуса Христа на известной картине Ге «Что есть истина?»

Но, может быть, он сам не научился понимать людей? Может быть, в других краях, куда он скоро уедет, люди иные и ему будет там лучше? Об этом Витя думал весь день, прощальный день с родным городом. Было грустно, но не безысходно: ожидание новых встреч, новых впечатлений придавало сил и бодрости.

Вечер застал его в городском саду, возле танцплощадки, куда идти уже не хотелось. Он смотрел сквозь узорчатую решетку на вертящиеся пары, на дядю Костю с Аллой без ревности, совсем равнодушно. Даже подивился своему спокойствию. Сел недалеко на лавку, под кустом густой сирени, и задумчиво поглядывал на гуляющую публику. Было уже поздно. Аллеи пусты. Оркестр заиграл последний вальс, и мелодия зазвучала грустно-прощально. Она вызывала тревожное чувство утраты чего-то дорогого. Вите стало жалко и себя, и отшумевших близ Черного моря лет, музыка словно бы напоминала об уходящей лучшей поре жизни, о скоротечности всего живого, о призрачном счастье. Витя лишь безотчетно испытал это чувство, ведь ему шел всего восемнадцатый год, жизнь впереди много обещала, казалась бесконечной, и душу обуревали высокие помыслы, он был полон надежд. Отчего же грустно звучал прощальный вальс над этой пустеющей танцплощадкой, над этими кустами сирени и диких маслин, раскачиваемых ветром, под этим темным, без луны сиротливым небом? Прощальная музыка была в чем-то созвучна отдаленному гудку паровоза в осеннюю пору, звучала как бы прелюдией к неизведанной, неиспытанной, ожидаемой впереди жизни и напоминала: «Торопись! Не разменивайся по мелочам, если есть у тебя и ум, и талант!»

Виктор подумал, что с этой поездки, пожалуй, началась его юность, то есть открытие в себе новых качеств: более глубокое самосознание и более трезвый взгляд на жизнь. Он многое уже понимал, еще более не понимал или недопонимал, но старался осмыслить преподносимые жизнью загадки, доискаться до истины. Он чувствовал в себе силу, уверенность, казалось, все ему было доступно, стоит только захотеть, а окружающие люди желали только одного — помочь, посодействовать юноше.

В то же время он оставался застенчивым, совестливым, порою предприимчивым, порою робким, часто непредусмотрительным и опрометчивым. Но в какие бы затруднительные положения ни попадал, иной раз поглупому, надеясь на авось, обычно благополучно выкручивался. Юность везуча, кто этого не знает!

Родные работали на станции Лихой, намереваясь со временем перебраться в Ростов и подыскивали для покупки дом, а в Новороссийске продавали. Почему-то в то время невозможно было достать билет на прямой поезд, и Виктор, добираясь до Лихой, должен был сделать пересадку в Ростове. Приехал он рано утром, пошел к кассам и поразился огромной очереди за билетами. Чем она была вызвана? Вредительством, как тогда объясняли многие затруднения? Скорей всего передвижением войск. В воздухе «пахло грозой», как уже пелось в одной песне.

Виктор потерял всякую надежду уехать в этот же день, разве только зайцем, но он уже настолько повзрослел, что такая мысль даже в голову не пришла. Он занял очередь и отправился бродить по городу, где ему предстояло скоро жить, гулять по светлым широким проспектам, ездить в комфортабельных троллейбусах, каких в Новороссийске и в помине не было. Он прошелся по главной улице Энгельса, называемой жителями по-старому Садовой, от Буденновского до Ворошиловского проспекта. Много в Ростове, не только названия улиц, напоминало о полководцах гражданской войны, о легендарной Первой Конной. В донских степях она зарождалась, ее эскадроны с цокотом, гиканьем и свистом проносились по этим звонкокаменным стогнам! Не представляло труда и поныне встретить здравствующих сподвижников Буденного и Ворошилова. Ростов хранил память о Конармии и ее походах, как Ленинград о красновардейцах и штурме Зимнего. Виктор об этом уже знал, и город ему все больше нравился.

Стояли жаркие дни. На каждом углу — киоски и лотки с газировкой и мороженым. Мороженое в Ростове было необычайно вкусное и всевозможных видов — молочное, клубничное, шоколадное, сливочное, сморо-

диновое, с орехами, с изюмом — какое душа пожелает! У Виктора желала всякого, и он, не отходя от киоска, съел три брикета. Прошелся по главной улице, поглазел на витрины, снова захотелось и снова, к своему удивлению, съел три брикета. Потом, немного спустя, еще три. Спыхватился: денег-то у него на дорогу в обрез. Подсчитал. Так и есть: на железнодорожный билет уже не хватало.

«Ладно! — успокоил он себя. — Все равно не сядешь в поезд. Надо придумать что-нибудь другое».

В очереди на вокзале ему посоветовали сходить на речную пристань. На пароходе можно было доплыть до Белой Калитвы, откуда до Лихой всего пролет поездом по Сталинградской ветке. А в Белой Калитве, тоже в «Центроспирте», работал брат отчима.

На пароход билеты продавались свободно, но денег надо было вдвое больше, чем на поезд, к тому же плыть предстояло почти двое суток (вместо четырех часов езды по железной дороге). Виктор отправился на толкучку и продал из своих вещей пару нового белья, конечно за бесценок, на радостях съел еще три брикета мороженого, что составило за день килограмма полтора (он бы этим не ограничился, но заболел живот). После приобретения билета на пароход в кармане остался гривенник, да в чемодане валялась зачерствелая, взятая из дома булка — вот и все припасы на дальний путь по реке.

Путешествие, хотя и с пустым желудком, было интересное, Виктор подумал, что впечатления от него можно положить в основу повести, делая записи в тетради и зарисовки пейзажей.

Проплывали мимо станиц и хуторов, лепившихся по берегу. Ошелеванные досками, крытые железом или зеркально сверкавшим на солнце цинком, редко камышом, дома стояли на высоких фундаментах. Синие, желтые, зеленые, красные, — в какие только цвета не умудрялись выкрасить их хозяева. Особенно живописной, с церковью посередине, запомнилась станица Аксайская. После нее открылись донские просторы. То раскинется зеленый луг с пятнистыми медлительными коровами и разомлевшим пастухом под ракитой, то из-за мыска неожиданно откроется паром с пароконной повозкой. Казак в фуражке с вылинявшим красным околышком, сдвинутой набекрень, в шароварах, схваченных матузками на щиколотках, в чириках на босу ногу, облокотившись на грядку подводы, попыхивает козьей ножкой. У борта теснятся бабы в белых косынках и белых сорочках, видно, с базара. Одна молодка улыбнулась и помахала рукой, а Виктор на палубе приосанился, думая, что это ему.

Близко подступил пойменный лес, плакучие ивы окунули свои ветки в воду, будто девушки распустили по течению свои льняные косы. Показались шлюзы перед Северным Донцом. Виктор воспрянул духом: скоро Белая Калитва!

Перемещение парохода из камеры в камеру, потоки просачиваемой воды сквозь ворота, кружение чаек в поисках оглушенной рыбы (они безбоязненно садились на мокрые бревна, по которым хлестали водопады с